

СИБИРЬ

1 • 2024





Фото Ирины Прищеповой



СИБИРЬ

402/1 1.2024

Литературно-художественный
журнал писателей Восточной Сибири
Учредитель — Иркутское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Союз писателей России»
Журнал выходит при финансовой помощи
Министерства культуры Иркутской области
Основан в 1930 году. Выходит 6 раз в год

Содержание

Поэзия

Валентина Коростелёва. Парус правды и добра...	3
Елена Крюкова. Огонь и лёд	86
Максим Орлов. Былого перевёрнута страница...	102
Марина Ножнина. «Под небом шла осенняя краса...»	124
Дмитрий Филиппенко. «Мне холодно и плохо без жены...»	178
Михаил Николаев. «Крутой изгиб ухабистой дороги...»	188

Проза

Иван Комлев. Рождество 1987 года. <i>Отрывок из романа</i>	6
Ирина Никифорова. Один случай из практики фельдшера Маруси. <i>Рассказ</i>	96
Владимир Журавлев. Отпуск в зимний период. <i>Рассказ</i>	106

Литературоведение

Нина Ягодинцева. Классики и современники: отношение к читателю и к реальности. <i>Выступление на круглом столе Совета по критике Союза писателей России,</i> <i>август 2023 г.</i>	128
---	-----

Очерки и публицистика

Яков Шафран. Доморощенные чужеземцы. <i>Нацистская Украина — западный антироссийский проект</i>	131
Валерий Хайрюзов. Форос. <i>Седьмой съезд сибирских землячеств</i>	148
Ирина Прищепова. Байкал. Времена года	158

Литературная критика

Валентина Иванова. Из зазеркалья. О повести Н. Вяткина «Музыка воробьёв»183

К юбилею П.Ю. За

Валентина Семенова. К юбилею театра — о людях театра: Вера Сулименко.

Иркутскому областному театру юного зрителя имени А. Вампилова — 95 лет196

Книжная лавка

Эдуард Анашкин. Идущий босиком по небу201

Книжная полка

.....206

Главный редактор Ю.И. БАРАНОВ

Заведующий отделом поэзии В.П. СКИФ

Заведующий отделом прозы, ответственный секретарь С.В. ЗУБАКОВА

СОВЕТ ЖУРНАЛА

Г.В. Аксаментов, А.А. Антипин, Ю.И. Баранов, В.В. Козлов,
М.Т. Орлов, О.Н. Полунина, А.М. Семенов, В.Н. Хайрюзов.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, кроме особо оговоренных случаев. Редакция оставляет за собой право принятые к печати рукописи редактировать и корректировать. Произведения более пяти авторских листов к рассмотрению не принимаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Оформление обложки Г.Г. Гордиевских. Комп. верстка А.Л. Гордиевских. Корректор Н.О. Шильникова.

**Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области.
Свидетельство о регистрации СМИ от 13.12.2012 г. ПИ № ТУ38-00600**

Адрес редакции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40. Адрес учредителя: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40.

Телефон редакции: 8-914-92-75-720. Электронный адрес редакции: shurnal_sibir_irkutsk@mail.ru

Подписано в печать 11.01.2024 г. Дата выхода в свет: 01.02.2024 г. Формат 70x108/16.

Усл-печ. л. 20. Тираж 1000. Цена свободная.

Издательство: ООО «Цифровик». Адрес издателя: 664047, г. Иркутск, ул. А. Невского, 99/2. Тел. 89041222627.

Отпечатано в типографии: ООО «Цифровик»

Адрес типографии: 664047, г. Иркутск, ул. А. Невского, 99/2

ПОЭЗИЯ



ВАЛЕНТИНА КОРОСТЕЛЁВА



Парус правды и добра...

Отрада

У всего финал бывает,
Хоть неведом поворот.
Листья бронзой отливают,
Значит, осени черёд.

Пролетело быстро лето,
Просвистело, ей же Бог.
Стали мутными рассветы,
Ниже неба потолок.

Баламутный ветер дунет,
Взбаламутит мокрый путь...
Значит, времечко — подумать,
На судьбу свою взглянуть.

Сердцем маяться не надо,
Ясны мысли в тишине...
Есть и в осени отрада
В нашей русской стороне!

КОРОСТЕЛЁВА Валентина Абрамовна родилась в Кирове (Вятке). После окончания Литературного института им. Горького переехала в Подмосковье. К 2023 году издано 23 книги, из них 13 поэтических. Лауреат литературных конкурсов имени Андрея Платонова, Алексея Толстого, Антона Дельвига, «Добрая лира», «Литературная Вена», а также им. Фёдора Тютчева и Андрея Белого. Заслуженный работник культуры РФ. Член Союза писателей России. Живёт в подмосковной Балашихе.

И есть ещё места

Кругом дома, дома, и, кажется, — далече
Та добрая изба, крыльцо и тишина,
Неповторимый слог и медленные речи
На фоне стен живых и вида из окна.

А к вечеру хозяйка точно печь истопит,
И мысли дерзкие уж точно закроют,
Что в городе — не жизнь, а лишь её подобье,
Поскольку для души — совсем другой приют,

Что многому, увы, напрасно доверяли,
Что нужен не асфальт, чтоб семенам взойти,
Что мы, всю жизнь спеша, чего-то потеряли,
И всё-таки сейчас пытаемся найти.

И есть ещё места, где птицы — у порога,
И тёплое крыльцо, и говор ручейка...
И я молюсь с утра за дальние дороги,
Чтоб вновь попасть туда, где солнце и река...

Россыпи

...А в памяти — даты и годы,
Событий осенняя рябь...
Задумалась даже природа,
Встречая ненастный октябрь.

Как будто экзамены снова —
Лелеет судьба тишину.

За сутью, за праведным словом
Уходит душа в глубину.

Подёрнуты дымкою дали,
И роща, и озера круг, —
Но листьев кленовых медали
Рассыпаны щедро вокруг...

Наконец-то!..

Под ногами лёд хрустит
И во всём унылость...
А под вечер снег летит,
Словно Божья милость,

Словно время новым снам,
Коим не стереться...

Много ль нынче надо нам,
Чтоб забилося сердце,

Чтобы в звёздной тишине
Путь судьба лепила,
Чтобы счастье обо мне
Тоже не забыло!

Дымок от печи

Зелень в скверике, полдень погожий, Из окна кличет мать малыша... Не хочу повторяться, и всё же, По деревне тоскует душа,	Хоть по метрике я — горожанка, По душе — деревенская я. И пустынного неба корзина Собирает лениво лучи, И Россия — уже не Россия, Коль не вьётся дымок от печи...
По простору и печке с лежанкой, Где от хвори лечилась семья...	

Медная осень

...А будни — просто вредные, И небосвод — седой, И осень стала медною Без песни золотой...	И к ночи сердце мается, Прокручивая день. Не все рассветы песенны, И в сказке — дед Мазай... Но Бог привёл в поэзию: Спасайся и спасай!
И ветер будто лается, Озвучивая тень,	

В плену

Завлекло судьбы гаданье, И, простясь с обычным днём, Я спешила на свиданье С голосистым соловьём.	И от страстной этой песни Из-под ног плыла земля... Он старался что есть мочи, Моё сердце шло ко дну... С той волшебной майской ночи Я у этих мест в плену!
Горячело поднебесье От признаний соловья...	

Долг и парус

И настанет это утро, И настигнет эта мысль: Пробежали не минуты, А в какой-то мере — жизнь.	Многих искренно любила — За талант, за доброту... Значит, всё же проку было, Коли пела красоту,
И невольно сердцем вздрогнешь, Как от вольного огня: Много ль было людям проку В этой жизни от меня?	Коль вели меня по свету Не карьера, не игра, — А извечный долг поэта, Парус правды и добра...



ИВАН КОМЛЕВ



Рождество 1987 года

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА

Часть I

Глава 1

В боку у Владимира побаливало давно, прихватывало, случалось, и желудок, но что придётся лечь в больницу под новый год — это ему и во сне не снилось.

— Тебя в военкомат вызывают, — сказала однажды вечером жена, когда, придя с работы, Владимир появился на кухне, — вон: читай.

— Вспомнили? — он взял повестку: — На медкомиссию. Гм, лет пять не тревожили... Наверное и в армию приказ на перестройку поступил — больных и калек выявить и уволить, устроить нам, так сказать, госприемку, а? Как по-твоему, какого сорта у тебя муж?

КОМЛЕВ Иван (Иванов Виктор Павлович), прозаик, публицист. Родился в 1940 г. в г. Омске. Окончил Омский сельскохозяйственный институт, по специальности инженер-геодезист. Работал в экспедициях Главного управления геодезии и картографии в районах от Урала до Амура и от Байкала до моря Лаптевых. Заслуженный геодезист РФ. Член Союза писателей России с 1991 г. Автор книг: «Ковыль»: повести и рассказы (Иркутск, 1990); «Лепёшка»: рассказ (книжка-миниатюра) (Иркутск, 1992); «У порога»: повести и рассказы (Иркутск, 1994); «Когда падает вертолёт»: повести и рассказы (Иркутск, 2001); «На рубеже»: публ. статьи (Иркутск, 2008); «Ковыль» (М., 2016), «Рядовой Иван Яценко» (М., 2019) и др. Лауреат конкурса «Золотое перо» (2002 г.), лауреат в номинации «Проза» и дипломант в номинации «Публицистика» Всероссийского творческого фестиваля-конкурса «Русский Лад» — 2020 г., дважды лауреат премии им. А. Зверева журнала «Сибирь». Живёт в Иркутске.

— Когда-то я думала — первого, — Антонина улыбнулась.

— Ага, на высший сроду не тянул, а теперь пора на мыло? — Владимир приобнял жену, легонько прижал к себе.

— Не мешай, — она бросила в раковину ложку, которой орудовала в кастрюле, вынула из шкафа тарелку и поставила на стол, — спишут по возрасту?

— Мои года — моё богатство, — пропел Владимир. — Рано. Вот если бы после тех сборов звёздочку мне на погон не прибавили, то в прошлом году списали бы, а так — болтаться в запасе, как медному котелку, до пятидесяти лет.

Службу Каретов начинал, как положено, рядовым, в девятнадцать лет, за три года срочной дослужился до сержанта, а при увольнении в запас неожиданно для самого себя согласился остаться старшиной в роте — ещё на три года. Столько лет прошло, а будто вчера: «Рота-а, подъем! Выходи строиться! Р-равняйсь! Смирна!» Руку к козырьку, печатный шаг и доклад командиру...

Когда уходил «на гражданку», ему «кинули» звание младшего лейтенанта. Прапорщиков в армии в те времена ещё не было. Прапорщиков, взяв за образец царскую армию, ввели, как понимает Владимир, с той же целью, с какой напекли избыток инженеров — чтобы больше была дистанция от приказывающего до исполняющего. В этом случае, если какой-то приказ не выполнен, крайнего найти труднее. Не нашли виновного — значит виновны объективные обстоятельства. А главное, чем больше подчинённых, тем выше оклады у командиров. В общем, тут все продумано.

После демобилизации Владимир работал на стройке, одновременно учился на заочном в техникуме. После техникума на вечернее отделение в институт поступил — не потому, что диплом инженера был нужен, а просто втянулся в учёбу; ну и к молодым строителям, выпускникам институтов, не служившим, кстати, в армии, не хотел идти в подчинение. Так по инерции чуть в аспирантуру не подался — приглашали однажды в научно-исследовательский институт...

— Как ты думаешь, — советовался тогда Владимир с женой, — два моих зашных образования не равны одной академии?

— А что смеёшься? — Тоне хотелось, чтобы муж, несмотря на невысокую зарплату у научных сотрудников, подался в науку. Учёный — это звучит!

Но Каретов двигать науку не пошёл:

— Её и без меня хорошо задвинули.

Жена не поняла, действительно ли он считает, что в науке уже почти все проблемы решены, или, наоборот, зная, что некоторые знакомые им «учёные» производят макулатуру под видом диссертаций, ехидничает, но её и такое его решение устроило:

— Ну и ладно: отучился, дачку можно будет теперь купить, свободного времени у тебя будет больше.

Была у неё такая мечта — ковыряться по выходным в земле и навозе и хватать иногда у себя на работе, что на грядке у неё уже вырос свежий огурчик. И ведь купили участок с небольшим домиком за восемьсот рублей, и огурчики теперь — обыкновенное дело.

Квартира у них была уже давно, и всё необходимое — и престижное! — куплено, всё как у людей. Работа у Владимира — тёплое место в проектной службе, на которое он, кстати, не лез — начальство так распорядилось. Работа, признаться, Владимиру не очень была по душе, но он для себя давно вывел правило: делай, что велят. Так учили в армии: приказы не обсуждаются, а выполняются. Кто исти-

ну эту вовремя усвоит, тот и преуспеет. Была, верно, поправочка к этому правилу: не спеши выполнять приказ, подожди, когда его отменят. В армии давно заметили, что наказывают не виноватых, а самых шустрых...

Повестку, конечно, не отменят. Ну, медкомиссия — бог с ней, на сборы бы сдурю не взяли, всё-таки декабрь — не самый лучший месяц, чтобы в войну играть.

За двадцать лет гражданской жизни несколько раз пришлось ему «партизанить» — так называли переподготовку офицеры запаса. Командование части, которому вменялось в обязанность проводить обучение, считало эту задачу обузой и было озабочено тем, как с наименьшими затратами сил и времени избыть её. Главное — как надёжнее изолировать товарищей офицеров запаса от солдат срочной службы и, что ещё важнее, как упрятать удалое войско от строгого ока вышестоящего начальства. Тут всё годилось: могли в экстренном порядке вывезти подальше за город и поселить в палатках, невзирая на мороз, и держать сутками вне досягаемости проверяющих. В палатках устанавливались железные печки, но это не спасало, потому что как только переставали их топить, то температура в плотняном жилище скоро падала до минуса. «Партизаны», естественно, принимали контрмеры: чтобы не простудиться, добывали горячительные напитки, снаряжая для выполнения такой важной боевой задачи вверенную им военную технику и мобилизуя заодно приставленных к ним молодых офицеров. В общем, обучение и передача опыта между кадровыми офицерами и «партизанами» были взаимными. В легнее время тоже находился повод для выпивок: то дождь намочил, а то жара и жажда мучают.

После сборов военкомат оформлял на офицеров запаса соответствующие документы и представлял их выше. Через определенные сроки обученным присваивали очередное звание. Так Каретов дослужился до капитана.

Владимир не был любителем выпивок, но правила игры «в офицеров» его, как и всех остальных участников этого мероприятия, устраивали. Конечно, получив направление на сборы, он досадовал: налаженная жизнь выбивалась из ритма, нарушался покой, какие-то личные планы ломались, но к досаде примешивалось чувство, похожее на облегчение: можно было бросить самую неотложную работу, посмотреть на коллег с некоторым превосходством — годен, мол, я для чисто мужского дела, отбываю на службу, и никто здесь мне больше не указчик.

Глава 2

Мурлыча под нос: «Как хорошо быть генералом...», морозным декабрьским утром отправился Каретов по указанному в повестке адресу. Тихая улочка, на которую он вышел, была в самом центре города, но Владимир оказался на ней впервые. Улица являла собой как бы границу миров, контраст века минувшего и нынешнего здесь особенно бросался в глаза. Справа высились серые многоэтажные бетонные коробки жилых и производственных зданий, слева ютились старые деревянные дома с полуотвалившейся резьбой, с печными закопченными трубами, с щелястыми заборами перед ними, чью ветхость домоуправленцы пытались неоднократно омолодить с помощью краски — зелёной, синей, жёлтой и даже чёрной; одна краска накрывала другую, потом всё это морщилось от непогоды, лопалось, повисало разноцветными лоскутами — проявление неряшливости, расточительности и нищеты производило на человека, попавшего сюда впервые, удручающее впечатление.

Дом с нужным Каретову номером располагался на левой стороне улицы. Деревянный одноэтажный г-образный длинный дом походил на склад или казарму. Изначально он, очевидно, и служил складом какому-нибудь купцу, а в послереволюционное время был приспособлен под жильё. Потом, спустя десятилетия, когда временные жильцы довели дом «до ручки», когда он подгнил и покривился, жильцов переселили, и местные власти отдали его военкомату. Военкомат слегка подлатал его за счёт городского бюджета и приспособил под призывной пункт. О чем извещала новенькая блестящая табличка на темных от времени потрескавшихся брёвнах. Дом был третьим от угла, совсем недалеко от цивилизованного мира: впереди улочку пересекал широкий проспект, по которому громыхали трамваи и непрерывным потоком текли автомобили. Там — магазины, реклама, тротуары, очищенные от снега, и нарядные, снующие взад-вперёд люди.

Улочка шла на подъем, а за проспектом и вовсе упиралась в небольшой холм, на котором, как и век назад, высилась пятиглавая церковь.

Церковь была действующая и потому ухоженная, обнесённая побелённым каменным забором-стеной, поверху украшенной металлической узорной решёткой; за этой стенкой возвышалась полоса из зелёных елей и обнажённых озябших берёз и лиственниц. Далее на фоне голубого холодного неба сияли золотом купола и кресты.

Каретов сотни раз проходил по проспекту, но из-за близости стены не замечал церкви, и вот так — во всей красе и с необычной стороны — увидел её впервые. Мельком взглянул туда, а затем посмотрел во второй раз, отметив про себя как-то вдруг открывшуюся гармоничность всего ансамбля, то мастерство, с которым было выбрано место: откуда ни глянь на этот рассадник дурмана для народа, отовсюду хорош. Будто сказочный корабль плывёт в синеве небес вместе с облаками, и манит за собой, обещая тебе неведомую прежде радость и блаженство.

Владимир замедлил шаг, вдохнул глубоко морозный воздух, словно хотел вместе с ним наполниться красотой и покоем, царящими среди грохота и суеты. Идти на медкомиссию почему-то очень расхотелось.

Новая ограда, отделявшая территорию призывного пункта от вольного гражданского мира, сделана из двухметровых железных прутьев, сверху заострённых, как пики; калитка тоже сработана прочно, из арматуры, попадёшь туда — не вдруг выскочишь. Замок был зацеплен только за дужку калитки, значит: открыто. Каретов толкнул было её, но вновь остановился: неожиданно громко, казалось, прямо над головой, ударил колокол.

— Бом-м!

Густой весомый звук, словно бы случайно вырвавшийся на простор, пошёл проверять, крепка ли небесная твердь, но и снисходил до земли, предупреждая людей: слушайте!

Владимир замер: для чего это, будет ли ещё удар? Ждал.

— Бом-м-м! — при втором ударе голос колокола кажется чище и светлее, рождаясь из металла, звук будто обретал живую плоть и двигался солидно, уверенно и спокойно сквозь холодные пространства, над домами, трамваями и автомобилями, над людьми — над суетой, оповещая о чём-то важном, что надо знать всем. И снова:

— Бом-м-м!

Звук ещё жил в вышине, степенно удаляясь, как вдруг зазвенели маленькие колокола, их звонкие голоса высыпались на волю, словно дети, спеша, озорно толка-

ясь и обгоняя друг друга. Они окружили басовитого владыку и помчались впереди его, тормоша и будоража всё сущее на земле и на небе, предваряя главную весть.

— Бом-м-м! — один только голос не торопился в неотвратимом своём торжестве.

Владимир вдруг заволновался. Что же это? Что случилось?! Почему колокола?

Каретов не знал ни одного церковного праздника и впервые слышал благовест, хотя жил не так уж далеко от обеих действующих в городе церквей; иногда в тихую погоду в воскресный день, когда под окнами не гудели автомобили, ветер доносил до его дома обрывки колокольного звона, но чтобы неведомый прежде мир открылся и обращался к нему вот так, напрямую — это случилось впервые. И удивительно: Владимиру был приятен этот звон, казалось, что он понимает незнакомый ему язык. Владимир взглянул на верх колокольни.

Там, в проёме её, он увидел звонаря. Открытая всем потокам стылого ветра, двигалась в ритме большого колокола тёмная фигурка; трудно было поверить, что тот маленький человечек мог своими усилиями вызвать такое громкое многоголосие. Казалось наоборот: звонарь кланялся и раскачивался под сводом колокольни от согласного дыхания звуков.

Чуть суматошная вначале, безудержно-радостная звонкоголосица обрела стройность и лад, словно бы явился некто умиротворяющий и занял своё место впереди, за ним пошли другие.

Но лад и согласие торжественных звуков царили в небе недолго, будто туча грозовая придвинулась, и что-то там дрогнуло и смешалось. И человек наверху уже не раскачивался в напряжении, не склонялся в поклонах, не молился истово и вдохновенно, а метался в тревоге, и звонкие голоса вновь сбились и в панике заплакали жалобно, закричали в смятении, предупреждая о страданиях и горе. И только главный колокол звучал торжественно и торжествуяще, шёл навстречу неотвратимому спокойно и светло.

— Бом-м-м! Бом-м-м!

От восторга озноб прошёл у Владимира по спине. Или это мороз уже забрался под одежду, но он готов был слушать небесную музыку ещё и ещё...

Увидев идущего в сторону призывного пункта мужчину, он вдруг смутился и шагнул в распахнутую калитку.

Глава 3

Дверь с улицы закрывалась неплотно, и по коридору, где короткими перебежками от кабинета к кабинету передвигались полуголые «товарищи офицеры», свободно гулял декабрьский воздух. Когда кто-нибудь входил или выходил, то крайних обдавало клубами пара, как в бане, в парной.

— Тут всё ясно, — шутили мужики, — кто живьём до терапевта доберётся, тот — годен.

Беззлобно поддразнивали необъятного увальня лет сорока, который, чтобы не потерять сползавшие с него плавки, поддерживал их руками:

— Ты, Павел Антонович, бурдюк-то почему в раздевалке не оставил? Тяжело таскать — брось!

Добродушный Павел Антонович только улыбался в ответ.

Рябой мужик с испытанным лицом, выйдя от стоматолога, рассказывал:

— Она на меня не смотрит, спрашивает: «Больные зубы есть?» Я говорю: «Нет...» Она пишет: годен. А у меня зубы никогда не заболят, — рябой, захлёбываясь от смеха, открывает рот, вынимает вставную челюсть, — у меня никаких нет!

Хохот.

— Она о другом думала...

— А вон там у одного глаз вытаскивается!

Опять взрыв смеха.

...Хирург, женщина лет сорока, командовала быстро, Владимир едва успевал реагировать:

— Присядьте, нагнитесь, влево, вправо. Так. Руки в сторону, помашите, повернитесь, покажите ступни. Так, хорошо. Следующий!

Каретов выскочил в коридор и тут только вспомнил, что надо было, наверное, сказать ей о болях. Жена давно гнала его в больницу, а он не шёл. Не умел он вписываться в ритуал боления, тошно было от одной мысли, что придётся часами торчать в унылых коридорах, дожидаясь, когда дойдёт очередь показаться замотанному и уже ничего не желающему видеть и слышать врачу, делать кислое лицо и мямлить про ощущение помехи, которая усиливается после обеда или физической нагрузки. Гастрит у него есть, об этом ему сказал ещё во время действительной службы полковой врач. Каретов жаловался тогда на изжогу. В армии вопрос решался просто: давали на десять дней диету — добавляли к обычному солдатскому пайку десять граммов масла ежедневно и заменяли серый хлеб белым. Помогало! Молодой организм легко возвращался к норме. Теперь питание хорошее, изжоги нет, но появились боли, и ни белый хлеб, ни масло не выручают.

...Терапевт измерила давление, нацелилась авторучкой на заключительную строчку в медицинской карточке, спросила для порядка:

— Жалобы есть?

Владимир засомневался — говорить или нет?

Она заметила его колебания:

— Что у вас?

— Да вот тут, под ребром...

— Запоры бывают?

— И это.

— Давно?

— Недели три-четыре, — Каретов вздохнул, мысленно ругнул себя за то, что ввязался в разговор: в холодном коридоре мужики мёрзнут и уже, наверное, матерят его, а он тут нюни распустил. — Гастрит, вообще-то, у меня давно.

— Ещё что-нибудь болит? — и, не дожидаясь ответа, взяла из стопки заготовленный бланк, подписала его, подала: — Направление в стационар вашего района. Нам принесёте акт обследования. Я здесь каждую среду и пятницу. Следующий!

У двери он остановился:

— Если до нового года не успеют?

— Принесёте после.

Выйдя за калитку, Каретов повернул направо, под горку, церковь осталась у него за спиной, колокола молчали, и он, озабоченный необходимостью лечь в больницу, да ещё накануне нового года, не вспомнил, что каких-то два часа назад слушал здесь колокольный звон, и не оглянулся.

Глава 4

Гардеробщица в больнице не приняла у Владимира пальто, а подала ему тряпичную цветастую сумку, не сумку, а целый мешок с пришитыми к нему ручками:

— Складывайте сюда свою одежду, а мне дадите списочек, я распишусь.

— И пальто, и костюм?

— Всё: и ботинки, и шапку, — но сразу смилостивилась: — Костюм можно не сдавать, в палатах есть шкафы.

— Спасибо.

Женщина показала на дверь:

— Подождите в приёмном покое, за вами придёт старшая сестра.

В приёмном покое весело щебетали четыре молоденьких девушки, Владимир принял их за учениц восьмого-девятого классов — ныне стало модным водить школьников куда-нибудь на производство, показывать жизнь в натуральных её проявлениях. Пальто, шапки, шарфы и рукавицы их были свалены в одну кучу на стульях.

— Вы тоже пришли поболеть? — поинтересовался Каретов.

— Нет, мы пришли полечить, — ответила самая бойкая, маленькая голубоглазая девчушка. Лицо у неё славное, как у ангелочка, и фигурка до того ладная, что так и просится на руки. Другие, кстати, тоже очень милые...

«Ага! — порадовался за свою догадливость Каретов, — сейчас их приучают к труду, направили санитарками».

— Из какой школы?

— Мы из училища.

— Ну?! После восьмого класса?

— После десятого!

— Ба-а! Не может быть! А что же вы все такие махонькие? Метр с кепкой.

Они засмеялись.

— Нет, верно: сейчас все такие длинные растут... Вас специально подбирали? Ну-к, иди сюда, синеглазая, — пригласил он разговорчивую к весам, — становись. Тебя как звать?

— Наташа.

Она приняла приглашение как игру, охотно стала на весы.

— Та-ак, Наташа, — он с удовольствием повторил её имя и подвинул гирьку. — Боже мой — пятьдесят один килограмм! Бараний вес! — девчушки опять прыснули смехом. — Следующая!

Другая девушка повыше, но совсем тоненькая.

— Пятьдесят два!

— Тоже бараний! — захлопала в ладоши Наташа.

Третья подружка не стала дожидаться приглашения, стала на весы сама.

— По возрастающей. У вас пятьдесят четыре — какая прелесть! Вот вам и акселерация!

Четвертая девчушка тоже была невысокой, но она полнее своих подруг, и к весам не пошла.

Заглянула в дверь женщина лет тридцати в белом халате, увидела практиканток:

— Ага, все здесь, — зашла, открыла ключом шкаф, вынула новые сложенные стопкой халаты. — Одевайтесь, а свою одежду — сюда, — кивнула Каретову: — Пойдёмте.

На лестнице она обернулась:

— Вам, может быть, пижаму надо было дать? — Он пожал плечами: «Вам, мол, лучше знать».

В коридоре второго этажа она вновь обернулась:

— Кружка, ложка, чашка есть?

Каретов мысленно продолжил: грелка, вата, бинт, клизма есть? Но, улыбнувшись, ответил:

— Да, меня предупредили, что у вас недокомплект.

В далёком полузабытом детстве Каретов болел скарлатиной и лежал в больнице — тогда, после войны, почему-то в больницах всего хватало, и порядки были другими. Из дома ничего приносить не разрешали, ни из одежды, ни — тем более — из посуды. Боялись инфекций: для ослабленных голодом людей всякая зараза была опасной. А теперь не страшно? Куда девалась посуда? Лекарств тоже, говорят, не хватает...

Коридор, по которому они шли, показался Каретову длинным купейным вагоном, только палаты-купе располагались не с одной, а с обеих сторон от прохода. Куда ехали пассажиры этого поезда? Большинство — временно — на станцию «Жизнь», а некоторым, вероятно, была уготована конечная для всех остановка. Эту холодную мысль, овладевшую на минуту Владимиром, он прогнал усилием воли, сказал себе, что никакой это не поезд, а типовое студенческое общежитие, приспособленное под больницу, вон там, в конце коридора, налево, должны быть туалеты и душ, а справа — выход на запасную лестницу. Но кто-то настойчивый и жестокий ещё раз напомнил, что в конечном итоге от смерти запасным выходом не ушёл ещё никто. «Ладно, — согласился со скептиком Владимир, — но пока не мой черёд?» Ответа не последовало.

— Вот, — сказала старшая сестра, распахнув дверь, — располагайтесь здесь.

Каретов вошёл в палату и остановился. И здесь чувство вагона, только теперь плацкартного, нахлынуло на него. Слева вдоль синей стены стояли три железных кровати, в торец одна к другой, возле каждой — тумбочка; справа у двери был фанерный шкаф, выкрашенный без затей зелёной краской, и две кровати, между которыми уместились две синие тумбочки. Ещё в комнате было два стула и две синих — в тон окрашенным стенам и тумбочкам — шторы.

Окно обледело и плохо пропускало свет, которого и так недоставало из-за густой кроны деревьев, росших за окном. Летом, когда распустится листва, здесь и вовсе должно быть темно.

— Здоров, — на приветствие Владимира со средней койки слева отозвался крупный и упитанный пожилой мужчина. Он лежал поверх одеяла головой к двери и, чтобы увидеть новичка, круто повернул голову. Одет он был в тёплые синие брюки трико и в пёструю, явно не больничную рубаху, пуговицы её расстёгнуты, и под ней видна была полосатая фланелевая нательная рубаха, тельняшка. Лицо у него чисто выбрито и, несмотря на возраст — пенсионный или около того — румяное; голубые глаза смотрели доверчиво и выжидающе, как у ребёнка. Да и весь он был похож на необыкновенно крупного карапуза. Язык сразу выдавал в нём украинца.

— Две койки свободные у нас. Тут тепло, но темновато, — кивнул он на кровать у двери, — а там светло, но форточка дует. Если не боишься холоду, то там лучше.

Владимир боялся холода, но и свет ему был нужен.

— Спасибо, — он решил сперва повесить костюм в шкаф, открыл его, но там не только плечиков, но даже крючка ни одного не оказалось. Он кинул взгляд, ища

помощи, на ближнюю к шкафу кровать. На ней ногами к двери лежал старик в просторной жёлто-полосатой казённой рубашке-пижаме и таких же штанах. Он был полной противоположностью украинцу: бледен, тощ и молчалив. Мослатые руки он заложил за непомерно крупную, как котёл, голову, обрамлённую великолепными длинными прямыми серо-седыми волосами, они, словно парик из конских волос, ниспадали до самых плеч; такие волосы подошли бы какому-нибудь театральному мэтру. Но лицо старика явно отрицало принадлежность к богеме. Оно было испещрено крупными и мелкими морщинами — жизнь не поскупилась на автографы, глаза маленькие и расставлены необыкновенно широко, словно кто-то пошутил когда-то: ударил меж бровей тяжёлым тупым предметом, отчего глаза разъехались в стороны, а на месте удара образовалась вмятина, и кожа на этом месте осталась гладкою и белою, тогда как солнце и ветер выдубили его лицо до цвета ржавой жести.

Ему не нужно было шевелиться, чтобы увидеть вошедшего, взгляд его и без того упирался в дверь, но ничего в нем не читалось — ни любопытства, ни внутренней затаённой боли. Он был полностью погружён в себя и, кажется, не слышал приветствия новенького и потому не ответил на него.

Но вдруг этот сфинкс обнаружил связь с внешним миром:

— Там есть гвоздь, — сказал он, не меня выражения глаз и не дрогнув ни единым мускулом. И если бы не шевельнулась нижняя губа его, чуть припухлая и выдвинутая вперёд, отчего плоское лицо старика приобретало несколько свирепое выражение, Владимир подумал бы, что о гвозде ему произнёс собственный внутренний голос.

«Экий чингизид! — с чувством некоторой душевной робости подумал Владимир. — Как обманул: с виду отрубился, а на самом деле видит насквозь!»

Каретов пристроил на гвоздь и брюки, и пиджак и прошёл к свежезаправленной койке у окна. Постель на кровати у противоположной стенки была скомкана, большой отсутствовал. Владимир сел на свою кровать, мысленно произнёс знаменитое: «Поехали!»

Вечером того же дня его навестила жена. Антонина пришла в неурочный час, когда время для свиданий с больными уже закончилось, но здесь на это, как оказалось, не обращали внимания. Он спустился к ней на первый этаж, попробовал стать у батареи отопления, но от входной двери несло холодом, и тогда он увлёк жену в коридорчик, который вёл к кабинету главного врача; напротив двери здесь были раздевалка, приёмный покой и душевая. Бойкое место, зато у стены стоял узкий диванчик. Они сели.

— Жмёт? — спросил он Тоню, имея в виду мороз на улице.

— С ума можно сойти, — лицо её прямо полыхало огнём. Она сняла рукавички, показала покрасневшие руки: — Еле дошла. Тридцать четыре! И ветерок тянет.

— А зачем ты всё это несла? — он спрятал её ладошки в своих и заглянул в сумку. Там оказалась поллитровая банка с клубничным вареньем и домашние пирожки, завернутые в бумагу и в махровое полотенце, ещё тёплые.

— Прямо из духовки, — сказала довольная Антонина, — ешь.

— Я ничего не хочу. Нет, хочу, — он привлёк её и прошептал на ухо: — Тебя!

— Ну! — она оттолкнула его в испуге, оглянулась и засмеялась: — Офонарел совсем! Давно ли из дома?

— Знаешь, давно — я уже соскучился, — он вздохнул. — Мне на завтра исследования назначили, так что приступаю к голодовке.

— Съешь потом, вечером.

— И на послезавтра тоже — это длинная, как я понял, канитель. Да, вот что: принеси лампочку на сто, или лучше на сто пятьдесят ватт. Это в нижнем ящике стола, а то над моей головой тут такая тусклая висит, что штаны от рубахи отличить не могу.

Он, разумеется, преувеличивал, но читать, действительно, было утомительно, и перед приходом Тони он лежал на кровати и смотрел от безделья на потолок, усеянный множеством пятен от раздавленных насекомых. Битые комары и мошки, память о минувшем лете, наводили на грустные мысли о мимолётности и непрочности не только комариной жизни.

— Если и завтра будет такой мороз, то не приходи, — сказал он, но тут же поправился, — нет, лампочку принеси, а то с тоски сдохнуть можно — одни старики в палате. И какие-то они отчуждённые, контра какая-то между ними, а в чём дело, не пойму.

О девчужках-практикантках и особенно о цветущей докторше, которая выслушивала его в палате и делала назначения, он, кажется, забыл.

— Сам-то, — хмыкнула она, бросив короткий взгляд на его лысеющую голову, — молодой? Песок уже посыпался, иначе бы сюда не угодил, — голос Антонины чуть дрогнул, наигранная бодрость неожиданно для неё самой обратилась в грусть: — Толик, наверное, женится скоро, совсем от дома отбился.

Владимир потрогал голову — когда-то пышные, слегка выющиеся русые волосы, предмет воздыхания не только его Антонины, поредели, подтаяли, как весенние снега. Давно ли была весна их жизни, а вот уж сын жениться надумал. И Тоня уже не стесняется, спасаясь от мороза, надеть пуховую шаль вместо модной шапки и кургузые серые валенки вместо югославских модных сапожек.

— Ладно, — сказала она, вставая с дивана, — иди в палату, а то ещё вдобавок простудишься. К новому-то году не выпустят тебя?

— Нет, конечно. Но я же не больной, отпрошусь. А не отпустят — уйду в самоволку! — и подмигнул: помнишь, мол, как я к тебе аж из другого города прикатил?

Она надела рукавички, взяла опустевшую сумку, но медлила уходить, смотрела виновато, будто прощения просила, что нельзя остаться и хоть чем-то помочь ему. В глазах вопрос и тревога: что их ждёт впереди?

— Да ладно, — Каретов, придерживая одной рукой банку и свёрток с пирогами у груди, вторую протянул ей, захватил сразу обе её ладошки, легонько пожал. — Не горюй, прорвёмся!

Глава 5

На утреннем обходе лечащий врач Елена Андреевна прошла к окну и начала осмотр с Каретова.

— Вы же меня вчера посмотрели, зачем сегодня ещё слушать? — удивился он.

— Каждый день. Должны же мы знать состояние больного, — улыбнулась она.

По румянцу на щеках видно было, что Елена Андреевна недавно пришла с мороза. Была она молода, круглолица, но казалась старше своих лет из-за сосредоточенности на лице, строгого белого халата с вышитыми красными нитками на грудном кармашке инициалами «Е. А.» и бумаг, историй болезней, в руках. Но когда она подошла к Владимиру, он, подставив для прослушивания обнажённую грудь, увидел её близко и обнаружил, что мочка левого уха у неё приморожена — припухла и рдеет красной ягодой так ярко, что будто светится изнутри.

— Ой, — сказал Владимир, — у вас ухо прихватило!

Она смутилась, как школьница, сказала будто оправдываясь:

— Я знаю.

И ждала, не приступала к осмотру, пока не убедилась, что он больше ничего не скажет.

А он не мог сдержать улыбки и, поворачиваясь под команду её лёгких прикосновений, то дышал, то не дышал, и чувствовал себя неожиданно одарённым, словно не в больнице находился, а играл в счастливую игру где-нибудь на праздничном вечере. Потом лежал на спине, пока она прощупывала живот — не очень уверенно, боясь причинить ему боль. А у него все неприятные ощущения куда-то пропали, и она не могла ничего понять.

— Вообще-то вот здесь под ребром у меня будто что-то мешает, — вспомнил он, показывая на правый бок, — и возле пупка бывает резь.

Жаловаться совсем не хотелось.

Она пальцами продавila в указанном месте:

— Здесь?

— Да, где-то тут, но сейчас не больно.

— Здесь оканчивается желудок, будем обследовать. Поднимитесь, — легонько постукала ребром ладони: — Не больно?

— Нет.

— Печень в порядке, желчь, судя по лицу, тоже должна быть в норме.

Когда она начала осматривать худого старика, похожего чем-то на монгола, Каретов посмотрел на него и внутренне ахнул: во всю грудь седого ветерана, а он был широк в кости, красовался орёл, распахнувший крылья. У орла мощный клюв и гипнотизирующие глаза. Татуировка на живой коже была исполнена мастерски, притягивала взгляд и наводила на размышления о том, где и когда заполучил старик на грудь это художество.

Врач осмотрела остальных и ушла, но словно бальзам на душу пролила.

* * *

— Ты что плетёшь?! — в голосе седовласого, фамилия у него — Савельев, заклокотала ярость. — После Сталинграда! После Сталинграда на Курской ему дали, а под Москвой — в сорок первом, в декабре!

Старик сел на кровать, закашлялся. Фиалко, упитанный мужчина, от этой вспышки немного робеет, растерянно обращается в сторону Каретова, ища у него поддержки, пытается опять своё:

— Та не, я ж говорю: у сорок третьем погнали с-под Москвы...

— Кха! — Савельев сунул ноги в шлёпанцы, сплёвывая в платок, вышел из палаты. — Су-ка! — шипел он, шаркая в конец коридора, к окну. — Точно: бандеровец!

Прошлым вечером у этого окна Савельев слышал, как Кадочкин, четвёртый больной из их палаты, рассказывал своему дружку про одного их бывшего работника, который числился на хорошем счету у начальства, награждён был даже какой-то медалью, и вот он поехал отдыхать на Украину, а там его зацапали, узнали. Оказалось, что в войну у немцев служил и своих односельчан собственноручно расстреливал. Думал всех убил, а не всех. Попался пёс! Сколько писали о таких случаях в первые годы после войны, и вот опять.

И о Фиалко Кадочкин высказался примерно в том же духе:

— Он чего здесь живёт? Ехал бы на свою «ридную», а то сидит один в благоустроенной квартире, жалуется на какую-то болезнь — то ли она есть у него, то ли нет; плохо ему одному — чего не едет? Боится падла, что тоже заметут?!

Кадочкин даже считает, что его болезнь не проходит из-за Фиалко, из-за Фиалко никакого режима нет. Кровати их стоят вплоты одна к другой, раздвинуть их невозможно. Ночами Фиалко обязательно просыпается, и начинается канитель: он кашляет, затем что-то жуёт (боится похудеть?!), пьёт чай и мочится в банку. Кадочкин просыпается от этой возни, от того, что его кровать вздрагивает от толчков, начинает сам ворочаться, пытаясь найти положение, в котором удастся уснуть, но потом, когда дело доходит до проклятой банки, вскакивает, достаёт из-под подушки припрятанные сигареты и бежит курить в туалет. И курение, и сквозняк у открытой форточки Кадочкину, с его воспалением лёгких, противопоставлены. Возвращается он, когда Фиалко уже спит. Но и спящий Фиалко досажает Кадочкину, может быть, ещё больше: «бандеровец» храпит так, будто кран бьёт, у которого давно пора менять прокладку. Кадочкин не выдерживает, вскакивает, толкает сильно и больно мозолистым кулаком в крутое необъятное плечо пенсионера:

— Ты, гад, ляжь на бок! Слышь?

Фиалко со сна недовольно ворчит, но послушно поворачивается на бок, храп на некоторое время прекращается. Но лежать с такой массой на боку неудобно и тяжело, и не проходит полчаса, как Фиалко снова валится на спину, и опять от громовых раскатов содрогаются не только кровати, но и стены. Кадочкин, одолеваемый мучительным желанием спать, не может даже в тихую минуту расслабиться, в нём словно поселяется беспокойный сторож, который ждёт возобновления храпа — этого злобного проявления «бандеровской» натуры.

— Скотина! — с матерками в полный голос Кадочкин бесцеремонно трясёт соседа. Просыпаются все.

Фиалко, постанывая от необходимости двигать своё грузное тело, садится на кровати, шумно дыша, натягивает своё синее трико с белыми лампасами, надевает тапочки, забирает свою вонючую банку и уходит в туалет.

«Нет, — думает Савельев, вспоминая эти ночные побудки, — Алексей не из тех, кто помогал немцам. Медали у него свои».

Два дня назад Фиалко отпрашился домой за рентгеновскими снимками, которые ему сделали аж где-то в Риге. Когда собирался, одевался внизу, в гардеробе, потом зачем-то вернулся в палату, зашёл в костюме — на правой стороне его пиджака красовался новенький орден, полученный по случаю сорокалетия Победы, а слева вместо медалей — набор колодок. Судя по колодкам, боевых наград у «бандеровца» раза в три больше, чем их было у разведчика Савельева.

Было. А теперь нет. Савельев свои медали и орден утратил в сорок пятом, когда попал в очередной, и в последний, раз в госпиталь — без сознания. Когда чуть одыбал и вспомнил о своих вещах, главное, конечно, о гимнастёрке беспокоился, о документах в ней и наградах — ему сказали, что привезли его в одном исподнем. Кто его раздел и для чего, осталось неизвестным. Где-то же они есть, его награды и удостоверения к ним. Мысль о том, что кто-то мог присвоить чужие орден и медали под конец войны, «на дембиль», Савельеву никогда в голову не приходила, сам бы он на такое никогда не пошёл. Не мог он допустить и мысли о том, что пусть чем-то и неприятный ему Фиалко, «бандеровец» и прочее, нацепил на себя незаслуженные отличия.

Но как этот бугай забыл или не знает, что именно в декабре сорок первого, ровно сорок пять лет назад, под Москвой первый раз немцу дали жару?! Разве это можно не знать или забыть?

— Я неправильно сказав? — Фиалко, склонив голову набок, огорчённо посмотрел на Каретова.

Украинский выговор Фиалко был замечен постоянно, а когда он уставал или волновался, то и вовсе часто вставлял в речь украинские слова. Кадочкина это бесило, он говорил, когда Алексея Федотовича не было в комнате:

— Говорит, что после войны всё время жил в Сибири, а не врёт? За сорок лет по-русски разговаривать не научился?!

Каретов целыми днями не выпускал из рук авторучки, даже лёжа писал на продолговатых рыжих картонках, что-то зачёркивал и снова писал. Когда Фиалко увидел эти карточки, то заинтересовался, спросил, для чего они.

— Перфокарты, — пояснил Владимир, — на них информацию заносят и вводят в машину. Плотные, писать на них удобно.

— Ага, — Фиалко понял, что перед ним человек очень грамотный и проникся к Владимиру уважением.

И теперь Каретов вынужден был постоянно подтверждать свою репутацию. Он оторвался от записей, немного подумал — как бы ответить так, чтобы оба фронтовика оказались правы.

— Смотря о чем речь, Алексей Федотович, в сорок первом фашистов под Москвой побили, но фронт отодвинули не очень далеко, на сотню километров, на две, а уж по-настоящему от столицы их погнали, действительно, после Сталинграда.

— О! — обрадовался фронтовик. — А я шо кажу?

— Кадочкин! — Таня, медсестра, вошла со шприцем в руке и остановилась на полпути. — Где Кадочкин?

— У соседей, — показал на стенку Фиалко, — в карты грает.

— Вот я ему сейчас покажу карты!

— Так, — обрадовался Фиалко, — вы ему больничий укол вставьте, щоб не прыгав и щоб сесть не мог.

Таня засмеялась и вышла. Через минуту она снова появилась:

— Фиалко...

Теперь засмеялся Каретов.

— Не ройте яму другому!

— Можно у руку? — подниматься, чтобы стащить трико, поворачиваться — слишком канительно, Алексей Федотович закатал рукав. — Вот сюды.

— Как хотите, — согласилась она, — но здесь больней.

— Ничего, я стерплю. А то там уже усё искололи.

Она улыбнулась, поставила укол, приложила ватку, смоченную спиртом:

— Держите. А где Савельев? Ну что такое, почему я за всеми бегать должна?

— Он дэсь у коридори. Не понравилось ему, как я за Москву сказав.

Пришёл Савельев, лёг на кровать вверх лицом, обнажил руку. Девчушки, те самые, из медучилища, принесли стояк, укрепили на нём пузырёк, стали растирать старику по очереди руку в сгибе, просили «поработать» кистью, наконец обнаружили вену. Таня ввела иглу.

— Какой-то не такой пузырёк, как в прошлый раз, — сказал Савельев, когда медсестры вышли.

Каретов положил бумагу и авторучку на тумбочку, подошёл, посмотрел, успокоил старика:

— Глюкоза. А в прошлый раз у вас было лекарство.

— А для чего она?

Шутит? Каретов озадаченно почесал кончик носа. Оказывается, есть люди, которые не знают, что такое глюкоза!

— Ну-у... Для общего укрепления организма.

Савельеву ответ понравился, он уважительно посмотрел на бутылочку, на лице его, буром, испещрённом морщинами и тёмными мелкими крапинами, появилось выражение удовлетворения:

— Хотя аппетит у меня появился, а то совсем отощал, пятьдесят килограмм осталось.

— Кровь разбивает, — внёс свою лепту Фиалко в познание Савельевым современной медицины.

Савельев помолчал, мечтательно глядя в потолок, сказал:

— Я себе на фронте зарок дал: если выйду живым из этого пекла, то до восьмидесяти лет буду жить! Я как костыли бросил, так врачам больше не показывался. Первый раз после войны в больницу лёг.

Тогда, сорок пять лет назад, юному Савельеву восемьдесят лет казались недостижимой вечностью, сказкой, о которую можно греть душу, потому что она могла прерваться в любой день и час. Теперь, когда до намеченного срока осталось прожить всего семнадцать лет, у него появились сомнения, что он продержится ещё и эти годы, а главное — появился вопрос: надо ли тянуть, врачей беспокоить, нянечек, сестёр? Какой смысл? Разве обеднеет мир, что станет на свете меньше ещё одним никому не нужным стариком?

— Вас в каком году взяли на фронт? — поинтересовался Владимир.

— Призвали-то в сорок первом, в конце, мне тогда полных восемнадцати не было, а на фронт я попал уже в сорок втором, осенью.

— Были в училище?

— Ну. Младших командиров. Ускоренный выпуск. В Чите нас полтора месяца муштровали... Голодные, раздетые... Когда на фронте в разведку набирали, я сразу попросился. Разведчикам полушубки давали и валенки.

— И что, — удивился Владимир, — вы ходили к немцам в тыл?

— Ну да, — в свою очередь удивился Савельев, — почему не ходил? Ходил.

— Геройский парень был, — поддакнул Фиалко, — досталось ему. Вот вы скажите: сколько годов мне, и сколь ему?

Каретов взял стул, сел на него верхом, посередине между двумя кроватями, посмотрел направо, на худого, некрасивого, с большим лягушачьим ртом Савельева, затем налево, на упитанного, почти без морщин на лице, Фиалко, усмехнулся:

— Полные обычно выглядят моложе своих лет. Вам на вид шестьдесят можно дать, но, наверное, вам больше, раз вы тоже воевали. А ему, — Каретов ещё раз посмотрел на бывшего разведчика, — он и на семьдесят потянет. В общем, разница, видимо, небольшая. Ефим — как вас по батюшке? — Ефим Михайлович годика на два-три старше, не больше.

— Ага! — глаза Фиалко довольно заблестели: — Жизнь показывает, у кого шо было. Какая была жизнь.

Каретову кажется, что в сочувствии Фиалко к нелёгкой жизни соратника по минувшей войне кроется ирония и какой-то намёк на обстоятельства, о которых и Каретов должен узнать.

— Он с двадцать третьего, а я на пять лет старше. Я старше, вы поняли?! — го-

лос его звучит почти торжествующе. — Ото, значит, разведка скажется. А ещё ранения. У его все ноги побиты осколками. Он тебе покажет хвотокарточки. Там — видно.

— Брат у меня тоже разведчиком был, — задумчиво произнёс Савельев. — А другой — танкистом. На Курской дуге сгорел.

— А разведчик остался живой?

— Нет, наверное. Он пропал без вести, в самом конце войны. Его представляли на звание героя, но присвоили или нет, я не знаю.

Вошла сестра-хозяйка.

— Какая кровать свободная?

— Та, шо у двери.

Она выглянула в коридор:

— Заходите.

Вошёл парень. Роста выше среднего, стройный, темноволосый, лицо чистое, под чёрными дугами бровей — открытый взгляд больших карих глаз. Красавец.

— Здравствуйте, — блеснул он золотой фиксой, мельком оглядел комнату, шагнул к отведённой ему кровати, опустился на неё осторожно, открыл тумбочку, сунул в неё полиэтиленовую сумку, закрыл дверку и успокоился, то ли привыкая к обстановке, то ли боясь потревожить боль, которая загнала его в больницу.

— Ну вот, — высказался Фиалко, — твоё место. Обойма полная.

И не ясно было: удовлетворение он испытывает, что все пять мест в палате теперь заняты, или высказал неудовольствие.

— Много там ещё? — Савельеву не видно снизу содержимого пузырька, и он беспокоится, что пропустит момент, когда «систему» нужно будет убрать.

— Скоро. Сейчас позову, — Каретов пошёл за медсестрой.

Это было приятно, позвать сестричку: все они были хороши собой и притом внимательные, душевные, что в красивых женщинах бывает нечасто. Казалось, что отбор в стационар производился по специальным тестам. Пришла Таня, извлекла иглу из вены, прижала к ранке ватку:

— Держите.

Савельев, придерживая ватку, тотчас сел, точно попав ногами в казённые разбитые шлёпанцы, оперся локтями в колени, замер в привычной позе: так, согнувшись, он просиживал большую часть времени, когда не спал. Каретов тоже устроился на постели, лёжа на животе, занялся своими перфокартами.

Глава 6

— Исхудал человек, — продолжил Фиалко тему. — Ну, ничего, подлечат тебя, знова будешь геройский парень.

«Геройский парень» не отозвался. Так его называли впервые, когда он, честно признаться, испугался до смерти.

На нейтральную полосу разведчики выдвинулись засветло, вернее, в сумерках, когда зимнее солнышко скрылось за лесом. Ефим полз в снегу и наткнулся на врага, увидел впереди себя, в каких-нибудь шести-семи метрах, его, того самого врага, о котором приходилось слышать ежедневно, которого нужно было ненавидеть, гнать с нашей земли, а ещё лучше — уничтожать. Враг был черняв и красив, как этот вот юноша, что сидит напротив Савельева на больничной койке, только лицо у того было темным, задубевшим от ветров и морозов. Враг лежал головой в

сторону командира отделения Дубакина, он, конечно, прекрасно видел, как выгребается сержант в снегу, но не стрелял. И Савельев он обнаружил раньше: Ефим и посмотрел-то в его сторону только потому, что почувствовал на себе чей-то взгляд.

— Ох, я испугался! — без всяких предисловий сказал Савельев в пространство и засмеялся. — Совсем рядом. Нажал с перепугу на спуск и не отпустил, пока диск не кончился!

— Вы о войне? — осторожно поинтересовался новенький.

— Ага. Что я тогда был? Пацан! А он испанец был. У немцев тогда такая «Голубая дивизия» воевала. Он с винтовкой был, первый меня увидел, а почему не стрелял?

— Он же ж знал, что ему усё равно смерть, — пояснил Фиалко. — Ну, думает, зачем убивать такого ценного человека? Хай живе.

Савельев не отреагировал на эту подковырку.

— Я так перепугался, что обполз его кругом на расстоянии, а только потом осмелился к нему... Перерезал очередью пополам, вот так, — Савельев перечеркнул себя наискось ладонью и замер. Лицо спокойно, руки неподвижны, а в глазах смутение, словно убийство случилось только что. Голос дрогнул: — Семьдесят один патрон! Как ударил — кровь аж брызгами из него! Почему не стрелял?

Савельев умолк.

После его автоматной очереди была пауза, с обеих сторон линии фронта осмысливали, что произошло на нейтральной полосе, а потом из вражеских окопов поднялась беспорядочная стрельба. С нашей стороны ответили пулемётными очередями, потом — на миномётный огонь немцев — из миномётов. Одного из разведчиков зацепило осколком мины, и Ефим на пару с товарищем тащил его вместо «языка», пока санитары не встретили их в траншее.

Дубакин, когда они вернулись в расположение своей роты, защитил своего бойца перед начальством: «Не растерялся Ефим Савельев, геройский парень!»

А Дубакину был втык от самого командира полка за срыв операции...

Лишь теперь, спустя много лет, Ефиму Михайловичу приходит в голову простой и очевидный вопрос: «А почему же тот испанец был один и так близко от наших траншей? Кого я убил?»

Каретов бросил авторучку, повернулся к Савельеву, но ничего не спросил, молча смотрел на человека, который сам, без понуждения, вдруг сказал, как он впервые убил человека на войне. Читать об этом Каретову приходилось, а вот слышать из уст участника войны — не довелось. И когда отец Владимира вернулся с войны с наградами, а он, тогда ещё малолетка, восхищённый сверкающими медалями, свидетельствующими о доблести родителя, стал спрашивать, сколько же фашистов уничтожил отец, тот ответил:

— Не знаю. Там же далеко, не видно.

— Всегда далеко? И ты их живых не видел? Близо не видел?

— Видел, но...

— Стрелял?

— Стрелял, — почему-то вздохнул отец.

— Они падали? — торжествовал сын.

— Иногда падали, — вынужден был признать отец.

— Вот! А ты почему говоришь, что не знаешь?

— Видишь ли, — после небольшой заминки осторожно произнёс отец, — я ведь тоже падал, когда в меня стреляли...

- А-а! — догадался Володя: — Ты притворился!
— Да-да, притворился, что меня убили, а меня только ранили.
— Ранили?! Где? Больно?
— Нет, теперь не больно. Зажило.

И потом ещё не однажды подступался Володя к отцу в надежде узнать, как он убил хоть одного немца, но всякий раз отец упорно стоял на своём: не видел. Каретов позже поумнел и понял, что отец оберегал его от заразы ненависти, глушил в нём любопытство к убийству, чтобы из этого любопытства не произошло желание увидеть смерть воочию и даже, может быть, вызвать её самому. Война ушла в прошлое, поколение победителей сделало своё дело, восстановило мир и справедливость, но дорогой ценой — не только потерями крови, здоровья, а и утратой части человеческого в душе. Как знать, может быть, это осталось в сердце отца незаживающей раной, болью, которую он не хотел никому показать, в которой боялся — или стеснялся? — признаться и, уходя из жизни, унёс с собой?

Так Владимир объяснил себе молчание отца и был чрезвычайно удивлён тем, что услышал от Савельева. Такой это человек, или что-то существенное изменилось в мире, и теперь это можно стало говорить?

— Обедать! — донёсся из коридора хриплый женский голос. Интонация этого крикливого голоса была такой, что больные, казалось, слышали: «Идите жрать!»

— Ну, зараза! — возмутился Фиалко. — Шо мы, скоты, что ли?

На раздаче пищи работала большая и грубая баба, которая после года трезвой жизни — вынужденной трезвости, по Указу, не утратила своего пропойного вида и хамских замашек. Иногда после обеда она проходила коридором, распаивала подряд все двери и хрипела в палаты:

— Все поели? Ну, чего ждёте? Давайте быстро!

Фиалко немедленно достал из тумбочки ложку и кружку — эти инструменты в столовой всё же были, но в дефиците — и отправился есть.

— Ну, оголодал, — сказал вслед ему Кадочкин. Посмотрел на новенького, пояснил: — Подождём, на всех места всё равно не хватает, а этому — утробу набить надо срочно. Тебя как звать?

— Роман.

— Сколько лет?

— Двадцать три.

— А мне... А, ладно! Жена, дети есть?

— Есть пацан.

— Уже сковал? Молодец!

Роман не улыбнулся. У него разыгралась язва двенадцатиперстной кишки, и он вынужден был лечь в больницу — в канун Нового года! Какая пирушка подготовлена у него с друзьями и — без него! Общество желчных стариков — вот радость, которая досталась ему.

— В двадцать три я костыли уже бросил, — раздумчиво, опять не обращаясь ни к кому, сказал Савельев, — в сорок шестом, и документы — тоже.

— Какие документы? — спросил Каретов.

— А! Ёлки-моталки! Я с фронта на костылях домой прибыл. Меня миной в самом конце войны. Ну, я как из госпиталя вышел, меня на инвалидность определили. Каждый три месяца надо было ходить на комиссию. Два раза сходил, и мне это надоело: смотрят как на попрошайку. Бросил им костыли и документы на стол и — ушёл. Вот так.

Савельев встал и показал, как он ходил тогда: левая нога до конца в колене не разгибалась, и он, приседая, продвигал её вперёд, как лыжу. Губа при этом у него отвисла, что, наверное, означало улыбку.

— Потом сухожилие разработалось, стала нормальная, — он сел на кровать, достал из тумбочки самодельную сшитую из серого полотна сумку — такие теперь были у женщин в моде — извлёк из неё свои нехитрые пожитки: небольшую ученическую тетрадь с вложенными в неё листками пожелтевшей бумаги и свёрнутые в трубку рентгеновские снимки. — А осколки до сих пор выходят. Девять штук всего осталось.

— Разрешите посмотреть?

Савельев снял со свёртка резинку, из тех, которыми женщины закрепляют бигуди, подал снимки Каретову:

— Левая нога. А вот эти два — правая.

— Ох! — изумился Владимир. — Сколько их!

Когда старик назвал количество осколков — девять — это воспринималось как-то абстрактно, а когда каждый осколок обрёл вдруг размеры, очертания и место — посланцы смерти с острыми рваными краями в живом теле — это вызвало в душе Каретова протест, желание поскорей избавиться от вида их. Показалось, что не весь опасный металл в земле, появилось предчувствие, что где-то неподалёку витает в пространстве тот, что не нашёл ещё свою жертву, и между лопатками по спине струйкой скользнул холодок, и сердце сжалось в груди — то ли от страха за себя и своих близких, то ли от жалости и чувства сопереживания чужой боли.

— Эти... два — в костях? Болят?

— Нет, не очень. Когда выходят, тогда, бывает, печёт. Вот у меня в паху был один — давал прикурить, когда выходил, даже иногда ногой двинуть не мог, — он вдруг засмеялся. — Когда прибыли на фронт, я начал спрашивать у бывалых бойцов: «Когда ранят — очень больно?» Кто-то сказал мне, что вначале не чувствуешь, а потом — очень больно, а потом — терпимо. Ну, я потом всякий раз, как увижу разорванное обмундирование, начинаю ощупывать себя — не ранили? А когда в меня попало, так заорал благим матом.

Роман, придерживая рукой свою язву, не утерпел, приблизился и тоже посмотрел, чем доставил старику удовольствие.

«Чихал я на вашу инвалидность! Обойдусь без вашей милостыни. Отдайте эти гроши сиротам!» Так он сказал врачам из комиссии в далёком сорок шестом и гордо ухромал из кабинета. И сорок лет с врачами дел не имел.

Молодость самонадеянна, а теперь, когда силы резко пошли на убыль, когда к старым ранам прибавились новые болезни, захотелось душе внимания и ласки, а уставшее тело запросило покоя.

— И что же вы делали с такими ногами? — удивился Владимир. — Это же бумаги только можно перебирать где-нибудь в конторе.

На лице Ефима Михайловича появилось выражение удовлетворения: то, что он, инвалид, не искал лёгкого места, оценено собеседником, и это приятно.

— Я на рыболовной шхуне ходил, — сказал он с достоинством. — Двадцать три тысячи получил за восемнадцать дней! — подумал немного, добавил: — После реформы.

«После денежной реформы сорок седьмого года, — прикинул в уме Каретов, — много». Не путает ли старик? Потом была реформа шестьдесят первого года, когда рубль подорожал в десять раз. Значит: получил две тысячи триста рублей, если

считать по нынешним деньгам. Очень много, годовая зарплата за восемнадцать дней — не должно быть. Но вслух своих сомнений Владимир не высказал, чтобы не обиделся старик и не прервал своих воспоминаний.

— Да-а, — продолжал Савельев задумчиво, — тогда за рыбу не ругали. Идёшь домой, несёшь горбушу — никто ничего не скажет. Все брали, надо же что-то есть. Когда уезжал домой, ну, сюда, на материк, то я полмашины красной рыбы на завод сдал. У меня погребок такой был, со льдом, не портилась.

— Бесплатно? — ахнул Роман.

— Нет, за деньги, — Савельев помолчал. — Ну, там она что стоила? Копейки. А чтобы везти на материк и торговать — тогда такого понятия не было, — он вдруг улыбнулся. — Туда ехал. Сидим, ждём, когда паром через пролив отправят. Спрашиваю: «Почему стоим?» Говорят: «Ждём прилива». Прилив? Откуда же вода возьмётся? Аж голова пухла, так сильно думал, но не додумался.

Савельев улыбнулся снова, сокрушённо покачал головой, дивясь своей былой необразованности.

— Если зарплата хорошая была, и рыба бесплатно, зачем же вы оттуда уехали? — спросил Роман.

— Да вот, — Савельев чуть повернул голову в сторону парня, и на лице его тоже отразилось недоумение. — Глупый, наверное, был, домой захотелось, — он вздохнул. — Жили — временно. Халупу построил из всякого барахла, недалёко от берега, стол из трёх досок сколотил, вместо стульев — ящики. Пацану загородку тоже из ящиков сделал, пацан у меня там родился. В избе — грязь, пола не было, зимой холодно. Ни умыться толком, ни отдохнуть. Вкалываешь, вкалываешь, потом напьёшься, как свинья, проспишься и снова вкалываешь. Что к чему? Надоело. Я и на берегу работал — на фактории мотористом был, потом на заводе, где банки делают. Обрыдло всё — вот так! А тут говорят: «Последний пароход идёт на материк». Меня как током дёрнуло: не уедешь и будешь до весны ждать! Я быстро собрался. Вещей нет, только постель. Заявление написал, деньги получил, сына в охапку и — на пароход. Даже документы не успел на работе получить.

— А здесь у вас было где жить? — спросил Владимир.

— Да, у матери, — устало отозвался Савельев, — нам ещё в тридцать восьмом квартиру в деревянном доме дали. Я и теперь в нём живу. Сгнил понизу весь, холодно.

Старик сгорбился, пригорюнился.

— Идите обедать, — напомнил Каретов, — а то получите от Моти матюгов.

— Место ещё не освободилось, — отозвался Кадочкин, — наш «Цветочек» не пришёл, пусть наестся, а уж тогда мы.

Сам Кадочкин достал из-за занавесок на окне банку с винегретом, принесённым ему из дома, вытер полотенцем ложку и в ожидании, когда Фиалко освободит место в столовой, стал делать предобеденную разминку — пробовать винегрет.

— А вы? — Роман посмотрел на Каретова.

— Я не пойду. Принципиально! — и засмеялся, увидев, как по-мальчишески округлился рот от удивления у Романа. — Мне завтра на исследования.

— Тогда мне тоже, наверное, нельзя? Чем тут кормят?

— Не знаю.

— В пятьдесят третьем году, — непонятно к чему произнёс Савельев.

— Что в пятьдесят третьем? — спросил Каретов.

— Ехали мы оттуда. В Хабаровске застряли. На поезд билетов нет, места в

комнате матери и ребёнка нет, на вокзале не приткнуться. Двое суток на ногах с пацаном на руках. Ну, пошёл я к начальнику, стал требовать, чтобы отправил нас, или место дал жене с ребёнком. Хорошо, что свой мужик попался, фронтовик. Он меня спрашивает: «С амнистированными поедешь?» А в тот год Сталин умер, всех осуждённых поотпускали, целая армия народу, всем ехать надо. Там такое творилось всё лето... И зима на носу. Что делать? Давай, говорю ему, поеду, — Савельев умолк.

— И-и ничего? — удивился Роман.

— Ничего. Тихо ехали. Пьяных не было, на станциях никакого безобразия не допускали.

— И вас не тронули и даже не обшмонали? — не поверил Роман.

— Нет. Один, правда, прискрёбся ко мне. Схватились мы. Да.

Савельев замолчал, задумался и, казалось, забыл, о чём вёл речь. Но нет:

— Как получилось. Поезд собрали из всяких старых вагонов, а уже холодно было, ночью — мороз. Он открыл дверь, а жена ему сказала. Он подошёл к ней, рукой за лицо взял — вот так, — Савельев сжал себе рот с двух сторон, и Каретов увидел вдруг, какая огромная кисть у старика и широкое запястье, и ростом он, пожалуй, выше всех в этой комнате — могучий был мужчина, когда был в теле, вот уж кому, действительно, сподручно было «языков» таскать, — и говорит ей: «Ты что сказала, милочка?» Я ему: «Ты что, сука, делаешь?! Она тебе правильно сказала, что сквозняк». А он мне: «Да тебя отсюда на ножах вынесут! Ты знаешь, откуда я? Я — из Магадана!» — «Ну и что? А я откуда? Пошли, — говорю, — в тамбур!»

Савельев умолк, пожевал губами:

— Ну, потом его мужики отвели в сторону: «Ты что? Это же Генкин отец!» Генка там с ними со всеми по полкам лазил. Как свой. Полюбили они его. Увели блатного куда-то. Вечером он мимо прошёл и даже не посмотрел в нашу сторону.

— Простите, Ефим Михайлович, вы что-то о документах сказали, — заметил Каретов, — вы без паспорта уехали?

Савельев, по обыкновению, никак не прореагировал на вопрос, так что трудно было понять, слышал ли он его. Но старик просто вспоминал.

— Паспорт был, — сказал он, вздохнув. — На работе мне трудовую не заполнили и справки никакой не дали. Ну, стаж и потерялся, девять лет.

— А вы не писали туда? Надо было написать, они выслали бы. Обязаны выслать.

— Почему не писал? — как будто обиделся Савельев. — Сколько раз писал. И жена писала. Ей с её работы выслали тоже не сразу, через три года, а мне — нет.

— Как же так?

— С ней проще было, она почти всё время на одном месте работала, а я — по всему побережью. Теперь там приграничную зону сделали, без специального пропуска не проедешь, — он помолчал, добавил с горечью: — Да я бы сумел пробраться и без разрешения, но завод закрыли, давно нет завода. Где, кого искать?

— Так, — сказал Каретов, — у вас, значит, не хватает стажа для полной пенсии?

Савельев поджал губу, лицо его приобрело суровое и одновременно обиженное выражение. Он долго смотрел в угол, мимо Романа, который сидел смурной напротив, потом вымолвил нехотя:

— У меня ни на какую не хватает.

— Вы не получаете пенсии?!

Савельев на этот раз не ответил, с трудом поднял ноги на кровать, лёг, заложив ладони под затылок, устало закрыл глаза.

Глава 7

— А у меня болезнь, — Фиалко вернулся из столовой, некоторое время ревниво следил за тем, как внимательно слушали в палате Савельева, и не утерпел, как только возникла пауза, вставил слово, — у меня такая болезнь, шо врагу своёму не пожелаешь.

Кадочкин брякнул кружкой и ложкой, пошёл на обед, демонстрируя, что «бандеровская» болезнь его не интересует. Роман вышел вслед за ним, Савельев пожевал губами, вздохнул и полез в тумбочку за ложкой. Каретов счёл неудобным не обратить внимание на Фиалко, хотя ему с трудом верилось, что в крупном будто набитом здоровьем теле Фиалко могла поселиться болезнь, да ещё такая, какой «врагу не пожелаешь».

— То ж я правду говорю — вы мне верите?

Каретов пожал плечами. Савельев в это время вышел, бухнув дверью.

— Я покажу. Не ходите, там народу полно, — заторопился Фиалко, боясь, что и последний возможный слушатель уйдёт, торопливо достал из тумбочки папку, дёрнул за кончик верёвочки, развязал, подал небольшую книжку с серой линованной бумагой. — Вот тут.

— Бронхиальная астма, — прочитал Владимир на указанной ему странице.

Диагноз на Каретова впечатления не произвёл, и Фиалко, напряжённо смотревший ему в лицо, решил уточнить.

— Вы знаете, шо это такое — бронхиальная астма?

— В общем, да.

— Не, вы не знаете. То, шо я ночью кашляю и задыхаюсь, то не всё. Вот я шёл в Риге по улице и мне воздуху не стало хватать, у меня судорога пошла, шо-то ударило в голову, и я упал. Вот, видите? — он указал пальцем на едва заметные шрамики слева и справа от носа. — Я как упав лицом вниз и што-то повредил себе в носе. У меня кровь туда пошла, в голову. Я всё ходил к врачу, а она мне порошки даёт и говорит, что насморк. Чуть бы ещё и — помер. Мне хирург, посмотрел и сказал хирург, что жить мне осталось два дня. Он мне туто о — разрезал, операцию сделал. Спас меня. А только что-то ещё не так — он своё сделал, а по другой специальности у меня неправильное дыхание, но теперь, говорят врачи, что уже всё срослось. Вот что такое астма. Мне врач сказал: «Где жили раньше, там и живите, у тому же климате». Я и поехал обратно у Сибирь, потому шо в Риге совсем другой климат.

Каретов внимательно смотрел на собеседника и думал о своём. В те дни, пока он ждал, когда освободится место в стационаре, он перелистал доступную ему литературу по медицине и пришёл к неожиданному выводу: либо у него нет никакого заболевания, либо есть опухоль. А тогда, если опухоль действительно есть, совсем в другом свете предстают те малозаметные сдвиги в здоровье, которые он относил на счёт возраста и не обращал на них внимания. Зрение у него начало шалить: временами нормальное, а то вдруг и в очках, которые он выписал себе год назад, ничего не видно. Больше ему досаждал правый глаз. И бок покалывает си-

стематически, и тоже с правой стороны. И отёк утром бывает под правым глазом больше... Думал, что это от почки или печени, но врачи говорят, что эти органы у него в норме. Давление у него всегда как у космонавта, а однажды — с месяц назад — подскочило без видимых причин так, что только «Скорая» и помогла. И бессонница случается беспричинно, а главное — слабость такая иногда, что на работе вместо обеда он засыпает в кресле.

На мысль об опухоли его натолкнуло непонятно откуда выплывшее воспоминание: из их дома, из соседнего подъезда, несколько лет назад выносили покойника; скорбные слёзы близких и, конечно, вздыхания знакомых. Женщины, стоявшие позади всех, негромко переговаривались, и Каретов, проходя мимо, услышал:

— И этот от рака умер. Все от рака мрут.

И над всем тем скорбным людским строем запомнился Каретову пышный шлейф дыма, дыма на голубом фоне, дыма, который днём и ночью, зимой и летом изрыгали трубы завода. Заводскую территорию и дом, где жил Каретов, разделял лишь забор, забор дыму не помеха, а ветер чаще всего дул в эту сторону. Жена каждый день протирает чистой байкой экран телевизора, и всякий раз на белой тряпке остаётся жирный налёт копоти. Это в квартире, когда окна заклеены, а на улицу хоть не выходи. Канцерогены, безусловно, есть, а в норме ли? И кто её, эту норму, установил?

Лет десять назад много говорили о том, что завод перенесут за город, потом говорили, что переведут его на газтопливо, а в последние годы прекратились эти пустые разговоры.

— А вы знаете, шо такое адинома?

— Аденома? — Каретов прислушался: по коридору топот, беспокойный говор и стук. — Что-то там случилось.

— Да, — вспомнил Фиалко, — вы идите обедайте. Я вам потом докажу, шо оно такое.

В конец коридора спешила нянечка с ведром, за ней, дожёвывая пищу на ходу и вытирая рот тыльной стороной ладони, торопился Кадочкин. Больные, высypавшие в коридор, стояли вдоль стен, пропуская их. Каретов не понял, что происходит, и зашёл в столовую. Он уже начал привыкать к тому, что каждый день здесь случаются разные происшествия.

Прошлым вечером, как раз в час отбоя, в коридоре вот так же началась какая-то канитель: топот, беспокойный говор, хлопанье дверей. Потом пришёл Кадочкин, который, как обычно, играл в соседней палате «в тыщу», включил свет, сел на кровать, сказал растерянно:

— Дед умер.

— Ну?! Который?

— Напротив. Я ж с ним перед тем, примерно за час, разговаривал. Он мне сказал, что у него операция была месяц назад, камни из мочевого пузыря удалили. Он уже был дома. А потом у него началось нагноение — его привезли сюда... На стульях заносили в больницу — я такого никогда не видел... Спокойный был дедок, рассудительный такой и — помер!

Кадочкин был потрясён, никак не укладывался у него в голове тот великий разрыв между жизнью и смертью, в который умещается всё и ничто. Как человек может быть абсолютно разумен перед самой кончиной?

— Его ещё не унесли, если хотите — сходите посмотрите.

Но кроме Кадочкина со стариком никто больше не общался, желающих не

нашлось. Слишком ветхим был старик, чтобы могла быть надежда на иной исход, и всё же...

— Их, оказывается, сразу не уносят: надо чтобы остыл. Сестра мне говорит: «Поможешь?» Они бутылку спирта дают. Я не понесу!

Соседи покойного вышли из палаты, слонялись по коридору. Потом один лёг спать на скамье, двое других продолжали, как маятники, ходить из конца в конец коридора, пока не появились из соседнего больничного корпуса студенты, пришли заработать спирт. Они завернули покойника в простыню и унесли.

Пришёл из туалета Фиалко, сообщил о том, что видел по пути:

— Уже забрали его. Давайте проветрим, — он открыл форточку, распахнул дверь, и когда в комнату начал вливаться морозный воздух, все почувствовали, насколько был силён запах тлена, и разбрелись по коридору. Дежурная сестра ничего не сказала на повальное нарушение режима, встала со стула и ушла на первый этаж.

Воспоминание это вызвало у Каретова приступ тошноты, и компот, который он хотел всё-таки выпить, не пошёл. Ну, может, к лучшему — завтра рентген, желудок будет чище.

За столом рядом с Владимиром сидели два старика, он не хотел им мешать и собрался уходить, хоть и не знал, куда бы приткнуться — своя палата ему прискучила.

— Посиди с нами, — вдруг раздался густой командирский бас, — поговорим. Что думает молодёжь о перестройке?

Голос принадлежал невысокому старику с чёткими, словно из камня высеченными чертами лица. Он уже управился со своей порцией и помогал пищеварению соседа тем, что пытался убедить его в каком-то ранее начатом споре:

— Не знаю, что это вдруг все начали отказываться, что на фронте они не кричали: «За Сталина!»? Я — кричал. За Родину, за Сталина!

Он посмотрел на Каретова, приглашая возражать.

— Я вас где-то видел, — сказал Владимир. — У вас такая выправка, и голос.

— Если в художественном музее перед закрытием бывал, то, значит, там и видел, — засмеялся густоголосый, — больше я нигде не бываю. Я — ночной директор! Кстати, Сергей Сергеич, вот он, тоже. Только он в другом месте дежурит — в радиокомитете.

Второй старик, тоже маленького роста, являл полную противоположность своему собеседнику: спина — дугой, плечи обвисли, и всё в нём было мягко, округло и, не в соответствии с ростом, крупно. Нос картошкой, полные губы морщатся на невкусный борщ.

— Эх, — говорит он с досадой, — бесплатное наше лечение! Опять изжога будет.

— Погоди: похоже, что дело к тому идёт, что будет платное. Хотел бы я услышать, что ты потом скажешь. Ты не ешь, если тебе не лезет, — отвлекается от своей генеральной мысли густоголосый, — сыр же у нас есть, колбаса, молоко...

— Горячего хочю. Привык горячее. И как они готовят здесь — не пойму. Дома такой же борщ, и — ничего, ем с удовольствием и на пользу. Афанасий Иннокентьевич, скажи.

— По твоему животу видно, что на пользу, — гудит Афанасий Иннокентьевич. Сергей Сергеевич недовольно шлёпает губами, и товарищ его, сжалившись, объясняет: — Не едал ты из солдатского котла — вот что. А бочковую капусту надо мыть сперва, потом — в котёл кидать, а то на ней плесень бывает. Тут кто её будет

мыть? Кому надо? Я вот на желудок никогда не жаловался, — повернулся он к Каретову, — жареные гвозди подай — буду гвозди. Тебя как зовут?

— Каретов Владимир.

— Так вот, Володя, орал я: «За Сталина!» А эти... шлюхи политические пусть не врут, что они уже тогда...

— Так ты хочешь сказать, что и орден у тебя за это? — перебил его Сергей Сергеевич. — Ты в какой должности на войне был, Иннокентьевич?

— В самой ходовой — командиром стрелкового взвода до ранения.

— Да-а! — уважительно протянул Сергей Сергеевич.

— А голос-то — генеральский! — заметил Каретов.

— Ага, — довольно засмеялся Афанасий Иннокентьевич, — нас специально выводили в лес — это, когда я в училище был — и заставляли тренироваться. Без голоса какой ты командир? Надо же грохот перекричать, чтобы дружно поднялись, иначе сорвётся атака.

Он отхлебнул остывшего чая, склонил немного голову на левое плечо, прислушался к чему-то, усмехнулся:

— Горлом и заработал орден. Командира роты у нас убило, а тут надо поднимать солдат в атаку. Я звоню комбату. Да, это уже сорок третий год был, новый Устав действовал: по нему командирам полагалось не в цепи быть, а чуть сзади, чтобы видеть своё подразделение и руководить. Пустяк, вроде бы, а совсем другое дело. Да. Вот комбат как раз и сидел за небольшим болотцем позади нашей роты. Я докладываю, что ротного убило, а он на меня матом: ты, мол, так-растак, на что? Вас чему учили? Вперёд! И опять матом! Нас, действительно, учили брать командование на себя, если старший командир из строя выйдет. Но почему я?! Я самый зелёный из всех взводных был, салага, в серьёзном деле ещё и не участвовал почти, а те — опытные вояки. Но они — выдвиненцы, у меня одного училище было за спиной и, опять же, я — командир первого взвода. Первого!

Сергей Сергеевич, за неимением вилки, ложкой разламывал котлету на несколько частей, загребал кусок её вместе с гарниром, жевал, поглядывая на себе-седника. Каретов всё же отпил немного компота, дождался продолжения рассказа. Бывший взводный смочил горло своим остывшим чаем, пророкотал:

— Так я неожиданно оказался командиром роты. На войне быстро растёшь: убили командира — тебя на его место, если самого тут же не зацепит.

— Первым подниматься — страшно! — сказал негромко Сергей Сергеевич.

— Да, — взглянув на товарища с некоторым удивлением, кивнул Афанасий Иннокентьевич. — Но страшно мне было не потому, что смерти боялся, а потому, что думал: только поднимусь — убьют, и я не выполню задачу! Там главное — встать! Лежишь — кажется, огонь сплошной. А если встал кто-то и пошёл, все видят, что можно идти, тогда уже смелее за первым. Ну, приподнялся я на руках, кричу: «Рота! За мной!» От собственного крика осмелел, оттолкнулся, вскочил на ноги, пистолет выхватил, ору: «За Родину! За Сталина! Ура!» Бегу, а в голове одна мысль: только бы не сейчас, только бы до вон того камешка не убили! Тогда — порядок, поднимутся. И точно: метров пятнадцать пробежал, вижу: обгоняют меня! «Всё! — думаю. — Теперь не остановить!» И тут меня ударило. Разрывной, в локоть. Будто кто за руку схватил и швырнул на землю.

Афанасий Иннокентьевич приподнял левую руку, и стало видно, что она в локте не действует, и ладонь маленькая, по сравнению с правой, скрюченная, но пальцы нормальные, крупные и хорошо двигаются.

— Хирург хотел оттяпать её по локоть, мешать, мол, будет, — Афанасий Иннокентьевич усмехнулся. — Тогда, мол, сразу домой поедешь, к маме. Да. А мне жалко было руку. И маму тоже. Тогда он спрашивает: «Тебе как её сделать — прямо, или согнутой?» Я ему отвечаю: «Как-нибудь так, чтобы я штаны мог поддерживать». Ну, он согнул — вот — и пришпандорил. Нормально! А потом с годами пальцы разработались, ожили — совсем хорошо! Назначили меня после госпиталя начальником боепитания дивизии. Совсем другой табак! Что не воевать? Не передняя линия, если самолёты появятся, так — в укрытие. До конца войны служил, ещё и к японцам съездил.

— Орден, значит, за тот бой дали, — подытожил Сергей Сергеевич.

— За то, что взял командование ротой на себя, рота задачу выполнила, представили к награде. То, что комбат меня перед тем материл — не в счёт.

Афанасий Иннокентьевич засмеялся, допил чай, вытер тыльной стороной ладони губы:

— Полчаса командиром роты не был.

— Говоришь, что разрывной тебя ранило, пулей, — заметил Сергей Сергеевич, — откуда же тогда осколки?

— А! Молиться мне на того немца надо, что меня подстрелил. Только я упал, как снаряд разорвался, ну и... Если б на ногах был, из меня решето получилось бы, а так осколки надо мной прошли, некоторые скользком только зацепили, да и то в кормовую часть, в основном. Этот, — Афанасий Иннокентьевич ткнул себя большим пальцем в грудь, — лишь двадцать лет спустя обнаружили, когда специально рентген сделали. У самого сердца. Как он туда попал — хрен его знает! С тех пор наблюдают меня, а — ничего. Он такой — аккуратный, почти круглый, оброс там, как песчинка в жемчужине. Говорят, что оперировать опасно, только в крайнем случае. Нормально. Я и по тайге хожу каждую осень — за брусничкой, за синей ягодой, орешки тоже свои грызём, не покупные. Внука младшего к тайге приучил, бегаёт вокруг меня не хуже собачонки. Вдвоём надёжнее, если со мной что случится, он покричит.

— Простите, — не удержался Каретов, — а Сталин? Был же культ? — Владимир немного лукавил, задавая вопрос, в жестокосердии Сталина он ничуть не сомневался, а вот что думают на этот счёт старики? Они ведь не по газетам знают о «вожде трудящихся всего мира».

— Ну, был, — Афанасий Иннокентьевич сердито посмотрел на Каретова. — Был культ. Но кто-то же сказал, что была и личность! Государь! А сейчас что? Эта вот размазня, — он показал пальцем на грязную тарелку, а здоровой рукой коснулся темени, и Владимир невольно вспомнил лоб генерального секретаря партии — по-твоему, котлета? Если это — котлета, то я тогда — не меньше, чем первый секретарь обкома.

Каретов засмеялся, но Сергей Сергеевич недовольно засопел, как будто это он тот самый секретарь-размазня, и в его адрес сказано что-то чрезвычайно обидное.

— А что такого? — сказал он. — Я работал в партийных органах, был первым секретарём райкома, потом в областном... в обкоме партии, третьим секретарём.

— Ну?! — изумился Афанасий Иннокентьевич. — Когда же?

— Перед войной. В аппарате обкома, когда Кагановича железным наркомом поставили, я курировал отделение нашей железной дороги.

Афанасий Иннокентьевич и Каретов смотрели на бывшего секретаря молча, и он продолжил уже воодушевляясь:

— Тогда был порядок! Двух молодых я рекомендовал на должности: Волина и Холина. Посмотрел анкеты, с людьми побеседовал, с самими этими ребятами. Один из них вскоре начальником нашей дороги стал, а другой в сорок втором рокаду к Сталинграду прокладывал! Орден за неё получил!

— Да, — подтвердил Афанасий Иннокентьевич, — нарком железный был. Я где-то читал, что он чуть ли не восемьдесят процентов руководителей на железнодорожном транспорте сразу заменил. Этих — к стенке, а новых поставил. Жестоко. Но тогда решительно действовали, не то что сейчас. Попробуй нынче какого-нибудь начальника с должности спихнуть. Он и дела не знает, работу развалил, пропился, промотался, ворует больше, чем подчинённые и — ничего! Зато тех, кто честно трудится, со света сживают. А тогда было так: сегодня ты начальник, а утром на работу пришёл, там уже другой сидит. После войны у нас тут один генерал был, стройкой командовал, для своей машины гараж сделал, даже не гараж, а только бульдозером на склоне землю вынули, за казённый счёт, конечно. Не успел машину в гараж поставить — замели его; утром на службу пришёл, а там уже ждут с автоматами. Для пользы дела Сталин и сына родного не пожалел. Помнишь, Сергеевич? Кого Гитлер хотел получить, Паулюса, или другого? Что-то забыл я.

— И-и что? — Каретов об этом эпизоде услышал впервые.

— Сказал, что генералов на рядовых не меняет! Вот сердце! — Афанасий Иннокентьевич запнулся. — Д-да... Тогда существовал такой приказ: родителей тех солдат, которые сдались в плен не ранеными, расстреливать! Говорят, Сталин усмехнулся, когда узнал, что его старший сын в плену, спросил членов Политбюро, что, мол, будем теперь делать с товарищем Сталиным?

— По-моему, кого-то из родственников Гитлера хотели обменять. Сестра двоюродная, что ли, к нам попала — вот её. Насчёт генералов — это легенда, — пробурчал Сергей Сергеевич.

Каретов был поражён тем, что услышал, и тем, что старики не утратили не только боевой военной закваски, но и приверженности своему вождю, о котором всё смелее говорят, что он уничтожил миллионы советских людей. И не знал, все-му ли можно верить, о чем рассказывают ветераны, или только делать вид, что верит, чтобы не обидеть их.

— Или с евреями, — продолжал Афанасий Иннокентьевич. — Сейчас начали некоторые шуметь, что, мол, эта нация во всех наших бедах виновата. Не в центральной печати, конечно, а так — всякие разговоры пошли, что казаков истребили, русскую интеллигенцию, поэтов уничтожали, крестьян тоже — вообще русских. Ну, у меня к ним претензий нет. Я более двадцати лет проработал под началом еврея и худого слова, хоть к стенке ставь, про него не скажу.

— А вы кем работали?

— Инженером, а потом старшим инженером по наладке аппаратуры на радиостанции. «Говорит радиостанция эр-вэ-49!» Приходилось слышать? Так вот: начальник этот, начальник радиостанции, сначала заставил меня в техникум поступить — у меня заушное образование, когда тянут за уши, — помогал разобраться в заданиях: я же забыл всю грамоту за десять лет. Потом, когда у меня набралось рацпредложений десятка три, он посоветовал мне книжку написать, руководство по обнаружению неисправностей и наладке аппаратуры, и сам принимал участие: правил стиль, пробивал издание. У него везде знакомые были. Да. Грамотный, культурный и, главное, очень порядочный еврей. Я ему предлагал соавторство,

потому что без его поддержки никакой книжки бы не получилось, он — нет. Отка- зался наотрез: «Твои идеи — твоя книга».

— А что было во время войны? — спросил Каретов. — Вы, кажется, что-то хотели сказать.

— Да. Ведь что было, да и сейчас есть? О евреях — ни хорошо, ни плохо, как будто и нет их. Иначе окажешься либо антисемитом, либо националистом ка- ким-нибудь. А немцы листовки разбрасывали с самолётов на наши позиции. В листовках спрашивали наших солдат: за кого, мол, воюете? Посмотрите, кто ваши комиссары, кто вас в бой гонит? И называют фамилии. И точно! Откуда они зна- ли? Объясняют, что они, немцы, идут освобождать славян от власти иудеев. На некоторых это действовало. Тогда Сталин как отрубил: «Убрать!» И убрали.

— Как? Куда?

— На снабжение, на транспорт, на медицину, мало ли куда.

— Да, было, — подтвердил Сергей Сергеевич. — Я разговаривал с немецким шпионом, спрашивал его, почему они так евреев ненавидели?

— Ка-ак «со шпионом»? — удивился Владимир, всё более поражаясь тому, что говорили его новые знакомые. Вот тебе и старички-пенсионеры! — Где раз- говаривали?

— Да здесь. Его перед самой войной к нам в Союз забросили. Их сотнями в Союз засылали. А контрразведка его выследила. Он ещё ничего не успел сделать, поэтому ему дали всего лишь десять лет и отправили в наши края на отсидку. Отсидел, потом вышел, женился на местной и, когда получил возможность уе- хать в Германию, не поехал, остался. Вот он — грамотный, всю нашу историю знает с незапамятных времён, по-русски чешет лучше нас с вами. Историю пар- тии, компартии, — от и до. Причём такие факты знает, каких в нашем учебнике не найдёшь, и про репрессии, и про раскулачивание, — Сергей Сергеевич вздох- нул: — Мне бы такое образование! А то у меня за душой всего четыре класса, да потом — партийные курсы. Спросил однажды я его про евреев, он объяснил. У них система воспитания в школе такая была. «Вот, — говорит учитель, — знаете грузчика Вайца?» — «Знаем!» — «Видите, как он много и тяжело работает?» — «Видим!» — «А хорошо ли он живёт?» — «Плохо!» — «А теперь, — говорит учитель, — посмотрите как работает и как живёт аптекарь Альтман». В другой раз — других сравнит, опять работягу немца и какого-нибудь лавочника еврея. Го- ворит: найдите, мол, хоть одного знакомого вам еврея, который бы чернорабочим на заводе вкалывал. И поясняет, что евреи — эксплуататоры, а немцы — труже- ники.

— Это и есть национал-социализм, — добродушно подсказал Афанасий Ин- нокентьевич.

— А фашизм?

— Фашисты в Италии были у власти, в Прибалтике тоже.

— В Прибалтике? — не поверил Владимир. — А как же тогда они от Гитлера к нам в Союз попросились?

— Вот не скажу, — вздохнул Афанасий Иннокентьевич, — надо разобраться. Может, евреев там много было, боялись нацистов?

— Когда они, немцы, шли воевать к нам, то искренне считали, что в России власть захватили иуды, и надо освободить русских от эксплуататоров, — продол- жил свой рассказ Сергей Сергеевич.

— А как же он тогда влип, ваш шпион, если он такой умный?

— Да, я его тоже спрашивал об этом, — кивнул Сергей Сергеевич. — Он сказал, что контрразведка наша, советская то есть, здорово работала: они его «вычислили». Так он сказал. А вот про обмен сына Сталина он, по-моему, говорил, что Гитлер хотел какого-то родственника или родственницу — забыл — у нас выменять. Только откуда он мог это знать — не скажу.

— Не-ет, — прогудел Афанасий Иннокентьевич, — Сталин был молодец!

— Прекратите! — все трое повернулись на голос и посмотрели с удивлением на двух старушек, которые сидели за соседним столиком и, оказывается, всё слышали. Одна из них, седая, как одуванчик, повторила с силой: — Прекратите! Не смейте душегуба... — захлебнулась, не находя слов.

Старушки поднялись и медленно прошаркали мимо мужской компании в полной тишине.

Глава 8

— У неё, наверное, кого-нибудь репрессировали при Сталине. Вы помните тридцать седьмой год? — спросил Каретов, когда они остались в столовой одни; только за перегородкой, на кухне, Мотя гремела немытой посудой.

— Помню, — отозвался Афанасий Иннокентьевич, — хоть я тогда ещё совсем глупым был. У меня, например, никто из близких не пострадал, да и вообще: я не знаю таких случаев среди знакомых. У нас на прииске арестовали троих: главного инженера, техника и старателя, кажется в тридцать девятом, так за то, что золотишко за границу переправляли. Японцам, что ли — так у нас говорили, по крайней мере. Но золото всегда воровали — так было, и так будет. Ну и садить за него тоже всегда будут. И всё. Никаких репрессий.

Сергей Сергеевич молча поднялся, чтобы идти к себе.

— Да, — сказал Афанасий Иннокентьевич, — засиделись тут, пора отдыхать.

И они с Каретовым пошли вслед за бывшим секретарём. Афанасий Иннокентьевич правую ногу переставлял с некоторым напряжением — какой-то осколок «в корме», наверное, давал о себе знать, но выправки не терял. Возле столика дежурной медсестры старики задержались.

— Что нам на вечер назначено?

— Ой, извините, сейчас... Минуточку подождите.

— Подождём, — старики сели на лавку, Каретов прислонился к стене напротив, словно ожидал продолжения разговора.

— Слушай, — сказал Афанасий Иннокентьевич товарищу, — если ты работал там, — он показал пальцем вверх, но Сергей Сергеевич протестующе помотал головой, — ну, в обкоме, так почему ты не лёг в спецбольницу? У них, я знаю, куда как лучше. Или пенсионеров они уже не берут?

Сергей Сергеевич надулся, будто обиделся, помолчал, потом, пошлёпав губами, ответил:

— Если бы захотел, меня бы туда устроили. Предлагали. Хотя с кем работал, тех теперь ни в обкоме, ни в горкоме не осталось. Не хочу, — какое-то недовольство нынешними партийными деятелями чувствовалось в его словах. — Да мне тут лучше: живу рядом, жена приходит, а туда ей тяжело добираться...

— Вот устроились наши руководители, — обратился Афанасий Иннокентьевич к Каретову, — больница для начальства отдельная — номер три, стационар — но-

мер два, а вот где находится первая, я даже понятия не имею. Ты, Сергей Сергеевич, знаешь?

Владимир не стал дожидаться, что ответит отставной партработник, пошёл к себе в палату. Возле двери встретил Кадочкина. Тот был весь мокрый.

— Там у них труба побежала, — объяснил он, — прогнили трубы. И быстро так: кап, кап, кап-кап, а потом — струёй! Горячая, падла, еле закрутил. Дали мне резиновый жгут и клеёнку. Но это ненадолго. Резина разогреется и поплывёт. Ну, пусть ихний слесарь хомут ставит. С хомутом до весны простоит. Запросто простоит.

Савельев сидел на кровати без рубахи и задумчиво осматривал своё тело: он себе очень не нравился. Сказал в пространство:

— Белый, как после гипса.

Иссиня-чёрный орёл на груди не помешал ему разглядеть, что загара на коже у него нет и в помине. Помолчал, усмехнулся:

— Три месяца гипс не снимали. Я прошу: «Доктор, сними гипс, у меня уже черви». Она спокойно так: «Черви? Это хорошо: всю дрянь отсосут». А зудится — спасу нет! Не сняла. В другой раз прошу её: «Доктор, сними гипс, уже вши завелись». Она: «Вши? О, это плохо!» Вытащила вату из-под гипса. «Верно, вши. Снять!» Ну, разрежали гипс. О-о, хорошо!

— Ну и кайф! — изумился Роман.

Савельев замолчал, опять задумался. У Каретова от его короткого рассказа мурашки по спине. Спросил набум:

— Что это у вас выше локтя?

— Это? — посмотрел, повернув голову. — А-а, это свищ был здесь. Долго не заживало. От осколка. Когда пуля, то хорошо, она гладкая, пройдёт через одежду и — всё. А осколок шершавый, за собой всё тащит: шинель, телогрейку, ну это — сукно, тряпку грязную, вату. Гниёт потом долго. Чистят, а всё равно. Тоже и здесь черви были, я их щепочкой вытаскивал.

Каретов внутренне содрогнулся:

— Так сколько же у вас ранений?

Савельев долго молчал, шевелил губой, как будто бы считал что-то, потом сказал:

— Два.

— А на левой ключице что?

— Это мне финн прикладом сломал.

— Ну вот: рука, ноги, ключица — уже три раза получается.

— Нет, я только два раза в госпитале лежал, и у меня две бумаги на ранения были, а остальное — в своём медсанбате. Вылечат, и сразу идёшь к себе в роту. Вот, — он засмеялся, потрогал вмятину между бровями, — с этим я даже в санбат не ходил, отлежался у себя.

— А что это?

Савельев опять засмеялся:

— У немцев гранаты на длинных деревянных ручках, чтобы дальше бросать. Ну, граната разорвалась, и такой деревяшкой мне прилетело точно между глаз, — сокрушённо покачал головой: — Так я без памяти лежал, вырубил меня. Ага. Интересно: сколько осколков от гранаты, и ни один осколок не задел, а колотушкой чуть не убило.

Савельев натянул рубаху, посмотрел на Каретова:

— Мне что понравилось: под Ленинградом у нас собаки санитарные были, их запрягали в такую продолговатую люльку, вроде как лодка, вместо саней. Тебя санитар перевернёт в неё и — пошёл! Не трясёт, — он даже лицом посветлел от приятного воспоминания, — не дёргает и — быстро. Собаки учёные, сами тащат, без санитаря, а потом возвращаются за другим.

Фиалко уже спал: днём ему не мешали ни радио, ни громкие разговоры, ни собственный храп. Савельев привычно горбился, сидя на кровати, его одолевали какие-то заботы, сон не брал.

— Что сидишь, отец? — Каретову вдруг стало жаль старика: были в его позе затаённая тоска и безысходность.

— Ничего, — неторопливо отозвался ветеран, — думаю. Накуролесил за свою жизнь много, а для чего? Чтобы унесли на простынях, как деда, и — всё? Нет, я лучше сам: надену венки на шею и самоходом, ползком, на кладбище.

Он засмеялся, представив, очевидно, изумление прохожих. И Каретову стало смешно.

— Ну, вы, я думаю, свои заявленные восемьдесят проживёте. Бронхит — это не смертельно.

— Я знаю, — Ефим Михайлович повернулся к Владимиру. — Я сюда лёг, чтобы мне инвалидность дали. А тогда — пенсию. Может, дадут?

У Каретова заняло под ложечкой: были ведь документы у молодого на инвалидность, он ими пренебрёг, а теперь рад их восстановить, но непросто.

— Наша участковая врач меня сюда определила, чтобы обследовали меня. Тогда, может, и квартиру быстрее дадут...

— У вас и квартиры нет?

— Есть.

— Ах, да! Вы же говорили: в деревянном доме. Неблагоустроенная?

— Конечно. Ни окон, ни дверей. Со всех щелей дует. Нам эту квартиру ещё в тридцать пятом году дали, когда мы из деревни приехали.

— Пятьдесят лет в одном доме прожили? — изумился Владимир, отметив мысленно, что старик в прошлый раз упоминал, кажется, тридцать восьмой год.

— Не все. На войне пять лет, девять — на севере. Мать в нём жила, потом я опять к ней вернулся. Это когда? Ну, в шестьдесят шестом. Его ни разу не ремонтировали — он большой, купцы строили, в два этажа. Потом, когда мать умерла, мне одному зачем его ремонтировать? Да его не отремонтируешь — гнильё. Пол прогнил. Бульдозер подогнать на полчаса, и весь ремонт. Давно обещали сломать, но там нас много живёт, кроме студентов на втором этаже, ещё и преподаватели с семьями.

— Пойдите! Вы живёте один? Вы же говорили, что жена и дети есть.

— Конечно, есть. Взрослые. Дочка в Казахстане живёт, а сына за границу, в Монголию послали работать. Ну, у них свои семьи, — он неприметно вздохнул. — А с женой я давно не живу. У неё квартира благоустроенная, она с другим сошлась.

— И как давно вы один?

— С шестьдесят второго, — Савельев подумал немного, усомнился, — однако с шестьдесят шестого. Ага, с шестьдесят шестого: Генке как раз девятнадцать исполнилось, его в армию той осенью взяли.

— В таком возрасте... — Каретов покачал головой, — не часто расходятся.

Старик насупился, опустил голову меж высоко торчавших костлявых плеч, смотрел на пол, молчал.

Каретов подумал, что Савельев, пожалуй,пил много лишнего в те годы и потому не желает говорить, почему распалась семья. Владимир пошёл на свою кровать и лёг поверх одеяла.

— Скурвилась она, — вздохнув, сказал ему вслед Савельев, всё так же глядя в пол.

— Как?! — Владимир сел.

— Я вернулся домой, а она — скурвилась, — это грубое слово, видимо, точнее всего отражало беспощадную правду и как-то, одновременно, компенсировало обиду от того, что жена предпочла ему другого мужчину. Он повторил его ещё раз: — Скурвилась, падла.

Фиалко встрепенулся, проснувшись именно в этот момент:

— Вот зараза какая, а?! Шо ты с ней сделал?

— Ничего. Что сделаешь, когда она уже с другим?

— Ай-яй! Как же ты проморгав?

— Я не проморгал, — возмутился Савельев, — я в колонии был, а пришёл, увидел, ну и...

— А-а, в колонии — то другое дело.

— Да! Мне судья потом сказала: «Ты не горюй шибко. Статья такая твоя — шофёрская». Это значит, что если бы я не выехал за полосу — тогда бы мне совсем ничего не было. Она сказала: «Ты не пиши апелляцию, тебя скоро отпустят». Точно. А в зале все удивились, когда приговор объявили, думали, что меня освободят, — он посветлел лицом при воспоминании о том моменте его жизни, когда люди, в том числе и незнакомые, переживали за него. — Меня после суда спросили: «Вас домой отпустить, или сразу под стражу взять?» Меня могли отпустить на несколько дней. Я уже отсидел в тюрьме три месяца, пока ждал суда, что я пойду домой? Я сказал: «Берите сразу».

— Правильно, — не удержался от шутки появившийся в палате Кадочкин, — раньше сядешь, раньше выйдешь!

Савельев усмехнулся, но тут же погрузился: тяжёлый был тогда момент для него.

— Я зачем пойду домой? Чтобы сидеть и вздрагивать всю неделю: вот сейчас придут? Как за преступником. Три месяца до суда да потом восемнадцать месяцев в колонии работал. Всего давали два с половиной года, но меня раньше отпустили за то, что хорошо работал. По моей статье можно раньше отпускать.

— Так вы во второй раз и не женились? — спросил Каретов.

— Нет, больше не женился.

— А вчера приходила разве не жена? — Владимир видел худую невзрачную женщину, возраст которой определить было трудно, и слышал как она говорила Ефиму Михайловичу: «Скучно одной, Ефим. Может, отпустят тебя домой, а? Я завтра не приду, мне надо деньги получать». «Мне твои деньги зачем?» — пробурчал он. «Ну, я буду приходить к тебе, Ефим». «А чё ты будешь ходить?» — опять выразил недовольство старик.

— Это сожительница, — сказал нехотя Савельев.

— Как?! — опять изумился Каретов. Он считал, что таким казённым словом женщину называют где-нибудь в милиции, но никак не предполагал, что можно так сказать о женщине, которая скучает без тебя.

— Ну, она вообще-то прописана в общежитии, а ко мне заходит.

— Какой молодец, — не удержался вновь от реплики Фиалко, — до его молодые женщины ещё ходят!

— У меня с женщинами всегда хорошо было, пока ни одна ещё не жаловалась, — помолчав, сказал Савельев.

Кадочкин с Каретовым переглянулись и заулыбались.

— Один раз, правда, здорово мог залететь. Ага. Шёл по улице, летом, жарко. Думаю: пивка бы попить! Одна знакомая возле рынка мне встретилась. Молодая. И красивая — сил нет! А с мужем она разошлась раньше и стала гулять — воля. Поговорили с ней. Ну, я её позвал к себе, я тоже вольный, а она мне говорит: «Знаешь, Ефим, я сейчас на себя не надеюсь». Понятно. Заразы мне не надо. Пошли с ней по рынку. А там один с яблоками, чернявый, увидел, что она остановилась поболтать со знакомой, подзывает меня: «Эта женщина — твой подруга?» «Мой, — говорю. — А что?» — «Хочешь яблоки кушать?» Зло меня взяло, за наши же деньги наших баб покупает! Но сдержался, говорю: «Я бы лучше коньяка бутылку-другую трахнул». Он это дело всерьёз принял, соглашается на коньяк. Да-а. Подошёл я к ней, а она спрашивает, о чём это я с чурекком говорил. «Купить, — говорю, — тебя хочет, за коньяк или за яблоки». Она мне: «Соглашайся. Я его награжу!» В общем, каждый получил своё: мне — коньяк, ей — яблоки, ему — триппер. А потом тот с друзьями меня на рынке встретил. Я думал, прибьют, долго ли ножик в бок сунуть? Но — нет, сказал только: «Зачем нехороший женщина давал?» — «Сам просил, — отвечаю, — я тебя не заставляю».

Савельев усмехнулся, помолчал, вздохнул:

— Коньяк тогда дешёвый был, четыре рубля с копейками, а теперь бутылка водки — одиннадцать! А после закрытия магазинов — пятнадцать, а то и все двадцать!

— А эта, что теперь у вас, — у Романа язва утихомирилась, и он ожил, любопытством загорелись глаза, — правда молодая?

— Ну-у, — неуверенно, сомневаясь, стоит ли и об этом говорить, сказал Савельев, — с сорок первого она.

— А я шо казав?!

— Младше меня? — Каретов недоверчиво потёр подбородок: женщине, которую он видел, казалось, было явно за пятьдесят.

Савельев слегка повернул голову в сторону Владимира, в глазах его промелькнула какая-то бесовская искра, он что-то хотел сказать, но удержался, погас, с притаённым вздохом поднял ноги на кровать, устало откинулся на подушку. Он ещё не приспособился спать во время послеобеденного тихого часа, но уже стал привыкать к покою и тишине; второй раз в его жизни случилось, что можно вот так отдыхать вволю и думать.

Глава 9

Первый раз о своей жизни размышлял Ефим Савельев когда сидел в тюрьме, под следствием, но тогда мысли крутились, в основном, вокруг одного: виноват или не виноват, осудят или не осудят? И если осудят, то надолго ли?

Горько тогда было, и хотелось, чтобы поскорей всё кончилось — следствие, суд и, главное, чтобы быстрее прошёл тот срок, который ему могут дать. Он сотни раз прокручивал в мозгу те последние мгновения перед аварией, и не находил в своих действиях ошибки. Была злость и досада на непутёвого парня, и жалко его было, и чёрт-те что — ошибки не находил, а чувство вины не давало покоя, суда

ждал, как избавления. Пусть накажут, пусть не совсем справедливо, тогда спадёт с души тяжесть, оба окажутся пострадавшими и — конец делу!

Но при мысли о том, что придётся расстаться с семьёй — если осудят — с тёплой и ласковой женой, с Генкой, вытянувшимся наравне с отцом, но ещё несколько нескладным, с дочкой, у которой под платицем всё яснее обозначались трогательные бугорки, брала тоска. Жизнь была в самом цвете: работа хорошая — любил он крутить баранку, зарплата нормальная, обуты-одеты все, а главное — сыты. Дети перестали болеть, изросли все болезни. Квартиру обещали благоустроенную дать вскоре, и вот на: всё сломалось! Лопнуло счастье, как радужный мыльный пузырь. Почему? Разве так уж много выпало на его долю счастливых дней? Должно же быть какое-то равновесие между горьким и сладким, какая-то справедливость в жизни, или нет?

Предчувствовал тогда в своей тоске Савельев, что кончилась его светлая полоса, и надолго. И всё-таки надежда теплилась.

А теперь? Что ему предстоит теперь, на что надеяться, чего ждать?

Хмельная и бесшабашная началась у него жизнь после того, как вышел из заключения и узнал, что в квартиру, которую кирпичный завод всё-таки выделил его семье, жена привела нового мужа. Такого предательства с её стороны Ефим не ожидал — не девочка ведь, могла потерпеть, срок невелик для зрелой женщины, а не дождалась. Значит не любила прежде, притворялась? Не было, значит, у него никогда в жизни настоящего счастья, а был обман.

Другие женщины готовы были потом разделить с Савельевым его судьбу, но ни одну он так и не назвал своей женой. И они, так и не дождавшись желанного слова, оставляли его вновь одного, и он снова пил горечь расставания, ставшую для него сладостной и пьянящей от мысли, что верить им нельзя, и поступает он правильно, не связывая себя клятвами и обещаниями.

И водку стал пить Савельев не от праздника до праздника, а регулярно — себе хозяин, своя воля. Случалось и дрянь одеколонную пробовать, а то и похуже что-нибудь, вроде стеклоочистителя. Странно, что за двадцать лет в вырезвители ни разу не побывал. Может быть потому, что не жадничал? Не напивался до беспмятства, всякий раз останавливался у невидимой запретной черты. Догадывался, что не в том, чтобы пить, состоит настоящая жизнь, и втайне надеялся на что-то? Словно ждал, что вспомнят где-то о нём и призовут: «Иди на помощь, Ефим Савельев, без тебя не справимся». И он бросит все свои никчёмные дела и пойдёт, как шли в сорок пятом...

Призывали иногда — в военкомат, вручали очередную юбилейную медаль и отправляли восвояси. Ищи, мужик, сам смысл своей жизни. В чём он состоит? На войне, и первые годы после, было проще, цель у всех была одна — выстоять, победить, восстановить разрушенное, накормить людей досыта. Накормили. Все сыты, пьяны и нос в табаке. И что дальше?

Где вы теперь, друзья-товарищи фронтовые? Много ли осталось в живых из тех, с кем вместе носом землю пахал? Чем заняты? Нет войны, нет беды — хорошо, как будто бы счастье. Нет общей большой заботы — беда! У каждого своя заботушка, все ташут, все гребут под себя, а сколько кучу с барахлом не перегребай, она от этого лучше не станет.

Где-то, когда-то испортилась какая-то основа всей жизни, и от этой порчи пошла зараза и у каждого человека. Только у одних, как у Савельева, это порченное снаружи, и потому всем видно, а у других — внутри, они с виду гладкие и благо-

получные, а на самом-то деле, может быть, они самые гнилые, самые заразные... И самые несчастные люди.

Глава 10

Фиалко выпался после обеда и вновь подступил к Каретову:

— От, посмотри сюды, — он задрал подол тельняшки и приспустил резинку трико: на круглом животе ниже и чуть правее пупка отчётливо было видно давнее пулевое отверстие, как второй пупок, и от него тянулся толстой ниткой длинный шрам вниз, почти до самого паха: — то у мене пулю в животе искали — разрежали весь живот. То я так тебе показываю, шоб ты знал. — Он восстановил порядок в одежде, достал из тумбочки свои бумаги, вынул из аккуратного синего пакета рентгеновский снимок. — Видишь? Ото самая она и есть.

Владимир взял протянутый ему снимок и сразу обратил внимание на чёрное кольцо, не кольцо, а будто целый перстень с толстого пальца Фиалко был на плёнке.

— Это?

— Да, — сказал довольно Фиалко, — меня в Риге фотографировали, там такой телевизер большой, как окошко, и на ём всё видно.

— Где-то что-то я слышал, — неуверенно произнёс Владимир, — по-моему, доброкачественная...

Он не сказал «опухоль», боясь испугать Алексея Федотовича. Но тот не понял, что имел Каретов в виду, решил, что он говорит о снимке.

— Ага, качество хорошее. Там такая добрая аппаратура. Японская. Врач один мне сказал, шо не надо операцию делать, два года назад сказал, рано ещё. А тут мне сказали, что лучше операцию сделать, уже всё равно. То рано, то теперь не рано — почему они так говорят?

Фиалко недоуменно посмотрел Каретову в глаза. Владимир спрятал невольную улыбку, обдумывая, как бы поделикатнее объяснить Алексею Федотовичу последствия, которые, как он предполагал, могут последовать за операцией, но Кадочкин хохотнул и вмешался:

— Значит ты уже так и так мерин, и обижаться на врачей не будешь.

На лице у Фиалко ничего не отразилось на эту выходку своего недоброжелателя, кажется, что он всё равно не понял, что сулит ему операция, бережно засунул снимок в пакет, вытряхнув предварительно из него несколько обычных фотографий.

— Можно посмотреть? — заинтересовался Каретов, увидев на маленькой пожелтевшей фотокарточке молодого круглолицего танкиста. — Это вы?

— То — я, — Фиалко вместе с маленькой протянул Владимиру другую. — Тут увеличенная, шоб лучше было видно.

Но на увеличенном снимке, как на газетном отпечатке, утратились какие-то малозаметные черты, пропало обаяние, которое исходило от доверчивых улыбочивых ямочек на щеках молодого танкиста, исчезли непосредственность и ощущение душевной чистоты, которые так и звали откликнуться на улыбку улыбкой. Зато на увеличенном фото Алексей Федотович казался старше, и проглядывали — так казалось Владимиру — черты характера сегодняшнего Фиалко. Орден Красной Звезды на гимнастёрке — по случаю его вручения, видимо, и была сделана фотография.

— А тут моя жена, — подал Алексей Федотович великолепный цветной снимок.

Рядом с нарядным и торжественным Фиалко на фотографии стояла упитанная не менее, чем молодцеватый ветеран, и не менее нарядная женщина.

— Ишь ты! — восхитился Владимир. — Прямо как молодожёны.

— Ну, — подтвердил Фиалко, — это мы после свадьбы. Вот туточки видно.

— После какой свадьбы? — удивился Каретов, прикинув, что до «золотой» Алексей Федотович ещё «не дорос», а «серебряная» давно должна быть позади.

— Так в прошлом году я женился, в Риге.

— А теперь что, почему она к вам не ходит?

— Она там и живёт. По работе, такой работы, как у неё, здесь нет. Она художник, по всякой посуде рисует.

— А вы?!

— Я же говорил: живу тут потому, шо климат мне той не подходящий.

«Женился там, живёт здесь, а зачем тогда женился, если ему нужен климат, а не женщина, хотя бы в качестве домохозяйки?» — подумал Каретов, но спросил другое:

— А первая у вас умерла?

Фиалко как-то вдруг построжел и коротко, но внимательно посмотрел в глаза Владимиру:

— Не, она в автомобильной аварии убилася.

На лице Фиалко Каретов видит непередаваемое выражение: не радость от недавней женитьбы, не печаль от воспоминаний о постигшем несчастье, а глубокое удовлетворение от разговора, от того, что посторонний человек заинтересовался жизнью его, а Алексею Федотовичу есть что сказать о ней, предъявить вещественные доказательства, что она у него была важной. Не только у разведчиков такая интересная и трудная была жизнь.

— А дети?

— Нэ було, — Фиалко сгрёб фотографии, сунул их в пакет к рентгеновскому снимку, спрятал свои бумаги в тумбочку, лёг на кровать и повернулся лицом к стене, показывая, что устал и больше разговаривать не расположен.

Глава 11

— У тебя ручка есть? — спросил Кадочкин Каретова.

— Есть, — Владимир протянул ему авторучку. — А тебе зачем?

— В тыщу будем играть.

— Э, нет, давай сюда. Это у вас долгая песня.

— У меня есть, — поразмыслив немного, сказал Алексей Федотович, не поленился повернуться, достал из тумбочки авторучку, подал своему непримиримому соседу.

Тут как раз явились картёжники со стульями, и началось:

— Сто первых.

— Сто десять.

— Пас.

Картёжная компания во главе с Кадочкиным расписывала очередную «тысячу». Двое сидели на кровати, двое — на стульях, столом служил им третий стул.

— Не надоедает вам? — поинтересовался Каретов, примерно час спустя.

— О-о, — засмеялся Кадочкин, — это что! Тут мы мало играем, по режиму, вроде такая процедура. Когда я в торговом комплексе работал, там иногда играли всю смену. И на обед не ходили. Кто-нибудь сбегает за пирожками и пивом — там же рядом и ресторан, и кафе — и дуемся до вечера. Аж уши пухнут!

Компаньоны одобрительно засмеялись.

— А что ушёл оттуда, если там так хорошо работалось?

— А! — Кадочкин собрал карты, перетасовывая, напомнил товарищу в красной клетчатой рубашке: — Запиши: у меня сто шестьдесят. Бить балду — чего хорошего? Да и... сесть там с ними недолго было. Я, конечно, слесарь, но попросят помочь машину разгрузить, или перенести товар из одного помещения в другое — отказать неудобно, поможешь. Смотришь, какую-нибудь безделушку тебе подарят. А то раз как-то мне одна заводделом новенькие джинсы, в бумагу завёрнутые, подаёт. Я не понял, говорю: «У меня денег нет, да и не надо мне этот дефицит». А она смеётся: «Дают — бери!» В общем, понял, что помогаю им дефицитные товары перепрятывать. Ушёл от греха подальше.

— Кино не пора смотреть? — спросил друзей-картёжников тот, что в красной рубашке.

В соседнюю палату молодой парень вселился со своим телевизором, и с некоторых пор мужики не пропускают ни одной интересной передачи. Есть телевизоры и ещё в нескольких палатах. У одного молодого парнишки с собой магнитофон, и, проходя по коридору, Каретов всякий раз слышал из-за двери с номером пятнадцать современную музыку. То, что люди устраиваются в больнице, как дома, и что разрешается многое приносить в палату с собой, очень удивляло его. Он помнил свои детские годы, когда лежал в больнице со скарлатиной, и больница запомнилась ему строгим порядком. Запретов было много, на всё был запрет, а теперь — всё можно приносить с собой, не только посуду. Болеть люди хотят с комфортом.

Кадочкин посмотрел на часы:

— Через три минуты. Сейчас без восемнадцати.

Савельев, сидя в обычной своей позе, озабоченно крутил в руках часы: часы были с браслетом, а браслет с некоторых пор стал ему велик, и теперь Савельев соображал, как бы его укоротить.

— И у меня без восемнадцати, — сказал он.

— Не, у вас неправильно, — заявил Фиалко, — уже без четырнадцати минут, и кино ваше вже идёт. Мои часы точные, я по радио их сверяю.

— Не может быть, — неприязненно сказал Савельев, — чтобы мои на целых четыре минуты отстали. Вчера вечером шли точно.

— То вчера, а я сегодня сверив, — настаивал Фиалко.

Затаённая неприязнь, бывшая между ветеранами, заставляла их перечить друг другу; они словно вцепились невидимой хваткой в противника, как борцы на ковре, и ничем их не разъединить.

— Выброси их на помойку, если ты их сегодня проверял, а они уже на четыре минуты врут, — посоветовал Кадочкин, сдавая карты. — Вот часики, — он ловким движением отстегнул браслет и протянул свои часы Каретову.

Тот недоумённо перевёл взгляд с Фиалко на Савельева, потом на Кадочкина: из-за пустяка готовы скандалить, а все вроде приличные люди.

— Дарёные, — пояснил Кадочкин, — уже полтора года они у меня, и ни разу не подводил стрелки. Идут, как хронометр.

Владимир взял часы, прочитал на крышке выгравированную надпись: «Кадочкину Александру Николаевичу в день 50-летия от профкома».

— Уже пятьдесят? — удивился Владимир.

— Уже пятьдесят второй. А сколько бы ты думал?

— Ну... да, конечно, но... — Каретов вернул часы.

Жилистый, подвижный и абсолютно несолидный Кадочкин в своём неизменном трико казался ему случайно забредшим в палату с тренировки футболистом.

— Теперь редко хорошие часы купишь, — сказал Каретов, — у меня дома их уже целый набор, одних электронных трое.

— Да, — охотно отозвался Александр, — а это знаешь как получилось? Мужики наши к мастеру подошли — там прямо в комплексе работает гарантийная мастерская — и попросили его выбрать. Он взял из одной партии часов эти вот, завёл, послушал ход и сказал: «Дарите смело». Куда потащил? Моя взятка! Всё, мужики, пора!

Картёжники ушли смотреть кино, Савельев тоже поднялся погулять в коридоре, ушёл из палаты и Роман.

— Ото всегда так, — пожаловался Каретову Фиалко, — все против меня.

— Почему?

Фиалко сел на кровати, поймал ногами шлёпанцы:

— Таки люди некультурные. Никакого уважения не оказывают. Что ни скажи — всё неправильно, а я старший всех среди вас.

— Вы на пенсии или ещё работаете? — Каретову неприятно слушать жалобы, особенно когда жалуются мужики, и он решил отвлечь Алексея Федотовича от его обиды.

— На пенсии, а як же? — охотно отозвался Фиалко. — И работаю.

— Пенсия большая?

— Сто тридцать два рубля. У меня стаж — тридцать девять лет! Да ещё в армии.

— А вы кем работали?

Фиалко ответил не сразу, посмотрел изучающе на Каретова — таким внимательным взглядом посмотрел, что Каретову вдруг стало немного не по себе.

— То не надо говорить, кем я был. Не положено рассказывать, — Фиалко выдержал паузу, удостоверившись, что Каретов его понял, но то ли недоверие увидел во взгляде собеседника, то ли недоумение, решил уточнить: — В органах я работал.

«Ну и Бог с тобой, — подумал Владимир, — не хочешь говорить, не надо».

— А теперь я тружусь в прокуратуре. Начальником над сигнализацией. Там така техника, шо уже никак не зайдёшь. Телефонную трубку в комнате возьмёшь, и уже у сторожа звонок зазвенит.

— Кто же её возьмёт, если всё закрыто? — удивился Владимир.

— Как кто? Один раз было такое дело. Я приняв вечером сигнализацию — все лампочки горят, значит все двери закрытые, и все телефонные трубки на месте. Ну, закрыл дверь в коридоре, опечатал и пошёл домой отдыхать. У меня такая работа: утром я отключаю сигнализацию, а вечером включаю. А сторож сидит. А той раз в одиннадцать часов пятьдесят шесть минут, то есть ночью, в двадцать три часа и пятьдесят шесть минут — то я неправильно сказав — до меня звонит начальник и говорит: «Алексей Федотович, такое дело, выручай нас». Ну, что получается? На сигнализации лампочка погасла, и звонок зазвенел — там ещё звонок встроенный, чтоб ещё и слышно было сторожу. А то они, значит, двое сотрудников и

шофёр, остались в кабинете — почему задержались, я не знаю, може по работе надо было, а тогда звонят начальнику домой по телехвону, чтоб их выпустили. А сторож тую же минуту за мной пришёл, там через дорогу близко я живу, он хотел позвонить мне, но не дозвонился, думал, шо телехвон у меня спортился. А то я как раз с начальником разговаривал.

— Служба не дремлет? — засмеялся Каретов, представив как устроили тревогу Алексею Федотовичу на дому, как стоит он босой и полуголый возле телефона, изумлённо вытаращив глаза, а в это время надывается ещё и звонок у входной двери.

— Так оно ж сигнализация такая. Ну, я оделся, пошёл, выпустил их.

— Пили, наверное, крепко в рабочее время, если спохватились только в полночь.

— То я не скажу, — не знаю, — уклонился Фиалко от прямого ответа. — Я доказываю, какая сигнализация, что и телехвон в кабинете не можно взять.

— Ну, и накатали вы на них рапорт? — спросил Каретов.

— Не, начальник просил не записывать, щоб им не попало, — Фиалко отвёл взгляд в сторону, устало вздохнул, лёг на спину, сложив руки на груди.

Он действительно не занёс тогда этот случай в журнал, но рапорт на имя начальника — старшего следователя прокуратуры — написал, на отдельном листке, и отдал его — без свидетелей. Подстраховался на всякий случай. Тот положил бумажку «под сукно», пока. Оба: и следователь, и «начальник над сигнализацией» остались довольны друг другом. Что там будет дальше, Алексей Федотович пока ещё не знал, вскоре после того случая он занедужил, а потом случилась встреча с человеком, которого он испугался... Фиалко срочно лёг в больницу.

Глава 12

То, что указания начальства следует выполнять неукоснительно, Фиалко усвоил давно, ещё на фронте. Вскоре после войны он понял и другую истину: чтобы не оказаться ответственным за свои действия, надо обязательно иметь документ, что ты не самовольничал, а выполнял распоряжение.

За три года до войны Алексей Фиалко, работавший в колхозе на разных работах и «дуже» не любивший это своё занятие, мечтавший о какой-то иной, интересной жизни, поддался на красивые речи товарища-одногодка и поехал с ним на шахту поступать в горный техникум. В те годы куда только не звали деревенскую молодёжь — и в армию, и на флот, и в авиацию, и на заводы и фабрики. А деревня что? Деревня, после того, как отгремела коллективизация, стала тылом, откуда черпал силы передний край социалистического строительства.

Шесть классов, которые прошёл Алексей под руководством малограмотной, но старательной деревенской учительницы, было достаточно, чтобы сына из семьи бедняка приняли в учебное заведение. Наукой в техникуме шибко не давили, налегали больше на здравый смысл и на практику. Практика, конечно, была вначале не в шахте, а наверху, в учебных классах, но всё остальное — инвентарь, инструменты и учителя — всё было настоящим, побывавшим в деле. Алексей пыхтел, старался изо всех сил — не потому, что так уж жаждал познать сложную шахтёрскую науку, а потому, что крестьянским своим умом соображал: раз тебя кормят здесь, обувают и одевают, да ещё и денег немного дают, то надо расплачи-

ваться прилежанием и послушанием. Если отчислят, то отправят обратно в деревню, и уж тогда неизвестно, удастся ли вырваться из неё ещё раз.

Шахта Алексея не манила, отпугивала своим чёрным зевом, грязью и пылью, а главное — давила сознанием того, что будет постоянно у него над головой не голубое небо, а немислимо тяжёлый непроницаемый пласт земли. И всякий раз под землёй — на втором году обучения их уже несколько раз спускали в забой — в душу Алексея закрадывалось сомнение, что он из этого ада выйдет: вдруг там, наверху, все куда-то исчезнут, или просто о них забудут, разойдётся по своим делам, и когда надо будет подать клеть, её не подадут. Перед спуском в шахту Алексею надо было сделать усилие, чтобы войти в клеть, чтобы не запротестовать и не отказаться — и от забоя, и от учения, и от сравнительно сытой налаженной жизни. Когда же выяснилось, что могут его призвать на службу в армию, то он охотно воспользовался первым же предложением и перешёл в училище. Училище оказалось танковым.

А чуть позже грянула война. Выпуск состоялся в сорок втором году, но по неизвестным причинам — танков ли не хватало, или так нужно было по глубоким стратегическим замыслам командования, на формировании полка проторчали в глубоком тылу новоявленные танкисты несколько месяцев, и в первый свой бой Фиалко попал уже в сорок третьем году.

В военном училище спрос был жёстче, чем в техникуме, и звания по окончании его давали строго по заслугам — лишь до звания младшего сержанта добрался Фиалко к выпуску, но его это не смущало, он был доволен тем, что его определили в механики-водители, где не требовалось знаний карты и других военных премудростей, а надо было понимать машину и уметь подчинить её воле командира. Руки у Алексея были сильными, реакция скорой, обострённое чувство опасности и неугасимое стремление выжить выработали в нём практическую сметку; жизнь Алексея и, следовательно, всего экипажа тридцатчетвёрки зависела во многом от его действий, и он не подводил. Конечно, трезвый расчётливый ум командира танка Андрея Соболева, да ещё везение — а два танка под ними сгорели — определили счастливую военную судьбу жизнерадостного украинского парня.

Та фотография, с орденом, которую видел Каретов, была сделана осенью сорок третьего года. К концу войны Фиалко дослужился до звания лейтенанта, а по случаю победы и демобилизации «кинули» ему ещё одну звёздочку на погон.

У Фиалко «трохи» закружилась голова. Ещё совсем недавно он, задумываясь над предстоящей гражданской жизнью, видел себя то в родной деревне — бригадиром или, на худой конец, за рычагами трактора, то намеревался всё же доучиться в техникуме — теперь, ему казалось, и под землёй он будет чувствовать себя спокойно и уверенно. И вдруг — такой взлёт! Как это он, заслуженный воин, офицер, орденосец и пойдёт в студенты? Или, того паче, в трактористы?

И Фиалко не поехал на родину, а двинул в Ленинград, самый ближний крупный город, надеясь найти работу, соответствующую его заслугам. Но десяти дней и, соответственно, выданного пайка на устройство новой жизни ему не хватило. И деньги, которые ничего не стоили, разошлись быстро. Много оказалось таких, как он, кто умел убивать и командовать, но не имел за душой другого ремесла. Военкоматы, исполкомы и райкомы ломались от офицеров со званиями куда повыше, чем старший лейтенант.

Он и уехал бы домой, к сестре, которая одна уцелела из родных в деревне, но ехать уже было не на что, а явиться к сельчанам ошипанным орлом Алексею не хотелось. С полгода он мотался по городу, подрабатывая в разных местах — чаще

грузчиком, пока не столкнулся в очередном заходе в горисполком с капитаном Звягиным. Они познакомились.

Звягин, нервный и злой, был только что демобилизован из СМЕРШа и обладал неистойвой пробивной мощью; дошёл до обкома партии, требуя себе подходящей работы.

— Почему не позаботились о нас? В регулировщики, что ли, мне идти?

— Майоры и подполковники тоже не хотят быть регулировщиками. А вы чего хотите?

— Воевать! Я больше ничего не умею.

— Войны больше нет. В Кингисепп поедете? Нужен заместитель директора училища по воспитательной части.

Какое там училище, секретарь не сказал, Звягину это было безразлично:

— А товарища моего кем?

— Насчёт товарища договаривайтесь с директором, на месте.

Звягин дал «добро» и уехал. Фиалко на время, пока капитан разберётся с обстановкой, остался в Ленинграде. Звягин обещал прислать письмо.

Письмо пришло не скоро, когда Фиалко уже перестал надеяться и ждать. Он обрадовался; ничего лучшего, чем работа на стройке — а приходилось, в основном, разбирать и растаскивать завалы разрушенных зданий — ему не подвернулось, хотя он продолжал время от времени ходить в райкомы или исполкомы. Звягин написал коротко: обещал комнату, сносную зарплату и должность заведующего хозяйством.

Но пока Фиалко получил расчёт и добрался до места, всё переменялось. Звягин огорошил его неожиданным сообщением:

— Ну что мы будем прокисать в этой дыре? Мне предложили в уголовный розыск перейти, в республике большая преступность. Беру тебя — будем добывать недобитых.

Алексей не посмел возразить. Так он определился «в органы».

Звягин дело знал, ненавидел бандитов лютой ненавистью, действовал решительно и беспощадно. На этом и споткнулся.

Жизнь постепенно входила в мирное русло. Местному населению предстояло научиться жить при новой власти. Лишь один год перед войной Прибалтика была в составе страны Советов, до того в Эстонии шесть лет хозяйничали свои фашисты, а в сорок первом пришли фашисты гитлеровские. Крестьяне медленно преодолевали частнособственническую психологию, не понимали, что значит сдавать хлебопоставки и госпоставки — по несколько лет не рассчитывались с государством. Отдавать хлеб, когда у самих излишков не так уж много — зачем? Объединяться в колхозы, бросить свои хутора — ради чего? Почему нельзя жить так, как жили деды и прадеды? Были и такие, кто готов был принять новую власть и перемены, которые эта власть предлагала, но побаивались бывших хозяев: расправа могла быть короткой и жестокой.

Звягин получил распоряжение отбирать хлеб и продовольствие у должников и яро принялся за дело.

— Я с вас фашистскую заразу выбью! Научу братству! Вы у меня узнаете, где свобода!

Свободы, или, точнее, свободного пространства, было много в Сибири. Туда с давних пор матушка Россия отправляла заблудших своих сыновей: разбойников, политических, шпионов и врагов советской власти, пособников немецких ок-

купантов. А теперь выпроваживали упрямых, отправляли на исправление семьи саботажников. Были среди тех, кого прятали в тюрьму или гнали на поселение в холодные края, настоящие враги новой власти, но были — никуда от этого не денешься — и просто заблудшие, а то и вовсе невинные люди.

Звягин подавал личный пример подчинённым, неоднократно ездил «вытряхивать волчье племя». Однажды, освирепев от непонимания того, что по-эстонски упорно втолковывал ему немощный старик со снежно-белой головой — сотрудника, который обычно служил переводчиком, поблизости не оказалось, Звягин «помог» старцу выйти из дома. На крыльце тот не устоял на ногах от сильного толчка, упал и ударился головой о колесо повозки. Показалась кровь. Испуганные домочадцы перевязали старику голову, и так он отправился в дальний путь. А по дороге, как выяснилось позже, скончался. Ещё выяснилось, что сын его был партияцем с двадцатого года...

Что подтолкнуло Алексея Фиалко тогда записать этот случай в тетрадку, из которой он вырывал листочки для писем, он и сам не знает. Сострадание? Или почувствовал он дыхание новых времён? Записи спрятал, чтобы — не дай Бог! — кто-нибудь не увидел.

Гром грянул внезапно — жалобы репрессированных неожиданно дошли до самых высоких инстанций, началось следствие. Звягина разжаловали, отобрали у него награды, судили и отправили отбывать наказание вслед за теми, кого он отправлял сам. Дали ему срок десять лет и пять «под зад». То есть, к десяти годам отсидки прибавили пять лет лишения гражданских прав.

Фиалко чудом не оказался на скамье подсудимых рядом со своим боевым руководителем, спасла, как он не без оснований полагал, та самая бумага, которая попала в руки к следователю.

— Что это?

— Це я... — пролепетал Фиалко, не зная, что сказать, и вдруг сообразил: — рапорт...

— Так и напишите, что это рапорт. И хотелось бы, чтобы вы изложили и некоторые другие аспекты вашей совместной работы.

Что означает слово «аспекты», Фиалко не знал, но отлично понял, какой характер должна иметь его исповедь. Писал он так же, как говорил — безграмотной русско-украинской смесью, но почерк у него был отработан замечательный — этому учительница в школе уделяла большую часть учебного времени — округлые, ровные как бисеринки, буквы идеальной строчкой стояли одна возле другой, как патроны в пистолетной обойме. Эта безграмотность и душевная простота лучше всяких документов и показаний свидетельствовали, что бывший танкист не хотел того, что творил его начальник, и лишь в силу обстоятельств участвовал в притеснениях невинных людей.

Суд был решительный и скорый, но Алексею Фиалко в нём отведена была роль свидетеля. Однако присутствие его в республике сочли нецелесообразным и отправили по новому назначению. Так он тоже оказался в краях, где многим ещё есть место. Но на службе.

В Сибирь Фиалко приехал с молодой женой. Познакомились они в Ленинграде, в ту пору, когда Алексей искал себе работу. Хрупкая большеглазая девчонка ела пустые щи в той же столовой, куда заходил после работы молодой офицер в потрёпанных и испачканных известью и кирпичной пылью галифе и стоптанных сапогах. Она была студенткой мединститута, но это он узнал позже. А в первый

раз, когда они оказались за одним столом, стесняясь своего далеко не бравого вида, хотя и она была в единственном своём стираном-перестиранном платье, в первый вечер он лишь исподтишка наблюдал за ней и, выйдя следом, не осмелился заговорить, а проводить — тем более. На следующий день они опять, вроде бы случайно, оказались за одним столом.

Светлана, так звали девушку, была ленинградкой, в блокаду потеряла всех родственников; душа её, уставшая от несчастий и одиночества, искала пристанища у надёжного мужского сердца. Ей показался скромный офицер с ласковым именем Алёша и с удивительной фамилией — Фиалко.

До женитьбы дело тогда не дошло. Алексей сомневался: нужно ли ему жениться, когда он не устроился в мирной жизни по-настоящему? Руку и сердце не предлагал. И Светлана не торопилась замуж, хотела закончить сперва хотя бы четвёртый курс. Конечно, если бы Алексей пожелал создать семью немедленно, она бы согласилась, чтобы не потерять его; она полюбила этого большого и простодушного украинского парня и поэтому не представляла, что он может не любить её.

Когда Алексея позвал на работу Звягин, он собрался без колебаний, сказал об этом Светлане, и тогда она в первый раз пригласила его к себе. Жила она на втором этаже полуразрушенного дома, в квартире с разбитыми окнами, с проломом в стене в большой комнате. В другой, в маленькой комнатке, у неё было чисто и уютно, и вид портило лишь окно, наполовину заставленное фанерным листом; на листе том проступали полустёртые буквы, написанные когда-то чёрной краской: «Убежище», и жирная стрелка наискось сверху вниз.

Он заночевал у неё, и в эту ночь они, неопытные, впервые познали плотскую любовь, наслаждение друг другом, и испытали блаженное потрясение близостью. И расставаясь утром, глядели в глаза друг другу с тоской и недоумением, почему это ему надо куда-то уходить, когда так прекрасно быть вместе? Но о том, что можно остаться, не было сказано вслух, и он уехал.

Письма Алексей писал очень короткие и редко, он почему-то не хотел, чтобы его за этим занятием видел Звягин. Да и некогда было. И частые сперва, наполненные нежностью и любовью письма Светланы стали постепенно сдержаннее, деловитее и реже. Девичья душа, не получавшая должного отклика, замкнулась; да и жилось Светлане трудно, кроме учения ей приходилось работать в больнице, дежурить ночами, чтобы было на что жить.

Глава 13

Фиалко казалось, когда Звягина привлекли к ответу, что ему тоже не избежать той же участи. Он сильно затосковал и вспомнил свою, так и оставшуюся пока единственной у него, нежную женщину, написал ей длинное-длинное бессвязное письмо, выплеснул в нём свою тревогу, за которой таилась надежда, что именно она, Светлана, неизвестно каким образом, спасёт его. Нет, прямо он ничего этого, как и до того о своих делах, не написал, но она всё почувствовала и... приехала к нему. К счастью, суд над Звягиным свершился скоро.

Светлана, как узнал от неё Алексей, уже получила распределение — в Сибирь! Ей надо было сдавать выпускные экзамены, а она всё бросила и поехала спасать любимого. А Сибирь ей выпала не случайно: она её сама выбрала; когда ей пока-

залось, что Алексей к ней охладел, она решила уехать подальше. Возможно, что решение Светланы ехать в Сибирь сыграло свою роль в том, что Фиалко определили работать туда же. Ни для кого «в органах» не было секретом, что к Алексею примчалась невеста — там, в ведомстве, про многих людей знали такое, о чём они сами порой не подозревали.

Светлана не вернулась в институт, чтобы сдать экзамены, она не захотела больше расставаться со своим Фиалко, и диплом врача получила несколько лет спустя, когда жизнь на новом месте наладилась и стала прочной и надёжной.

Детей у них не было, и Алексей полагал, что виновата в этом была жена, или даже не она сама, а те испытания, что могли подорвать организм женщины в голодные и холодные блокадные годы. Однако виноват был он, Светлана знала об этом, но не говорила мужу. Отсутствие детей в семье его, судя по всему, не огорчало, и если бы жена ещё не отлучалась на дежурства — работала она на «скорой помощи», — а постоянно сидела бы дома, чтобы в любой час могла встретить мужа после его трудной и опасной работы, Алексей Федотович был бы целиком счастлив.

Сибирский климат на Светлану подействовал благотворно. Она окончательно округлилась, как было predetermined природой, с лица её сошла бледность, характер стал уравновешеннее — она уже больше беспричинно не плакала, движения её стали мягче и, главное, из взгляда её больших синих глаз исчезло затаённое выражение усталости и тоски. Если бы не тревога за мужа, рисковавшего иногда — она догадывалась — жизнью, то можно было бы о прошлом забыть, или думать, что прошлое — тяжкий сон. Но сном казалась ей и уютная тёплая квартира, хлеб в изобилии на столе и сахар; и муж — красивый и сильный, за широкими ладонями которого, как за бронированной стеной, не грозили Светлане никакие невзгоды. И то, что детей не было, её не беспокоило до поры: вот насладятся они мирной жизнью, друг другом, и тогда всё образуется, и каким-то образом дети появятся — как естественное продолжение счастья, как неизбежное следствие восстановления порядка на земле.

Однажды Алексей Федотович, участвуя в задержании бандитской шайки, получил пулю в живот, но, к счастью, очень удачно: все внутренние органы оказались целы, операция по изъятию пули хоть и была долгой, долго искали её, но прошла легко и без последствий. Как это случилось, Светлана так никогда и не узнала: Алексей Федотович на эту тему разговаривать отказался наотрез. Она думала, что это он из скромности молчит, и чтобы её не расстраивать; но ему не хотелось ту ночную работу вспоминать по другой причине: ему досталась родная милицмейская пуля. Пуля была на излёте, потому что прошила перед тем руку пытавшегося улизнуть из окружения уловника.

Светлана думала, что её муж не боится ничего на свете, но это было не совсем так. Однажды с Фиалко пожелал побеседовать незнакомый мужчина в штатском. Спокойный корректный незнакомец неожиданно вызвал панику в душе у Алексея Федотовича, и он убежал бы от этого человека, если бы ноги вдруг не ослабели и не отказали ему. И не было ничего особенного в разговоре между ними, штатский интересовался, как работает Фиалко в Сибири, всё ли хорошо у него дома — и только. Но взгляд его из-под прикрытых как от усталости век, медленный и равнодушный, словно бы и не сидел перед ним монументом Алексей Федотович, или сидел, но мог испариться в любой момент — взгляд этот обладал свойством внушать простому смертному, что его грешные мысли и дела давно известны людям, об-

ладающим непререкаемой властью, известны даже и поступки, которые человеку только ещё предстоит совершить.

Алексею Федотовичу почему-то сразу припомнилась Прибалтика, Звягин и другой голос, что так же вежливо интересовался, почему рапорт на своего начальника товарищ Фиалко не отдал куда следует вовремя?

На войне смерть всё время ходила рядом, и Фиалко, не желая встречи с ней, изо всех сил противясь ей, сознавал, что есть у него лишь равное с другими солдатами право и на жизнь, и на погибель. И внутренне он был готов, если так распорядится судьба, принять смерть достойно. Существовало нечто такое, что было сильнее смерти, важнее её, что и заставляло людей жертвовать собой. И в Прибалтике послевоенной для них со Звягиным продолжалась, по сути, та же война, и исход её мог быть для Алексея тоже печальным. И в сибирской стороне хватало вооруженных бандитов, которые за свою воровскую свободу без раздумий могли порешить любого, кто встанет поперёк пути. И, случалось, лишались жизни товарищи Алексея, когда бы им жить и жить. И это его не пугало. Он добровольно стал на рисковую дорогу, гордился своей работой, и составной частью этой гордости, опять же, было сознание опасности дела. На рожон он, верно, не лез, но и за чужие спины не прятался.

Как же случилось так, что не боясь гибели, — а уж что, казалось бы, может быть страшнее для человека, чем преждевременная смерть? — Фиалко стал робеть до жути неведомого какого-то наказания, которое могло последовать за отступление от установленного кем-то порядка? Объяснить себе, откуда идёт его робость, Алексей Федотович не смог бы, если б и задался таким вопросом. Потому что размышлять он привык над другими проблемами: как организовать, например, выявление «хаты», места, где скрываются преступники, как обмануть их бдительность, окружить и взять с наименьшими потерями. Это была его компетенция, и тут он соображал очень недурно, не зря же его приглашали обсуждать такие вопросы и в тех случаях, когда ему не надо было участвовать в операции. Но вот думать о том, что или кто стоит за негласным тем порядком, который не столько инструкциями и наставлениями определялся, а существовал как бы сам по себе и над инструкциями, и над людьми — какого бы высокого ранга они ни были — этого Фиалко не мог, потому что дух порядка такого размышления не допускал. Порядок требовал святой веры в однажды установленную направленность мыслей и чувств, беспрекословного подчинения себе и непримиримого отношения к уклонениям — в любую сторону. Алексей Федотович вполне проникся этими правилами жизни, точно сознавая своё место в ней, ревностно поддерживал равнение и субординацию в заданном строю — ему ли волноваться? Но вот поди ж ты — без вины, а трепетал. И как верующий боится и почитает своего Бога не тогда, когда грешит, а когда идёт к священнику — к посреднику между человеком и господом — на исповедь, так и Фиалко замирал перед представителем более высокого, как он понимал, органа власти.

Во вторую встречу чекист, поинтересовавшись здоровьем Алексея Федотовича и его супруги и всё так же нехотя посматривая на собеседника из-под полузонных век, попросил товарища Фиалко помочь органам государственной безопасности. В чём должна была заключаться помощь, он не объяснил, но Алексей Федотович сразу почувствовал облегчение: ловить шпионов ему до сих пор не приходилось, однако — он чувствовал — это была его компетенция. Он изъявил готовность выполнить всё, что от него требуется.

Сотрудник госбезопасности поинтересовался у Фиалко, как у него сложились отношения с непосредственным начальником, потом дал два чистых листа бумаги.

— Напишите, что вы согласны нам помогать.

Фиалко сообразил, что в бумаге сперва надо назвать себя, а уж потом давать обязательство. Он так и сделал. Подумал немного, поставил дату и расписался.

Собеседник прочитал написанное, сложил лист вчетверо, спрятал во внутренний карман пиджака:

— А здесь, — сказал он, — изложите, пожалуйста, то, что вы мне рассказали о ваших взаимоотношениях с капитаном Гилёвым.

Ничего предосудительного о своём капитане Фиалко перед тем не говорил, не было ничего такого, что заслуживало бы внимания госбезопасности, записал сказанное с лёгким сердцем, правда, в конце счёл нужным добавить, что капитан Гилёв преданный партии и народу коммунист.

— Подпись не ставьте, — предупредил чекист, — напишите, скажем, так: Луппан. И запомните на будущее.

— Хорошо, — Фиалко подписался новым именем и накрепко запомнил его.

— А вот этого не надо, — указал чекист на приписку, прочитав бумагу, — обобщение мы сами сделаем, ваша задача — конкретные факты.

Алексей Федотович согласно кивнул головой.

Спустя месяц они встретились снова, и опять разговор был о Гилёве, пустяковые уточнения — их тоже Фиалко изложил на бумаге. После этого о Фиалко словно забыли; Гилёв спокойно работал на своём месте, как и прежде. А вот Алексей Федотович, наоборот, начал тревожиться оттого, что о нём не вспоминают уже полгода. Значит, думал он, не доверяют ему. Может быть, он что-нибудь неправильно сказал или написал? Или ему самому надо проявить инициативу? Нельзя надеяться, что враги будут сами искать тебя, чтобы ты их разоблачил.

Как только Фиалко начал размышлять таким образом, так ему сразу и случай представился, словно глаза у него открылись после крепкого сна.

В соседней квартире жила чета Асташкиных: он — инженер, она — врач, пожилые люди. Асташкины эвакуировались в Сибирь во время войны вместе с заводом, на котором Игорь Сократович работал технологом. Когда война закончилась, многие вернулись на прежние места, в родные города, стали восстанавливать разрушенное фашистами хозяйство. Асташкин остался при заводе. Взрослые дочери их жили отдельно. Жена, Софья Никаноровна, уже вышла на пенсию, сам Асташкин собирался присоединиться к ней через два года. У Асташкиных была неплохая библиотечка книг по медицине, Софья Никаноровна охотно давала книги Светлане и вообще относилась к ней по-матерински: делилась не только опытом врача, но и кулинарными секретами.

— Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, — шутила иногда Софья Никаноровна, когда они уединялись на кухне со Светланой, чтобы из вчерашней холодной картошки приготовить что-нибудь вкусненькое.

Молодая и старая женщины привязались друг к другу, запросто ходили в гости, позабыв о разнице в возрасте, обсуждали не только медицинские вопросы, но и разные женские проблемы. Мужчины же только здоровались при нечастых встречах на лестничной площадке или на улице — общих интересов у них не было, и в квартире у соседей Алексей Федотович не побывал ни разу. Но представление о жизни Асташкиных он имел достаточно полное, от Светланы.

Однажды, вскоре после того, как глаза у Алексея Федотовича открылись, Светлана рассказала ему о разговоре, который у неё был с Софьей Никаноровной.

— Я ей сказала, что чуть не умерла с голода в сорок втором, потому что виноваты в этом были наши ленинградские руководители, не зря их осудили. Раз они против Сталина заговор хотели сделать, то и нас им было не жалко. А она, знаешь, поджала губы — вот так, посмотрела на меня, как на дурочку, потом говорит: «Игорь Сократович так не думает». У неё, если Игорь Сократович сказал — это всё! Закон. А ты не знаешь, у вас там ничего не говорили по ленинградскому делу?

У Светланы муж тоже был для неё авторитетом, хоть в образованности он, конечно, много уступал и ей, не только инженеру Асташкину. Ничего «такого» Алексей не знал и знать не хотел: не в его компетенции. Но и Асташкину об этом судить не положено!

— Вот шо, — сказал он Светлане, — ты про то больше ни с кем не говори. Поняла?

— Я с тобой только.

— И со мной давай не будемо.

Словно занозу под лопатку загнала Светлана мужу. Алексей Федотович и так, и этак «планивал» жизнь соседей — выходило, что живут они неправильно. Скрытные, отгородились от всех, кроме Светланы, никого не привечают. Асташкин в одиночку пьёт по выходным рябиновую настойку, которую ему готовит супруга. Даже товарищей по работе не приглашает. Почему бы это? Наверное, ему есть что скрывать. И теперь вот, оказывается, не осуждает заговорщиков, когда их осудила советская власть и весь народ, а защищает.

Раньше Алексей Федотович не стал бы брать в голову того, что происходит у соседа, но после того, как он дал письменное обязательство помогать органам государственной безопасности, чувство долга потребовало от него действий. И он изложил свои сомнения на бумаге, вздрагивая всякий раз, когда в подъезде бухала дверь: ему казалось, что Светлана почему-то явится с дежурства раньше положенного и застанет его за секретным делом. Сомнения свои передал куда следует.

Несколько месяцев спустя, когда после счастливо проведённого отпуска в Риге — туда перебралась жить, вместе с мужем, сестра Фиалко — они вернулись домой, Асташкиных не обнаружили. И никто толком Светлане не мог сказать, куда они девались.

— Уехали как-то неожиданно, — расстроилась она, — и даже письма не оставили. И книги Софье Никаноровне я как теперь верну?

Она ничего не заподозрила, да и Алексей Федотович не знал, причастен ли он к таинственному исчезновению соседей, или же случилось такое совпадение? И от этой неопределённости опять появилось беспокойство на сердце, и снова мысли, помимо привычной работы, крутились на том же месте: его просили помочь, значит, враги где-то рядом!

Глава 14

На утреннем осмотре, когда Елена Андреевна, пряча улыбку, подступила к Каретову, он опять ахнул:

— И второе ухо приморозили! Наверное, вы к нам из тёплых краёв приехали, и недавно.

— Недавно, — смутилась она. — Из Киева.

— Уши поотпадают, муж любить перестанет, — сказал деланно-серьёзно Владимир, хотя ему хотелось сказать, что эти яркие мочки ушей ничуть не портят ей вид, а скорее, как драгоценные камни, украшают её.

— Заживёт, пока он приедет, не сильно же.

— А где он? — забавляясь её смущением и простодушием, продолжал Каретов.

Она посмотрела ему в глаза как-то беспомощно, сомневаясь, можно ли говорить о том, о чём он спрашивает.

— Офицер? — сообразил Владимир. — Служит?

— Да, — облегчённо вздохнула, что он сам догадался, а не она рассказала, — на точке.

И опять она измеряла ему давление, слушала лёгкие, щупала живот. Каретов, готовясь к рентгеноскопии, очистил ещё с вечера желудок и кишечник, не завтракал, и поэтому чувствовал себя превосходно, и внимание, уделяемое ему врачом наравне с больными стариками, казалось теперь совсем лишним, и ему было неловко, словно бы он отнимал что-то необходимое другим пациентам.

Он невольно взглядывал на её «украшения», она замечала этот взгляд, с усилием гасила улыбку, плотно сжимала пухлые губы, на щеках от этого появлялись премилые ямочки. Чтобы не рассмеяться, Каретов задержал дыхание, мышцы живота напряглись, она легонько постучала пальцами:

— Не надувайтесь, расслабьтесь. Вот так, хорошо. Живот мягкий.

Нащупала уплотнение слева в нижней части живота, глаза округлились:

— Здесь... Не больно?

— Нисколько.

С трудом удержался, чтобы не погладить её ласковые руки.

Елена Андреевна перешла к Кадочкину. Тот, сидя на кровати с поджатыми под себя ногами, уже снял рубаху, приготовился. Увидев, что так ей неудобно работать с ним, встал, вытянулся. Она улыбнулась, стала слушать его. Сперва на лице её было спокойное и удовлетворённое выражение: дела у Александра явно шли на поправку, но потом губы её обиженно оттопырились, сказала разочарованно:

— Ну, что мне с вами делать? Никак в нижней части лёгких не очищается!

— Ой, — вздохнул Кадочкин, — до чего мне уколы надоели! Скоро нога отпадёт!

— Ну, что сделаешь? — улыбка вернулась на её лицо. — Подставляйте другую.

Не успела она перебраться на стул к Фиалко, как Александр надёрнул на себя рубаху, сверху — кофту и отчалил к друзьям в соседнюю палату.

На Фиалко, когда в палате появлялась врач, интересно было смотреть. Он становился отрешённым, сосредоточенным, и одновременно лицо его принимало выражение покорное и оттого несколько глуповатое, а на гладком лбу вдруг появлялась терпеливо-страдальческая морщина. Он озабоченно вздыхал, когда врач приближалась к нему, по-детски заглядывал ей в глаза.

Она слушала его дыхание, измеряла давление — давление соответствовало его цветущему виду — выстукивала пальцем через свою ладонь на его спине одной ей понятный такт, спрашивала, как у него дела. Дела у него, конечно, были плохи, и он мучился от невозможности высказать, почему ему плохо. Она записывала что-то в карточку, и, сказав напоследок утешительное: «Ну, всё будет хорошо», — переходила к следующему больному.

— Шо зо мною, Лена Андреевна? — спрашивал вдогонку Фиалко с надеждой, и казалось, что он огорчён не тем, что ему сказали: «Хорошо», а тем, что не сказали: «Плохо!»

Савельев терпеливо ждал на своей кровати, когда очередь дойдёт до него, обнажённый по пояс. Арматура его костей хорошо просматривалась под смугловатой кожей, но тело его казалось ослепительно белым по сравнению с татуировкой, с синевато-чёрным орлом, и тёмными обветренными лицом и шеей. Такой контраст, будто на гипсовом бюсте ваятель по ошибке укрепил чугунного орла и установил бронзовую человеческую голову. Широкое, испещрённое глубокими морщинами лицо, маленькие, тёмными буравчиками, глаза под кустиками коротких и широких бровей, каменно-неподвижное выражение — примесь бурятской или монгольской крови делала бы это лицо свирепым, если бы не толстая нижняя губа, она своим добродушным видом уравнивала неблагоприятное впечатление остальных черт и даже вызывала симпатию. Губа в этот момент выдавалась вперёд — вроде как обиженно и одновременно философски-задумчиво — и легко было представить Савельева и воином монгольских орд давно минувших веков, и ветераном последней войны, и просто добродушным, но себе на уме, пенсионером.

— Как дела? — спросила его Елена Андреевна.

Ни один мускул на лице Ефима Михайловича не дрогнул, не шевельнулся, но, тем не менее, выражение того же вопроса каким-то непостижимым образом появилось на нём, Савельев будто в первый раз слышит вопрос и удивляется его новизне.

— Ничего, — раздумчиво произносит он, при этом движется едва заметно только большая нижняя губа, — лучше. Я понемногу стал есть, а то совсем отощал, — он наклоняет голову, осматривает своё костистое тело, — пятьдесят четыре килограмма осталось — куда годится?

При этих его словах Каретов улыбается: со вчерашнего дня старик прибавил себе четыре килограмма, похоже, что дело, в его сознании, идёт на поправку.

— Аппетит мы вам вернём, — обещает Елена Андреевна, — желудок у вас здоровый.

— А бронхит вылечите? — Савельев, похоже, совершенно не осведомлён ни о каких болезнях, и незнание, а не болезнь, повергает его в состояние сомнения и неуверенности.

— Подлечим. Не дышите. Дышите. Глубже.

— Не совсем, значит? — делает невесёлый вывод Ефим Михайлович, когда она закончила осмотр.

— Придётся беречься, как иначе? Годы ваши...

Он неторопливо надел полосатую пижаму, лёг на спину, заложив руки под голову, задумался.

Романа Елена Андреевна не стала осматривать, сказала негромко:

— Пойдёмте.

И они вышли.

Девчушки из училища разнесли по палатам лекарства, потом прошли по второму разу, поставили уколы. Каретову дали таблетку витамина «С» и таблетку слабительного, которые он взял и положил в тумбочку: и то, и другое, как он считал, ему без надобности. Удивился, когда его знакомая голубоглазая сестричка Наташа — пятьдесят один килограмм — пришла к нему со шприцем. В нём розовая жидкость.

— Это мне?

— Да-а, — нараспев говорит она улыбаясь. — Витамин В.

— Что с вами сделаешь? Давайте витамин, — он засучил рукав, подставил руку, получил свою дозу и пошёл следом за ней.

Очень приятно видеть её ладную фигурку — халатик сидит на ней так, словно она в нём родилась, ни задоринки, ни морщинки. Владимира всегда поражало это свойство женской натуры — самую затрапезную одежку они стремятся превратить в нарядный костюм, подогнать по себе, чтобы мужчинам, пусть вокруг одни старики, нравилось смотреть на них. Для достижения нужного эффекта они не жалеют ни времени, ни сил. Каретов видел, какие нелепые балахоны получили девушки, когда пришли в больницу, но ведь уже на следующий день все, как одна, явились обмундированные так, словно халаты специально шили для них. Наташе попался какой-то особый, тонкий материал, под которым просвечивала вся женская галантерея; больные — и мужчины, и женщины — смотрели на неё в тот день, затаив дыхание. Старшая сестра Таня усмотрела в этом непорядок и выдала Наташе другой белый халат, толстый, надёжный и, конечно, большой-пребольшой. Утром следующего дня халат на девушке сидел как влитой: ночь не спала, но сделала спецовку по фигуре.

Каретову Наташа как раз годилась в дочки, но он поймал себя на том, что смотрит на неё и любит так, как если бы не было этой разницы. В душе Владимира никогда не угасало ощущение того, что можно однажды вернуться в любую точку своей жизни и распорядиться ею там по усмотрению — направить по новому руслу. Вновь увидеть друзей детства, снова бродить до утра возле дома, где живёт сердечная зазноба, или встретить и полюбить неведомую пока, но самую прекрасную и отзывчивую женщину. Он не делал этого лишь потому, что его женщина, жена, стала давно уже как бы неотъемлемой частью его самого, вернуться в какую-то точку прошлого означало утратить самую лучшую свою часть. Да он и не торопился, оставляя эту прекрасную возможность на тот день, когда закончится каким-то непонятным ему самому образом первый его земной путь, и он опять будет стоять перед выбором.

Но с тех пор, как он попал в больницу, его заблуждение улетучилось, он всем нутром почувствовал необратимость времени и единственность своего существования в нём. И только Наташа, проходя рядом, на минуту, на час, возвращала ему утраченную иллюзию. И тогда ему хотелось посмотреть в её голубые глаза, поговорить с ней, чтобы понять тот мир, из которого она явилась. Мир молодых, он чувствовал это, существенно изменился... Но девушке было некогда.

Глава 15

В длинном коридоре два небольших столика на расстоянии десяти шагов один от другого, возле каждого столика по открытому шкафчику; здесь возле своей дежурной медсестры девчонки набирали лекарства в шприцы и шли к очередному больному.

Вечерами, после «отбоя», можно было видеть как, заглядывая в толстую амбарную книгу, ночная дежурная сестра раскладывала по ячейкам с номерами палат лекарства, назначенные врачами. Там они и лежали до утра, подходи и бери. Никто, однако, не трогал таблетки. «Не бояться наркоманов, или их здесь нет? А может быть, лекарства безобидные?»

Фиалко спросил как-то Каретова:

— Вот шо им надо, этим людям?

— Каким?

— Да тем, шо яки-то колёса глотают, сами себе уколы делают. И не боятся, что заразу занесут у вену. Или ещё таски... так-си манию придумали. Это что, а?

— Не знаю, какие таблетки-колёса надо глотать, чтобы забалдеть, по наркотикам и токсикомании не спец. Это у молодых спрашивайте, вон — у Ромки.

Роман сделал вид, что не слышал реплики.

— Это ж надо, — сокрушался Фиалко, — сами себе голову дурят! Зачем?

Два стола и два шкафчика в коридоре потому, что два лечащих врача на отделение, у каждого из них своя медсестра, своя книга назначений и, соответственно, инвентарь и лекарства. Есть ещё процедурная комната, но туда больные почти не заходят, всё лечение делается в палатах, а в процедурной на кушетках отдыхают по ночам обе дежурные сестры. Третьей кушетки нет, и санитарка, а они дежурят сутками, ходит вечерами по комнатам, выясняя, нет ли свободной кровати. Когда находит, несёт свои простыню и одеяло с подушкой, невзирая на то, что свободное место оказалось в мужской палате.

Ближе к новому году свободных мест стало больше: кто мог — выписывался, а новых больных почти не поступало, желающих в новогоднюю ночь валяться на казённой койке мало. Известна ведь примета: как встретишь Новый год, так и будешь жить весь год.

Из палаты напротив, из той, в которой накануне умер старик, вынесли все кровати, взамен принесли стулья, тумбочку, на тумбочку водрузили огромный цветной телевизор, с приложением к нему, вместо антенны, куска многожильной медной проволоки.

Две молодых женщины из второй палаты мелкими, губной помадой и акварельными красками нарисовали на окнах нарядную ёлку, Снегурочку и зайца. Заяц получился толстым, как поросёнок, но уши у него вышли что надо — длинные, с тёмными кисточками на концах.

Стоя на стульях, они тихонько напевали под музыку негромко звучавшего магнитофона, который им любезно одолжил парень из пятнадцатой палаты. Впрочем, он торчал тут же, как будто помогал художницам советами, но больше смотрел не на окна с рисунками, а на стройные ноги, на по-девичьи обольстительные фигурки в домашних халатах: одна была в голубом, а другая в красном, с цветами — тёплые, притягательные женщины.

Каретов заглянул сюда на музыку, дал совет, как подвешивать на нитках к потолку ватные шарики, но почувствовал, что он тут лишний, и вышел.

В дверях оглянулся на то место, где стояла недавно кровать умершего, спросил:

— Новогодний карнавал будет?

— Танцы до упаду, — повернулась к нему та, что в голубом, и улыбнулась.

Губы у неё слегка вывернуты, как для поцелуя, и Владимир подумал, что это из-за того, что она каждый вечер подолгу торчит на лестничной площадке с высоким парнем, который навещает её. На парне просторная шуба, он расстёгивает пуговицы, прячет свою тоненькую подругу в полах, и стоять на площадке им несколько не холодно.

— Валя, а почему ты объявление в газету не дашь? — спрашивала женщина, что была в голубом халате, Зина, у подруги в красном. — Я со своим Игорем через

«Службу семьи» познакомилась, и уже третий месяц живу, как в сказке! Он мне, — она оглянулась — парня, хозяина магнитофона, за спиной не было, ушёл по своим делам, — каждый вечер колени целует и говорит, что лучше меня на свете нет! Только вот в больницу попала. Скучаю — жуть!

— Тебе что скучать? Он каждый вечер сюда приходит. А я давала объявление, — ответила Валя. — У меня не получилось.

— Почему?

— Не знаю. Пришло мне шестнадцать писем, я их прочитала, никто мне не подошёл: то старые, то неграмотные какие-то, из заключения два письма было, а то один больной даже прислал письмо.

— Почему ты решила, что больной? Из больницы, что ли?

— А! Дурак. Он мне написал, что будет целовать мне и руки, и ноги, и всё-всё, даже... лобок!

— Ха-ха! Ну и что? Сама ты глупая. Пусть целует! И ни с одним не встретишься?

— Встретишься, — вздохнула Валентина.

— Расскажи!

— Он из Владивостока. Написал, что женщин у них там мало, что была у него жена, но он с ней разошёлся. Так-то, в общем, нормальный мужчина. Мы с ним переписывались месяца два или три, я согласилась, что он приедет ко мне. Познакомиться. И вот один раз на работе меня позвали к телефону, оказалось, что он прилетел в Иркутск и хочет меня видеть, — она замолчала.

— Ну! Не понравился?

— Да-а, не то чтобы не понравился, он такой — среднего роста и, можно сказать, симпатичный. Туфли мне привёз в подарок лаковые, духи всякие, всё заграничное. Но сразу же, в первую ночь захотел, чтобы мы вместе легли.

— Ну — правильно! Он что же — летел такую даль зря? А вдруг вы в постели друг дружке не понравитесь? Узнавать так узнавать.

— Нет, я так не люблю. Надо же приглядеться, как-то привыкнуть к человеку, а то чужая рука по груди... Бр-р...

— Не дала?! Обидела, и он уехал?

— В том-то и дело, что... дала. Я тоже так подумала, что неудобно отказывать человеку, когда он письма писал, а потом и на дорогу потратился, и на подарки. Положила с собой, а утром мне так стыдно стало, что смотреть на него не могла. Вот, думаю, скажет: «Какая распутная женщина, с первого раза легла!» Да и он тоже — не мог потерпеть. Так он, наверное, с любой женщиной готов сразу в постель. В общем, сказала ему, что замуж выходить раздумала, и чтобы он не сердился и нашёл себе другую. И он уехал.

— Бедненький! Подумал, наверное, что не удовлетворил женщину...

Валентина не отозвалась. Всё, конечно, было не так просто. Жила она в деревянном старом доме на втором этаже в однокомнатной квартире. Но кухня, в которой была печь, большая — не меньше спальной комнаты — в ней она намеревалась сперва положить на раскладушке прибывшего жениха. В кухне было чисто, потому что печь она топила в исключительных случаях, когда почему-либо отключали водяное отопление.

А напротив через улицу двумя годами раньше заселили новый пятиэтажный дом, на месте снесённых частных домишек. Этот дом повлиял на решение Валентины отказать претенденту на её руку и сердце. Не сам дом, а один человек, живший тоже на втором этаже, хотя она с ним была незнакома.

Однажды утром, вскоре после того, как новый дом заселился, умываясь над раковиной на кухне, она почувствовала, что за ней кто-то наблюдает. Она поспешно закрыла грудь полотенцем, огляделась, но никого, конечно, не увидела. Следующим утром она опять испытала это чувство присутствия постороннего, но уже в спальне, когда она меняла ночнушку на нижнее бельё. Вздрогнула, выключила свет и крадучись подошла к окну. Никто под окошком её быть не мог, не заглядывал, но она обратила внимание на освещённое окно напротив. Там мужчина на кухне заваривал чай, доставал из холодильника что-то и бросал иногда взгляд в эту сторону. Он, очевидно, только что вышел из ванны: ни рубашки, ни майки на нём не было. Валя задёрнула занавески, которые висели на окне только ради красоты, умылась, собралась и перед выходом из дома посмотрела напротив. Теперь в том окне вместо мужчины ходила молодая женщина в красном халате.

Так они и стали с тех пор жить: Валентина за занавесками, а в доме через дорогу шторы прикрывали лишь край окна. Просыпаясь со звонком будильника, она выглядывала в окно и почти всегда видела обнажённый красивый мужской торс и гладко зачёсанные блестящие после утреннего туалета волосы. Он тоже, наверное, чувствовал её взгляды, потому что часто в такой момент поворачивал в её сторону голову. Что говорить — он ей нравился. Возможно, что он был рябой или с какими-нибудь дефектами на лице, но из-за дальности расстояния мелкие детали не были видны, он казался ей красавцем. И она привыкла видеть его, как привыкла к картине на стене, подаренной ей когда-то в пору влюблённости её женихом, а затем и мужем. С мужем они расстались вскоре, а сирень на холсте осталась, как память о наивных и счастливых надеждах молодости.

И когда утром она пробудилась рядом с другим мужчиной, в поздний час, когда тот, живший напротив, давно уже ушёл на работу, когда она представила, что этот, лежащий рядом, будет теперь всегда мешать ей видеть того, имени которого она даже не знала, душа её восстала. Сомнения, которые были у неё в первые часы встречи, которые возникали мгновениями во время ласк, вдруг вспыхнули с удвоенной силой, и она, не справившись с ними, отказалась от живого, тёплого, реального человека, готового полюбить её, ради привычной картины за окном.

Ничего этого подруге не стала Валентина рассказывать, да та вряд ли поняла бы её. Пусть думает, что из-за настырности мужик пострадал.

— Ну, это ты зря, — после некоторого размышления сказала Зина. — У меня ведь до Игоря был другой парень, тоже по заявлению прислал письмо, и я сперва его выбрала. Также приезжий, из Слюдянки. Ну, посидели мы с ним вечером, вина выпили; он такой скромный: я ему на полу постелила на тоненьком матрасике и всего одно одеяло дала, чтобы он замёрз и ко мне попросился. Он всю ночь рядом с кроватью корчился и молчал. Такой тюха — зачем он мне? Я его отправила обратно.

— Он же, наверное, надеялся, что ты добрая, и сама его позовёшь.

— Ага, сейчас! А вот Игорь сразу, как только зашёл, одной рукой так прижал меня к себе, что я задрожала. Настоящий мужик, попробовала бы я только сказать, что ляжем отдельно!

Она рассмеялась:

— Мы с ним один раз даже здесь, на лестничной площадке, в шубе, стоя... Ха-ха!

— Ну-у, это уж совсем...

Глава 16

В соседней палате освободилось место, и Кадочкин почувствовал себя счастливым: теперь он дневал, иногда и ночевал, у друзей — избавился от храпа Фиалко! В свою палату он приходил лишь в часы обхода врача и для уколов. В положенный час подставлял ягодицу очередной практикантке, отмечая вслух, у которой безболезненно получается, и шёл, вначале прихрамывая, по своим делам.

Увидев его в умывальне, где мужики нещадно смолили сигаретами и задымили ближнюю половину так, что во вторую, женскую, за ширмой, старухи, ругаясь, пробирались чуть ли не ощупью, Каретов сказал:

— А я тебя нашей Леночке заложил.

— Что курю? Так все курят, и сестра знает. Главное — зажевать, чтобы не пахло.

— А она не знала.

— Да? — Кадочкин не рассердился, но призадумался: не огорчилась ли врачиха?

Владимир засмеялся, махнул рукой и ушёл в палату.

На осмотре утром Елена Андреевна осмелилась спросить Кадочкина:

— Вы курите?

— Что вы! Балуюсь, а не курю.

— Сколько папирос в день выкуриваете?

— Я сигареты, — поправил он, — две-три штуки. Раньше я две пачки на день покупал, — решил уточнить он, — а теперь мне одной хватает.

Каретов не выдержал, рассмеялся. Она тоже улыбнулась:

— Так у нас ничего не выйдет. Надо же очистить лёгкие, а вы их никотином забиваете. Делали бы вместо курения дыхательную гимнастику, а то всё на лекарства надеетесь.

— Брось курить, — сказал Каретов, в нём проснулся старшина, — и побегай несколько раз в день по лестнице. Через два-три дня чистенький будешь.

— А-а! — Кадочкин досадливо отмахнулся, — раньше я и курил, и по тайге бегал, и спал под кустом, а не болел. Видно возраст сказывается.

— Какой твой возраст? — Фиалко, отрешённо слушавший, казалось, только то, что происходило в нём, не выдержал и встрял в разговор. — Ты ще молодой!

— По сравнению с вами я всегда буду молодой, — согласился Кадочкин.

Вечером сестра быстро и ловко поставила банки ему и Савельеву, принесла горчичники для Фиалко. Алексей Федотович долго пыхтел, приготавливая постель, подушку, самого себя.

— Вы мне о-так сделайте, — пояснил он сестре, — щоб я на них лёг.

— Хорошо, — она расстелила на подушке принесённую газету, разложила на ней горчичники, помогла Фиалко лечь на них, дала ему в руки край простыни, чтобы он укрылся.

— Вот какая, — заворчал Фиалко, когда она вышла, — раз-раз, всё быстро, а надо чтоб от сюды попало, на плечи. Абы как сделать...

— Ну, ты! — Кадочкин лежал на животе, уткнувшись носом в подушку, — когда-нибудь тебе угодить можно?

— А почему так говоришь? — лицо Алексея Федотовича покраснело от досады. — Я разве тебе сказав? Я же про тебя плохо не говорю.

— Не говоришь при мне, а как выйду, так ты сразу и навоняешь!

— Ты добрый. Тольки себя уважаешь. Она должна лечить хорошо...

Каретову надоела перебранка, он вышел.

В соседней палате дверь распахнута настежь. Все обитатели её покинули, лишь остался сидеть на краю кровати немощный седой старик с давно не бритой щетиной, высокий, худой. Он смотрел прямо перед собой, руками держался за железную раму кровати. Штаны у него были спущены ниже колен, вокруг хлопотала санитарка с газетами; в коридор несло запахи испражнений.

— Господи! — старуха в коридоре вздыхала со слезами в голосе. — Не дай Бог так-то умирать!

— Ну, — отозвалась другая, — ничего не может. Дочка приходила вчера вечером, посидела с час, а сёдня так и не была.

— Какая нужда заставила сдать родителя в больницу, дома не могла поухаживать?

— Не говори. Некогда им, деньги зарабатывают. Раньше, бывало, выписывали таких-то, и как хошь, так и управляйся, а теперь ничо, доржат.

— Восемьдесят девять лет ему, говорят, а дочка молодая, лет тридцати, не больше.

— Внучка, может?

— Дочка. Я спрашивала у нашей старшей, у Гали.

Владимир лишь мельком глянул в ту палату, но старик врезался в память враз и надолго: жёлтое щетинистое лицо уже ничего не выражало, но он ещё что-то видимо понимал, если пытался перебраться с кровати на специальный стул с вырезанным отверстием в сиденье, который стоял рядом с его койкой. Под стулом был ночной горшок. Дочь старика Каретов видел днём раньше, действительно: молодая, высокого роста и красивая. Лицо печальное, горькое, по коридору шла — никого не замечала. Обвинить её в том, что в больницу отдала отца, чтобы самой не возиться с ним, язык бы у Владимира не повернулся: видно есть у неё серьёзная причина так поступить. Возможно на работе прижали, теперь везде порядок наводят, дисциплины требуют. А может, без мужа живёт, одной не уследить, дома круглые сутки не посидишь.

И тут он увидел эту женщину — легка на помине! — дочь старика прошла в палату и немедленно принялась обихаживать отца.

Глава 17

Два дня до Нового года осталось, хочется домой Анастасии Васильевне, но не отпускает врач Елена Андреевна, рано, говорит. Скучно здесь, никакого дела нет, а без дела какая жизнь? Одна маета.

Сеня, шалопай, ни разу бабушку в больнице не навестил, некогда ему: то в школе, то уроки, то соревнования, то дрейк-банс какой-то под музыку выдумывают — на ушах ходят! Цыгане, помнит Анастасия Васильевна, нахлынут, бывало, в деревню и какими только способами деньги не выманивают. И вот этак тоже — привяжется чумазый пострелёнок к кому-нибудь на улице, обещает:

— Дайте рубль, я вам на пузе и на голове спляшу!

Народ кругом соберётся, хмыкают недоверчиво, но рубль мелочью наберут сообща, в надежде на интересное представление. Царапнет грязной пятернёй цыганёнок деньги с широкой крестьянской ладони, упадёт на землю, скакнёт раз-дру-

гой на животе, ну чисто лягушонок, ногами подрыгает, стукнет о пыльную дорогу лбом — и весь концерт. Обман, а не скажешь, что обещания своего этот артист не исполнил. У Сеньки со товарищи брек-дансу поучился бы тот чумазый, не один рубль зашибил бы.

Вера, дочь, после работы каждый вечер забегает, то молока принесёт, то киселя, то пирогов напечёт. Тоже вот забота. По магазинам ходить — это Анастасия Васильевна приняла на себя, и обеды варить, и стряпать. Долго маялась по первости, пока научилась с железным ящиком, с электрической печкой, управляться. Милое дело — русская печь. Там, бывало, протопишь — и тепло тебе, и сваришь всё, что надо, и испечёшь; и в любую минуту из печи горячего поесть можно, а здесь на каждый чих свой подогрев требуется.

И хлеб. Разве это хлеб, что в здешних магазинах продают? Где их, таких умельцев, учат, что они самую главную пищу ни во что превратили? А молоко? Вода-а. Да ещё чего-то добавляют в него такого, что простокваши от него не дождёшься — два дня на столе простоит и не закиснет. В животе будет от такого молока польза?

В первые годы, когда Сеня маленький был, в школу ещё не ходил, свозила Анастасия Васильевна его в деревню. Он раз молока деревенского попробовал и не стал пить. Привык в городе к разведённому; настоящее молоко не понравилось, хоть водички в него добавляй. Сходил посмотрел как бабушка Софья корову доит, как белые струйки в ведро брызжут, решил в другой раз испить молока. Прямо в кружку ему надоили. Попил, задумался, потом говорит:

— Корова сливки даёт. А откуда же тогда молоко?

— Мудрый ты, — засмеялась Софья Васильевна. — Пей, пока я жива; когда вырастешь, будешь деткам своим рассказывать и внукам тоже. Ох, беда! Приучили детишек пить бычье молоко.

Не через молоко ли Анастасия Васильевна скovyрнула? Купила в магазине две литровые бутылки, ну и, конечно, за хлебом и сахаром в булочную зашла, потащилась домой гружёная. А крылечко-то у подъезда — чтоб тем, кто его строил, икнулось! — высокое, лишнюю ступеньку строители положить поленились, да ещё покосились они, те ступени, оттого, что земля под ними просела, так что старому человеку на крыльцо взобраться непросто. Ну, поставила сумку на крыльцо, сама вскарабкалась кое-как, сумку с покупками в руки взяла и только открыла дверь, как на неё с лестницы махнул зверь: у соседей, что живут рядом в четырёхкомнатной квартире, собака есть огромная, что телёнок, и чёрная, как гладкий дьявол. Вот он, зверюга этот, кинул лапищи на плечи Анастасии Васильевне,дохнул в лицо ей красной клыкастой пастью: «Гав!» И сердце у неё от страха оборвалось. Обомлела вся, сумку выронила, бутылка в ней одна раскололась, а другая выпала и покатила на ступеньки и уж там разбилась. Окаянный пёс ведь не стал магазинское молоко даже пробовать, его мясом и колбасой дома кормят. Гавкнул ещё раз ей в лицо и потащил свою хозяйку на поводке на волю. Анастасия Васильевна уж и не знает, как не упала сама; едва-едва взобралась на второй этаж, в тот день оклемалась вроде к вечеру, а ночью плохо ей стало, думала до утра не доживёт. С большой головой не сообразила, что с перепугу у неё давление поднялось — не знала она раньше про давление. Когда провалялась несколько дней, то и пошли у неё мысли про смерть, про то, как мать её долго хворала, пока рак у неё обнаружился. Рак тот и утащил её в могилу.

Анастасия Васильевна медленно идёт по коридору, усаживается на низкую больничную лавочку, обтянутую дерматином, думает-перебирает прошлое и на-

стоящее. Смерть уже недалеко ходит. Одного старика уже унесли на днях, теперь другой за ним готовится.

Больница эта похожа на вагон, в каком они с Сеней в гости к своякам ездили. Первый раз она в таком купейном вагоне ехала — зять Антон специально билеты покупал. Там тоже длинный и узкий коридор и двери, за которыми так же, как в палатах, по четыре человека томятся. Только там, в вагоне, двери с одной стороны, а с другой — окна, чтобы на белый свет смотреть, а тут и с другой стороны стенка с дверьми. Всё остальное одинаково. Туалет и умывальня в конце коридора; сёстры и врачи ходят, как проводники, одних встречают, других провожают; у кого остановка промежуточная, с пересадкой на другой поезд, а у кого конечной окажется.

Скорый поезд быстро промчал, быстро. Кажется, совсем недавно вышла в жизнь, только вчера босиком по лугу бегала, а утром сегодня встретила своего лейтенанта... Вот уж проехала своё, пора готовиться к выходу; давно её Кондрат дожидается. С августа сорок второго — сорок пятый год бедует она без мужа. Неужели на целых полвека переживёт она его?!

Сеня как-то раз в шкафу что-то своё искал, а нашёл завёрнутый в платок портрет в деревянной рамке. Развернул.

— Баба, это кто? — удивился необычной фотографии.

— Дедушка твой, Кондрат Михайлович.

— Да-а?! Он где, он умер?

— Умер, — она вздохнула, — может быть. Написано, что погиб, а уж как смерть принял — не знаю.

— Он был герой? — дед на фотографии был молодой и в будёновке со звездой.

Анастасия Васильевна не ответила, не знала, что ответить. Задумалась. Когда извещение о смерти мужа пришло, она его плохо прочитала. Даже и не прочитала вовсе, только в руки взяла, как ударило ей в сердце и в голову, будто оттуда, с фронта, долетел до неё вражеский снаряд. Как не умерла — Бог весть. А ведь знала, чувствовала, что с ним беда случилась. Давно перед тем не писал, чуть не весь год от начала войны; неизвестность — плохо, но такое известие, какого она дождалась...

Внук портрет военного деда в руках покрутил, да и засунул на прежнее место. Конечно, куда его? Это в деревне у неё портрет висел на стене на видном месте, а в городе так не годится. Ковры на стенках считается приличным вешать, да ещё штуки разные, тарелки с рисунками, маски страшные нерусские, или железные картинки — чеканка называется.

Внук спросил напоследок:

— А дед высокий был? Сильный?

Анастасия Васильевна не знала, что ответить:

— Вот не скажу, Сеня, не помню. Теперь ведь так: кто раньше большим казался, среди нынешних молодых и незаметен вовсе. Для меня все высокие, потому что я всегда была маленькая. Сильный ли был? Да уж сильный, конечно. Тогда все сильные были оттого, что работали много. Слабые немца бы не одолели.

Когда лета её к пенсионному возрасту подошли, для оформления пенсии понадобилась вместе с другими бумагами зачем-то и похоронная. Назначили ей тридцать семь рублей и пятьдесят четыре копейки, да только не вернули извещение о смерти мужа, затеряли где-то. Анастасия Васильевна скандалить не стала по поводу такой бесхозяйственности, чтобы не расшевелить своё поутихшее горе,

приехала жить к дочери без этого документа. Рассудила: хоть и жалко, а надобности в нём не будет.

И вдруг понадобился! Волнение среди стариков и старух в их доме началось большое, когда кто-то весть принёс, что родственников погибших воинов вспомнили, и квартиры им к тридцатилетию победы без очереди дадут. Обрадовалась Анастасия Васильевна, она чувствовала себя виноватой, что стеснила своим присутствием семью дочери, когда могла бы не стеснить — если бы долго не ковырялась в своём колхозе и приехала раньше, когда распределяли квартиры на работе у зятя.

Посоветовалась на лавочке с Андрей Андреевичем, военным инвалидом из соседнего подъезда, и написала письмо в военный архив, чтобы ей обратно справку о смерти мужа дали. Но сперва по его совету в областной военкомат сходила, это недалеко от дома. Там с ней побеседовали, записали и отправили её вопрос в тот самый архив. Сказали: «Ждать».

Домашним — ни гу-гу! Не сказала ничего, чтобы прежде времени не волновать понапрасну их и саму себя. И хорошо сделала, что не сказала. Не скоро её в военкомат вызвали: сколько там, в архиве, таких как её Кондратий Михайлович среди погибших числится — не вдруг найдёшь! Да ещё сама она, по своей робости и нерешительности, время упустила: пока думала-сомневалась, пока догадалась у Андрей Андреевича совет спросить, пока отважилась в военкомат со своей просьбой сходить — не дни прошли, месяцы.

Получила, в общем, Анастасия Васильевна справку как раз перед праздником, пятого мая тысяча девятьсот семьдесят пятого года. Но не зря говорят: «Дорого яичко ко Христову дню» — опоздала она со своей справкой. Праздник миновал, а у неё никакой очереди на жильё ещё не образовалось. Хотела и вовсе потом никуда не ходить, но Андрей Андреич опять дал совет:

— Не горюй, Васильевна, эта песня долгая: два-три года пройдёт, пока всех обеспечат.

Что два или три года? Пустяки по сравнению с тридцатью годами, которые после победы прошли, можно и подождать. И она понесла, наконец, заявление в районный военкомат.

Сам райвоенком заведовал этими документами. Он пригласил вдову сесть, вынул из шкафа и положил на стол её заявление, справку о гибели мужа, справку из домоуправления; паспорт вернул ей. Бумаги читать не стал, вздохнул:

— Да...

Анастасия Васильевна волновалась. Он поднял на неё взгляд серых внимательных глаз, спросил участливо:

— Вы с кем живёте?

— С дочерью, — он всё так же смотрел на неё, и она добавила: — И с зятем, ну и дети у них — двое.

— Понятно. Зять не обижает?

— Н-нет, — в ней колыхнулось было обидное воспоминание, как однажды зять выключил свет в ванне, когда она мылась. Она тогда тихонечко вылезла из воды впотьмах, вытерлась, оделась, ушла в свой угол да и поплакала втихомолку в постели. Позже выяснилось, что зять нечаянно, по неведению, из ванны её выгнал. Были и другие казусы, подобные этому, но не со зла. — Нет, не обижает.

Он заметил её колебания:

— Не пьёт? Не буянит? Из квартиры не гонит? Если что — мы его приструним.

— Нет, он смирный.

— Хорошо, — удовлетворённо сказал райвоенком и распахнул дверку шкафа, что стоял сзади его. — Вот, посмотрите, сколько у нас заявлений, — весь шкаф был забит папками. — Если бы все квартиры, что за год сдают строители нашего района, отдать нам, то есть — вам, и то бы не хватило на всех. И каждый день приносят всё новые заявления — и вдовы, и участники войны.

Он выжидательно посмотрел на Анастасию Васильевну, понимает ли?

— Оно конечно... — она представила, как по скрипучим крашеным лестницам старого деревянного здания райвоенкомата поднимаются на второй этаж люди — одни приходят и уходят, за ними другие. И так без конца, изо дня в день. — Конечно, — повторила она, — у всех кого-нибудь война унесла.

— И вы знаете, здесь, — он кивнул на шкаф, — много людей, у кого с жильём совсем плохо. Вы в благоустроенной квартире живёте, хоть и тесновато, но, как говорят, «в тесноте, да не в обиде», а есть в аварийных домах, в подвалах, в...

— Понимаю, — тихо сказала Анастасия Васильевна и поднялась со стула.

— Исполком нам такое количество квартир выделяет, — добавил в оправдание майор, — что свою очередь, если она не будет расти, мы за десять лет, не раньше, ликвидируем. И ничего не сделаешь, остальным людям тоже ведь жить надо, верно? У кого дети, у кого больные, кто из другой местности приехал на работу...

— Да, я понимаю, — она увидела, что он протягивает ей её бумаги, машинально взяла их.

— Зять ваш где работает? В институте? А дочь на заводе? Ну вот: там они скорее квартиру получат.

Вот уж и сорок лет после победы прошло, но и к очередному юбилею в квартирном вопросе ничего не продвинулось, хотя бы и на работе у дочери или у зятя...

Глава 18

Савельев два часа простоял у окна в конце коридора — окно это выходило во двор больницы как раз над крыльцом — смотрел вверх наледы на замёрзших стёклах на расчищенную от снега дорожку, которая шла от калитки.

И ужин Ефим Михайлович пропустил, задумавшись, зяб, не замечая, как наносит снизу по лестнице холодный воздух. Но вот и время для посещений кончилось, и врачи разошлись, дежурная внизу накинула крюк на петлю входной двери, замок повесила, ждать стало бесполезно. Он побрёл в палату.

«Вот тебе и сожительница! — подумал с сочувствием Каретов, видевший, как томился у окна Савельев. — Не пришла — и загоревал старик».

— Подсаживайтесь к нам, Ефим Михайлович, — пригласил он Савельева.

Они с Кадочкиным только что вскипятили в кофейнике воду, заварили чай, разложили продукты на тумбочке и подоконнике. Хлеб, масло, сало, котлеты паровые, колбаса, варенье, капуста и даже яблоки — всё лучшее, что могли, принесли им жёны из дома.

— У меня есть, да я и не хочу, — неуверенно отозвался Савельев.

— Что там у тебя есть? — мгновенно среагировал Кадочкин. — Столовские пироги столетней давности. Садись, дед! Надо хорошо есть, чтобы поправляться. Водки нет, а чаю нальём. Давай стакан!

Сам Кадочкин верил больше всего именно такой методе лечения всех болез-

ней: часа за два до сна непременно заваривал свежий чай, а к чаю добавлял такое количество разнообразной калорийной пищи, что только подивиться можно было, куда всё это девается, и почему у него не растёт живот.

Савельев подошёл, сел на стул, свой стакан поставил на свободный уголок тумбочки, руки сложил на коленях.

— Вот хлеб, вот нож, бери масло, колбасу. Работай! — распорядился Кадочкин.

— Да, — сказал Савельев, отрезая ломоть, — выбор! Не то, что в столовке. Придётся, а там одна рыба океанская или омлет, в лучшем случае.

— Мамлет, — поправил его Фиалко.

Кадочкин прыснул, Каретов заулыбался. Савельев только откусил от ломтя, но не стал жевать, несколько мгновений молчал, потом повторил твёрдо:

— Омлет.

— Мамлет!

— Цирк! — Кадочкин поперхнулся, покраснел и закашлялся так, что из глаз у него побежали слёзы.

«Анекдот, да и только!» — мысленно подивился на стариков и Каретов. А Савельев вдруг улыбнулся:

— В диетической я один раз насмешил всех. Ага. Из-за рыбы тоже получилось. Там в столовой самообслуживание, ну, я с подносом иду, а братъ нечего — день рыбный оказался. У них там два раза в неделю блюда из рыбы только готовят. Ну, каша есть манная, и всякая такая дребедень. Дошёл до кассирши уже, а поднос пустой. Я биточки нацелился взять, думал мясные, а тоже оказались из рыбы. «Берите, — говорят мне, — они вкусные». А я сильно голодный был, да и брякнул им: «Мне надо, чтобы у меня х.. стоял, а не светился!»

— Открытым текстом? Ну, даёшь!

— Да. А народу за столами было полно, девчонки, в основном, студентки, и парни. Одна, вот как ты сейчас, как прыснет — и сметаной на стенку! Я — бежать! Привлекут, думаю, за хулиганство в общественном месте. Слышу: кто-то за мной по ступенькам топает. Я выскочил на улицу и за телефонную будку встал. А это парень выбежал следом на улицу и хохочет. Заметил меня: «Молодец, батя! Повариха со смеху в кашу рукой упала...»

Прокашлявшись и насмеявшись, Кадочкин сказал:

— По стопарю бы по такому случаю, а? — и подмигнул Каретову.

— Острограмиться не помешало бы, — согласился Савельев.

— Да ты, — хмыкнул Владимир, глядя на Александра, — и без стопаря мечешь, дай Бог!

— За себя и «за того парня», за тебя, то есть, — пояснил Кадочкин. — Кончилась твоя голодовка?

— А знаешь, чувства голода не было, — удивился Каретов.

— Ну, значит, барий сытный был.

Пасмурное лицо Савельева разгладилось, посветлело.

— А мне не надо. Вина бы мог глоток, а водки — нет. Меня от неё ещё в прошлом году отвратило.

— Ага! — подал голос Фиалко. — У прошлом годе вас многих отвратило. Як Указ выйшов.

— Что я, — возмутился Савельев, — алкаш, по-твоему?! Я вообще никогда не злоупотреблял, за компанию только.

— За компанию надо, — подтвердил Кадочкин. — За компанию даже жид удавился.

— И в армии, — продолжал Савельев, успокоившись и прихлёбывая чай — ел он всё-таки мало, хоть и порадовался, что аппетит у него появился, — я свою норму не пил, отдавал.

— Какой молодец! — опять не удержался Алексей Федотович.

— Один раз, правда, чуть не отравился, — не обращая внимания на реплику Фиалко, начал рассказывать Савельев. — Древесным спиртом, наверное. Да. С чего получилось-то? Сперва мы с одним товарищем заночевали на окраине Минска. Минск только освободили. Ага... Там Лилька была, замечательная... Мы с товарищем у неё заночевали. И такой случай со мной вышел, — Савельев улыбнулся, покачал головой: — Когда спать легли, я её спросил: «У вас немцы появляются?» Она говорит: «Бывают. Ходят, есть просят». Ну, я тогда на табуретке возле кровати всё сложил — гимнастёрку, галифе, автомат сверху, рядом сапоги — чтобы всё под рукой было. Да. А под утро так крепко уснул, что ничего не слышал. И вдруг она меня толкает и говорит: «Немцы!» Я как вскочил, голый, автомат на шею и — рраз! — надёрнул штаны, но оказалось, что не галифе, а гимнастёрку положил сверху. Как влетел ногами в рукава, так ничего сделать не могу — не снимаются, хоть распарывай. Лилька хохотала до икоты, а мне стыдно стало. Вот, скажет, вояки!

— Ну, даёшь! А немцы были? — спросил Кадочкин.

— Были. С ними-то потом и получилось... Трое. Одного Сергеев, товарищ мой, из окошка застрелил, в упор, в грудь, а двое руки подняли, говорят: «Клеп, клеп». Без оружия, с губными гармошками. Я ему говорю:

— Ты зачем убил?

Он отвечает:

— Не знаю. А куда их девать?

Взяли мы этих двоих с собой, в плен. Вышли когда за город, танкисты нас на броню посадили и наших немцев тоже. Да! Когда ещё по улице шли, на одном углу возле сапожника остановились, у меня на правом сапоге подмётка отстала. Ну, я ему, сапожнику, говорю:

— Прибей мне.

Он прибил. Спрашивает:

— А немцев куда? — Говорит: — Убейте фрицев!

Мы говорим:

— Нельзя нам пленных убивать, попадёт.

А он говорит:

— Тогда дайте, я им молотком бошки раскрою!

— Ох...л! — говорим ему. — Они же безоружные.

Савельев качнул головой:

— Ага, молотком! — отставил пустой стакан, задумался.

— Наливайте ещё, — предложил Каретов.

— Спасибо. Ну, мы с ними долго ходили, весь день шли, себе еду просили, и им тоже. И давали! — Савельев невидяще смотрел сквозь Кадочкина; перед мысленным взором его возникали те женщины, голодные, измождённые, которые отрывали последние крохи у своих детей, чтобы накормить не только красноармейцев, но и пленных немцев, вчерашних грабителей, насильников и убийц.

Казалось, старик совсем забыл о том, что хотел рассказать об отравлении древесным спиртом, но нет:

— Да. А с танкистами когда на ночёвку остановились, то фляга немецкая со спиртом откуда-то появилась, налили всем. Ну, я грамм семьдесят выпил. Раньше свой отдавал, а тут — выпил! И что потянуло — чёрт знает! А потом — плохо! Я сообразил: в банку из-под американской тушёнки — высокая такая узкая банка — помочился и выпил, и — пальцы в рот.

— Ой! — Кадочкин дурашливо шлёпнул себя ладонью по лбу. — А говоришь, что непьющий!

— Ну, — Савельев не улыбнулся. — Доктор потом меня спросил: «Ты как это догадался с мочой?» А я что? Говорю: «Я из деревни. У нас фельдшера не было, всё сами».

— Кто-нибудь отравился до смерти?

— Не знаю. Не помню. Может, отравились, а может, только ослеп кто-нибудь. Я меньше всех выпил и то какое-то время ничего не видел. Двенадцать дней отлежал в госпитале, в Минске. Я всё боялся, что в полку нас потеряют и в дезертиры зачислят. Мы же с ним в разведку ходили. Но ничего, обошлось. Может, врачи в часть сообщили.

— А немцы? Они тоже пили?

Савельев подвигал губой:

— Нет, не помню. Так боялся, что обвинят в дезертирстве, что ни о чём больше не думал. Забыл.

Савельев налил себе ещё полстакана чая, отпил немного, задумался. Глядя на него, Каретов прикинул: шестьдесят три года старику, в восемнадцать лет призвали воевать, с этого момента, наверное, ему и трудовой стаж должен исчисляться. Сорок пять лет! Неужели у него больше половины пропало, если ему стажа для начисления хоть какой-нибудь пенсии не хватает? Не напутал ли чего Ефим Михайлович? Вот он говорит, что пять лет воевал, а ведь война четыре года шла, на Дальнем Востоке он же не был. И говорит, что на Севере у него девять лет стажа потерялось, на самом деле — восемь, если даже считать с конца сорок пятого по пятьдесят третий год. Явно путает. Так... К восьми годам надо два приплюсовать, что в лагере по суду отбывал. Итого: десять лет потеряно. Но остальные тридцать три где?!

— Ефим Михайлович, — вывел Каретов Савельева из задумчивости. — Почему же у вас всё-таки стажа не хватает? Я прикинул: должно быть с избытком.

И привёл свои расчёты. Тот озадачился, несколько минут молчал, потом вспомнил:

— А-а! Я же, как освободился, по экспедициям мотался. Почти в каждом районе какая-нибудь экспедиция стояла. Поедешь — им всегда весной рабочие нужны.

— Ну и что?

— Нанимался на летний сезон, а зимой в кочегарке подрабатывал, или грузчиком где-нибудь в магазине.

— Надо собрать справки.

— Нету их, тех экспедиций. Ходил я в геологоуправление, спрашивал, они про меня ничего не знают. На бичей, говорят, им документы не поступали. И в магазинах тоже никаких бумаг не сохранилось. Обычно и заявление не писал: иди таскай, мол, вечером рассчитаемся. Сколько лет прошло, сразу не спохватился.

— А сейчас-то вы работаете?

— Ну, — Савельев подвигал губой, отставил стакан на середину тумбочки, показывая этим Кадочкину, что пить больше не станет, — дворником.

— Хоть на две ставки?

— Нет, на одну. Один раз мне давали второй участок, а потом отобрали, сказали, что нельзя.

— Почему? Врут!

Савельев подумал:

— Там до меня никто не убирал, а как я вычистил всё, так сразу человека нашли. Надо блат иметь. У меня — никого. Сколько людей дворниками числятся, а ничего же не делают. А возникать начнёшь, так и совсем выгонят.

— Ну вот, порядок, — Кадочкин убрал часть продуктов в тумбочку, масло и колбасу завернул в газету и положил на холодный подоконник, в уголок за шторой, где бдительное око старшей медсестры не увидит свёрток. — Теперь можно и про любовь. Не пришла твоя, Ефим Михайлович?

У Савельева ни один мускул на лице не дрогнул. Он как-то вдруг выключился, ушёл в себя, посуровел. Потом сказал не к месту:

— Меня разведчики Монголом звали.

Все ждали продолжения, а он опять задумался и лишь через несколько минут промолвил, казалось без связи с тем, что выдал раньше:

— Мне говорили: «Пей!», а я, дурак, не пил, — он сидел в обычной своей позе, опершись локтями на колени, и смотрел в пол, но тут повернул голову в сторону Каретова. В глазах — недоумение и чёрная тоска: — А твёрёзому убивать — страшно!

Кажется все в палате притаили дыхание.

— Один раз я встретился в разведке с немцем один на один. Воткнул ему нож возле ключицы, вот сюда, — он показал рукой на шею, — и держу. А по руке, слышу, тёплая кровь бежит... Прямо горячая, руку жгёт...

Помолчал, потом пояснил:

— Когда там ползёшь, то финку в зубах держишь.

Кажется Савельеву стало легче после того, как он высказался о том, что мучило его память. Но вопрос Кадочкина о жене Ефим Михайлович не забыл.

— Не пришла, — сказал он вполне равнодушно. — Да я ей говорил: «Зачем приходите?» Она деньги должна была получить, обещали дать к празднику.

Кадочкин, потрясённый картиной, которая представилась ему, не сразу вернулся в реальность больничной палаты, но остался верен себе:

— А-а! Так она, наверное, того... — он выразительно подмигнул и растопырил пальцы.

— Н-нет, — Савельев немного подумал: — Может, купила бутылку. Но у неё бражка есть. Ну, чтоб новый год встретить.

— А самогонку не делает? — заинтересовался Кадочкин.

— Нет! За самогонку привлечь могут, дешевле водки купить.

— Так она, наверное, завтра тебе бражонки принесёт к празднику? — пошутил Кадочкин. — Под видом киселя.

Савельев не ответил. Он об этом не думал, но и не исключал такой возможности. Люба, так звали сожительницу, выпить любила; если «причастится» завтра после работы, то может выкинуть навеселе любой фортель.

— Шо ему той кисель? — подал голос задремавший было Фиалко. — У его дом близко, может сходить и отпраздновать у любое время. Правильно я говорю?

— Дом близко, из окошка, которое в коридоре, крышу видно, — Савельев уже прикидывал разные варианты, но не знал, что лучше: попроситься у врача или сходить самовольно? Попросишься — могут не отпустить, и уж тогда уйти самому нельзя будет. А за самоволку накажут, если обнаружат отлучку. Вот тут и гадай.

— Меня должны отпустить, — сказал Каретов, перекладывая подушку от окна — из него дуло — на другой край кровати, — я же не больной. Меня всё равно не лечат, а в праздники никаких обследований, конечно, не будет. Сегодня уже колоноскоп у них сломался.

— Я тоже пойду, даже если не отпустят, — заявил Роман.

— Выгонят, — как о деле решённом сказал Кадочкин.

— Ну и пусть! — Ромка сел на кровати, сказал зло: — Какого чёрта я тут буду торчать? Таблетки я могу дома жрать, а уколы мать лучше всякой сестры ставит.

— То правда, — Фиалко повернулся на бок, повозился и тоже сел. — Угробляют людей и всё. Вот скажите, шо со мной вчера было?

Днём раньше Алексей Федотович устроил переполох в больнице. А началось это с того, что однажды к нему приходила на осмотр заведующая физиокабинетом, посмотрела ветерана и пригласила на лечение, обещала, что ему станет легче дышать после процедур. Кабинет был этажом выше. Фиалко обдумывал предложение день или два, потом решился, пошёл. Во время сеанса Алексей Федотович угрелся и уснул. Может, лишнего по времени прихватил, а может, ему показалось, что про него забыли, только когда он очнулся, то потребовал, чтобы с него сняли электроды немедленно. Сняли. Пошёл в палату, но почему-то спустился не на второй, а на первый этаж, увидев дверь на улицу, решил охладиться, вышел на мороз. Но его засекала дежурная, что работала в раздевалке, заодно она отвечала за то, чтобы посторонние в неурочный час в терапевтическое отделение не заходили. Она выскочила следом за Фиалко и зашумела на него:

— Вы что это делаете? А ну, марш немедленно в палату!

Алексей Федотович вздрогнул, испугался:

— Дэ я? Шо со мною?!

Дежурная схватила его за рукав и потащила за собой, в дверь, по лестнице на второй этаж. Фиалко качался, дико вращал глазами и на всю больницу вопрошал:

— Дэ я?! Шо со мною?! — и тыкался головой то в одну, то в другую стенку коридора.

Сбежались медсёстры, врач, усадили больного на скамейку.

— Что с вами, Алексей Федотович?

Он не отвечал, слепо отводил руками всех, кто пытался прикоснуться к нему и твердил своё:

— Дэ я?!

Пришла Елена Андреевна, сумела овладеть его рукой, измерила давление.

— Сто шестьдесят. Немножко поднялось, но ничего страшного.

Алексея Федотовича привели в палату, усадили на кровать, стащили с него рубаху и тельняшку, помассировали грудь, сестра принесла шприц и сделала укол. На лбу Фиалко выступили крупные капли пота, рот приоткрылся.

— Может, это у него диабет? — спросил Каретов и достал из своей тумбочки таблетку витамина «С». — Вот.

Он сунул таблетку Алексею Федотовичу в рот. Фиалко, скосив глаза на Каретова, стал жевать её.

— Нету у него диабета! — сказала вконец расстроенная Елена Андреевна. — Анализы хорошие. Алексей Федотович, если вам плохо, то не надо ходить на физио. Я отменяю.

В открытую дверь палаты заглядывали взбудораженные криками больные. Каретов вышел вслед за Савельевым в коридор.

— Косит, — сказал Савельев.

— Разве? — усомнился Владимир. — Зачем? Инвалидность у него и так есть, на работу не гонят, лежи отдыхай.

Савельев пожевал губами, сказал с сомнением:

— Не знаю. Но — косит! Паника сперва какая-то была, а с чего? — и без всякой связи добавил: — Говорит мне: «Просись в палату для ветеранов». Я что — лучше других? Буду живого человека оттуда выгонять? Тебе завидно, ты и просись, а мне здесь хорошо.

Глава 19

Был Каретов прошлым вечером в той ветеранской палате, ничего у них особенного нет, комнатка поменьше, чем другие, потому и стоит в ней всего две кровати, правда, есть кроме тумбочек и небольшой столик — это и все привилегии.

Попал он в гости нечаянно. Шёл мимо, дверь была приоткрыта, он невольно глянул в неё и встретился взглядом с Афанасием Иннокентьевичем. Тот сидел с книгой за столиком у окна, но как раз отвлёкся и, увидев Владимира, махнул ему рукой. Каретов поздоровался.

— Заходи, — глядя поверх очков, пробасил вместо приветствия Афанасий Иннокентьевич, — поговорим.

Каретов вошёл, поздоровался и с Сергеем Сергеевичем, который лежал на кровати, сел на свободный стул, куда ему кивком указал хозяин, спросил:

— Что вы читаете?

— Мемуары. Я люблю документальные вещи. Интересно, когда попадаются упоминания о той, скажем, армии, в которой воевал. В окопе ж ни хрена не известно было, что происходит. Нас в свои замыслы командование не посвящало, а теперь читаю и начинаю понимать, в каких событиях участвовал, что на самом деле происходило. — И без всякого перехода, словно бы они не прерывали тот разговор в столовой, сказал: — Конечно, у каждого есть счёт к прошлому, к друг другу, к властям, но должен быть счёт и к самому себе. Не права старуха. Какой Сталин душегуб? Обыкновенный, нормальный правитель, который должен быть жестоким, иначе ему на троне не усидеть, и свою главную государственную идею не реализовать. Желающих править — много! Либо ты своему противнику голову снимешь, либо он тебе её отвернёт. А что? Разве хоть где-нибудь когда-нибудь было по-другому? Пётр Первый даже сына казнил... Вон, Лев Толстой, умный был граф, правильно сказал, что невозможно царствовать невинно. Кстати, смотри, какая мысль у него! — Мороков взял книгу со стола, открыл на странице, где была бумажная закладка: — «Поступок дурной можно не повторить и раскаяться в нём, дурные же мысли родят все дурные поступки. Дурной поступок только накатывает дорогу к дурным поступкам, дурные же мысли неудержимо влекут по этой дороге». Это из романа «Воскресение». Так вот: сейчас, по-моему, нам в головы незаметно, но очень настойчиво внедряют дурные мысли, когда будто бы из добрых побуждений указывают на дурные поступки из нашего прошлого.

Каретов некоторое время вдумывался в слова Толстого, потом сказал с сожалением:

— Я только «Войну и мир» и «Анну Каренину» прочитал у него. Надо прочитать эту книжку.

— Почитай, — благодушно согласился Афанасий Иннокентьевич.

— Нет, — вернулся Владимир в русло разговора о Сталине, — не царь же! Генсек!

— Какая разница? Генсек. Где власть — там сила. Без силы власти не бывает. Для подавления инакомыслящих. И подавляли. Не сам же Сталин репрессировал, расстреливал, лагерями командовал. Было кому. Так давайте всех подручных называть, а не валить на одного. Кстати, суд над Троцким, я прочитал в газете, был открытым.

— Да, — вздохнул Сергей Сергеевич, — у кого радио было, мог послушать репортаж из зала суда.

— Тогда у народа вера была, энтузиазм, патриотизм. Вот, прочитал недавно: самый первый таран лётчик Иванов осуществил, уже через полчаса после начала войны! Про Гастелло почему-то знаем, а про Иванова нет. Кто его на смерть послал? Никто. Сам!

— А в Афганистан кто солдат послал?

— При чём тут Афганистан?

— Так ведь гибнут люди! В чужой стране. Во имя какой идеи?

— Я думаю, — сказал Мороков, — что Афганистан выбран в качестве того места, где Советский Союз и Соединённые Штаты проверяют состояние боевой готовности своих армий, проверяют боевую технику, готовят кадры военных. Не было бы Афганистана, было бы другое место. Так, Сергей Сергеевич?

Сергей Сергеевич поднялся с кровати, сел на стул, сказал спокойно, как давно решённое:

— Так. Но не это главное. Капиталисты никогда не успокоятся, что есть страны социалистические. Война тайная, кое-где открытая, будет идти беспощадно, пока есть две системы. Если уступим, уйдём из всех стран, где сейчас идёт борьба, значит, они перенесут её на нашу территорию. Как с Гитлером: сколько ни отступали, а всё равно пришлось где-то остановиться и стоять насмерть. Плохо, что на своей территории. Был такой приказ Сталина, номер двести двадцать семь, от двадцать восьмого июля сорок второго года. «Ни шагу назад» — его называли. За самовольное отступление — расстрел. Только так.

— Во — видал?! Масштаб мысли партийного руководителя, — Афанасий Иннокентьевич с прищуром посмотрел на Каретова. — А всего четыре класса образования! Да. Так вот: не только под страхом наказания, но и добровольно шли на смерть — такое было воспитание! А сегодня что? Стыдно сказать, до чего дожили: специальные магазины для ветеранов войны открыли, потому что иначе им куска мяса не купить! И тут — по норме! А если ко мне дочь с внуком в гости придут, чем я их буду угощать? Или пусть они с собой приносят? Так у них нет. И ведь что творят наши нынешние деятели: мало того, что у них в сером доме, — Афанасий Иннокентьевич ткнул большим пальцем куда-то себе за спину, — столовая и буфет, где всегда можно продуктишек взять, так ещё ведь и в наш магазин прут! Вот что поразительно! Прихлебателей в очереди больше, чем участников войны. Я как-то раз говорю одному молодому: «Куда лезешь? Ты инвалид? Ты воевал?» Бесплезно!

— Ну, кажется, тут могут быть изменения, — заметил Владимир, — сейчас больше стали говорить и писать о всяких нарушениях. Гласность. Раньше нельзя было сказать, что коммунист такой-то — редиска, то есть, жулик...

— А теперь — можно! — подхватил Афанасий Иннокентьевич ехидно. —

Гласность появилась? А что мне от неё? Легче стало оттого, что я теперь знаю: воруют больше, чем я думал? Демократия? Колбасу машинами в лес вывозят, отличную колбасу выбрасывают, а в магазине за ней давка. Рыбы нет, а целый вагон минтая прямиком на свиноферму отвезли — свежайшего! На кой хрен мне такая ваша свобода, когда вместо того, чтобы посадить жулика в тюрьму, чтобы другим неповадно было, начинают разводить демократию-демагогию, рассуждать, почему это случилось, и искать виновных на стороне? Тем более, если член партии ворует, то не скажешь, что он делает это по ошибке, по недомыслию. Нет, раз партийный, значит — сознательный. И ворует сознательно! Совершает тем самым политический акт — дискредитирует партию. К нему не может быть применена обычная мера наказания, его надо карать, помимо воровства, за идеологическую и нравственную диверсию. Тут я с Вышинским полностью согласен: он правильную базу подводил. У нас же сейчас наоборот: рядового обязательно посадят, а руководящему партийцу только выговор дадут, или вообще замажут дело. Вы мне скажите, кто организует дефицит товаров, и какое ему дали наказание. А вот об этом, кстати, не пишут и не говорят.

— Почему? — улыбнулся Каретов. — Вы же говорите.

— Я?! — удивился Афанасий Иннокентьевич и засмеялся: — Верно. Но что толку? Может, это линия такая сейчас: дать выговориться всем, чтобы пар спустить, а заодно и выявить крикунов, чтобы знать, кому нужно рот заткнуть. А? А-а! Одни разговоры, дела-то нет.

— Как нет? Возьмите хотя бы противоалкогольное постановление. Сильная штука: прямо-таки переворачивает сознание.

— Пустое! Вдули цену на водку, организовали огромные очереди, а что получилось? То, что я, инвалид, к празднику не могу бутылку вина купить, а ханьги пьют, как и прежде. Продавцы-спекулянты наживаются теперь вдвойне. И все достижения. В указе сказано, что вина надо больше выпускать, вместо водки, так, говорят, на юге виноградники стали вырубать! Это кому на пользу? Всё делается наоборот! Что за власть такая, которая не может заставить выполнять свои распоряжения?

— Нет, зря вы, Афанасий Иннокентьевич, так говорите. Я вот знаю: в политехническом институте сразу четырёх студентов выгнали. Застали их в комнате общежития за выпивкой и — пинка! Причём сами студенты были за то, чтобы исключить. Установилась ясность: алкоголь — зло, и потому вне закона.

— Правильно: на первых порах какой-то эффект и должен быть. Но всё вернётся к старому — вот увидишь. Потому что, опять же говорю, простого Ваньку наказывают за пьянку, а начальника, с которым Ванька пил, нет. Вот в чём беда! Если уж решили кончать с этим делом, надо идти до конца: запретить полностью, ввести сухой закон и следить за выполнением его строго. Иначе опять двойная игра будет продолжаться: на трибуне мы трезвенники, а под трибуной — собутыльники. Это же ещё сильнее развращает народ, чем открытое пьянство. Сталин бы действовал решительно!

— Но ведь он-то и ввёл государственную торговлю спиртным!

Афанасий Иннокентьевич вздохнул, снял очки, засунул их в футляр, посмотрел Каретову в глаза, обдумывая что-то, и собираясь возразить.

— Да, — вяло, будто нехотя, подтвердил Сергей Сергеевич, — в двадцать пятом году ввели монополию, я помню. Кстати сказать, государственная монополия — благо, а не вред, зря на неё нападают.

— Разве я его защищаю? — Афанасий Иннокентьевич, продолжая свою мысль, повернулся со стулом так, чтобы покалеченная рука легла удобно на стол, как на подлокотник кресла. — Я только говорю, как бы действовал Сталин, если бы решил прекратить это дело. Прекратил бы! Зато он требовал главного: надо работать. Ра-бо-тать! И работали. Пить было некогда. Вот скажи, Сергей Сергеевич, кто и когда внушил нам, что счастье человека заключается в том, чтобы получать максимум благ и всяческих удовольствий с наименьшими затратами труда, а по возможности так и вовсе без него? Раньше, при Сталине, работали во имя светлого будущего, во имя коммунизма. Идея вела человека к станку, а теперь что? Стимул. Причём материальный стимул поставлен даже в новой конституции впереди морального! Я недавно прочитал в одной книжке, что стимулом, оказывается, назывались такие острые палочки, чтобы подкалывать рабочую скотину и ленивых рабов. Рабов! Вот до чего мы дожили после смерти Сталина.

— Ну уж! — возмутился Каретов. — Я с вами не согласен. Это при нём-то как раз и работали, как рабы, целыми сутками, а получали за это крохи. Теперь-то никто с голоду не умирает, а вспомните...

— Э-э, нет! — перебил его Афанасий Иннокентьевич. — Вот тут и зарыта собака: работать много ещё не значит быть рабом. Если ты трудишься до изнеможения, но знаешь, во имя чего, то ты не раб. А когда ты не хочешь трудиться и лишь отбиваешь номер за свою похлёбку, тогда — да, даже если у тебя самый короткий в мире рабочий день и хорошая зарплата, вдобавок к похлёбке. И когда я иду в магазин, где мне дадут, глядя в список, кусок колбасы, который тебе не дадут, то я понимаю, что так специально сделано, чтобы мы, те, кто воевал, не вякали, что народ — голодный. Этой колбасой мне затыкают рот, и я молчу! Ты посмотри внимательно: у каждой категории людей есть своя какая-то особая льгота, своя затычка. Причём, чем выше должность, тем больше льгот, тем сильнее человек повязан. Так какая же тут гласность, когда во рту у тебя что-нибудь торчит? И какая с такой непрожёванной гласностью будет перестройка? А? Этими подачками нас разделяют, чтобы мы не объединились. Нас к чему-то ведут, понимаешь? Нам готовят такую свинью...

— Не морочь человеку голову, — сказал сердито Сергей Сергеевич, поднялся, побряхтывая, пошёл из палаты, бросив напоследок: — Ты своё отжил, а молодому ещё жить. Будет брякать, что ему ветеран напел, нахлебается горького до слёз!

— Не нравится, — засмеялся Афанасий Иннокентьевич вслед. — В своё время ты бы меня живо пристроил, приструнил, а? За Володю не беспокойся, у него, наверное, институт за плечами, — Каретов кивнул, — он больше нашего знает, что следует говорить.

Сергей Сергеевич, задержавшись в дверях, так ничего больше не добавил, ушёл, почему-то осердившись, хлопнул дверью.

— Вот, — Каретов засмеялся, — сами вы себя и опровергаете: перестройка идёт, если можно стало без оглядки говорить то, о чём раньше боялись думать. Хотя, признаться, я не понимаю пока главного, что нам, народу, надо делать?

Они сидели с минуту молча, потом Афанасий Иннокентьевич задумчиво прозвёл:

— Это, конечно, правильно, что дали людям возможность высказываться открыто. Наверное и старпёров из Политбюро пора на пенсию отправить. Это хорошо. Но беда в том, что выросло уже поколение, которое не умеет и не хочет трудиться. Это поколение добровольно от своего куска не откажется, а если дармовой

кусок у него отнять — не поймёт. Вот — горе. В войну бабы с ребятишками всю страну кормили да ещё и армию вооружали, а теперь все вроде бы работают, а кругом — дефицит. Как это понять? Для чего? — ещё помолчали. — И мне, когда я иду в свой магазин за подачкой, стыдно, мерзко, но иду, потому что больше взять негде. И стыдно потому ещё, что тоже уже развращён. Двойная мораль нас погубит. Двойная мораль опаснее вражеской пропаганды! И я чувствую собственным желудком, всей шкурой, что её нам вдалбливают в сознание умышленно!

Глава 20

— Шо со мною было?

Спрашивая, что с ним было вчера, Фиалко внимательно всматривался в лицо Каретова, пытаясь по его выражению понять, о чём они говорили с Савельевым, когда вышли из палаты. Каретову было и жаль Алексея Федотовича за притворство, за явно преувеличенные страдания и... за его одиночество, и в то же время было неприятно смотреть на него, словно это они оба были участниками неприглядной сцены.

— Не знаю, — сказал Каретов насколько мог сочувственно. — Врачи разберутся.

Роман встал с койки, повернул настройку громкоговорителя, какое-то время все слушали радио, оно навело Фиалко на очередную мысль.

— Когда против алкоголиков Указ, то я понимаю, правильно Горбачёв делает, надо порядок наводить.

— Что правильно?! — возмутился Кадочкин и выругался. — Я почему должен три часа за бутылкой в очереди стоять?

— Кто тебя заставляет? Не стой.

— Да?! Жизнь заставляет! Ты вот живёшь один, пенсию получаешь и зарплату. На триста рублей можешь хоть икру покупать, но ты ещё в специальном магазине продукты берёшь по госцене — можно рассуждать! А мне эти три сотни без бутылки не заработать. Я только на рынке могу мяса купить, втрое дороже, а у меня — семья! Старший, правда, работает уже, но он отдельно живёт, короеда уже состряпал и тоже с родителей понемногу тянет, а младшего доучивать надо.

— Шо тебе за водку на работе деньги дают?

— А за что же? За кисель мне мастер выгодной работы не даст, а ему без пуща начальник цеха такой план ввалит, что он о премии и думать забудет; или заготовок нет, или резцов — они всегда найдут, чем тебя прижать. Я воровать с торгашами не захотел, вернулся на завод, а там уже по-своему жульничают. С кем рабочий пьёт? С мастером. А тот — с начальником, а тот начальник своего начальника угощает. И пошло, и поехало... Остановите это колесо, я вам спасибо скажу. А то: правильно! Кроме трёпа о перестройке ничего от них не услышишь, а мне она вот где!

— Да, — Фиалко повернулся к Каретову, — шо она такое, перестройка? Шо означает?

Каретов вздохнул:

— Я бы вам, Алексей Федотович, объяснил, да сам толком не разобрался. Я думал сначала, что работать лучше надо, но ведь и раньше тоже требовали, чтобы работали хорошо. Верно?

— Так.

— Когда начальник проворовался, и его судят — это я понимаю: туда ему и дорога. Но говорят, что надо перестройку начинать с себя. А если я не жулик и работать всегда стремился хорошо, тогда как мне перестраиваться?

— Так, — согласился опять Фиалко. — Я вижу, шо вы человек грамотный и добросовестный, вы и без кнута работать можете.

— Вот именно, — усмехнулся Каретов, — без стимула. В общем, поживём — увидим.

Фиалко вздохнул, отвёл взгляд, помедлив, полез рукой в тумбочку, достал из неё кусок толстой колбасы, завернутый в газету, ломтики хлеба, которыми он запаса загодя в столовой, отрезал от колбасы круг и начал есть, вдумчиво, степенно, основательно.

Каретову сделалось неловко: одного старика пригласили поужинать, напоили чаем, а другого нет.

— Нехорошо получилось, — сказал он в коридоре Кадочкину, — отделили Алексея Федотовича, он уж при нас ужинать едва решился.

— Чего? Стесняется?! Да ты знаешь, что он вытворял до тебя? Парень, что на твоей койке был, чуть в окно его не выкинул!

— За что? — удивился Владимир и засмеялся: — Такого и вчетвером не поднимешь.

— Тот парень здоровый был, да и ты, если освирепеешь, выбросишь...

— Да за что?!

— А он ночью по тумбочкам у нас шастал, жрал, что ему понравится.

— Не может быть!

— Мы утром сестре сказали, а он хоть бы что, смотрит на нас бесстыжими оловянными глазами и говорит: «А шо? Я обратно усё поставыв», — Кадочкин очень похоже изобразил ветерана, хохотнул: — Котлеты у Гришки, того парня, стрескал, а баночку «поставыв на мисто». Хорошему человеку не жалко, а этому бандере... — Александр почесал в задумчивости живот под футболкой: — Нет, ну, попросил бы по-человечески — всегда пожалуйста.

«Неужели и в других палатах так?» — думал Каретов, лёжа на кровати, спустя полчаса, и глядя на усеянный давленными комарами потолок.

Ему раньше представлялось, что в больницах лежат люди тихие, мирные, отрешённые от мирских сует, объединённые общей бедой — болезнью. У каждого своя боль-тревога, но заставляющая если не думать постоянно, то хоть иногда вспоминать о смерти, и потому быть внимательными друг к другу, заботиться о соседе, который в нужную минуту придёт на помощь тебе. Это — закон, а иначе как выжить? Но оказалось, что одно другому не мешает: можно и заботу о человеке проявить и в то же время открыто презирать его или даже ненавидеть. И Каретов чувствовал, что он уже тоже утратил состояние сострадательной нейтральности и втягивается в порочный круг неприязненных взаимоотношений и тоже готов проявить нетерпимость к отвергаемому всеми Фиалко. Но за что? Все люди не без недостатков, к старости скрывать их труднее, самоконтроль у человека ослабевает — надо понимать это, иначе во что мы превратимся, если только и будем делать друг другу наперекор? А Фиалко крупный, его организм манной кашей не удовлетворить, живёт один, из дома ему никто ничего не принесёт. «Кстати, где он колбасу взял?»

— Алексей Федотович, — Каретов повернулся на бок, Фиалко сидел, наклонясь, на кровати, глядел сквозь очки в газету, лежавшую на тумбочке.

— Я слушаю, — Фиалко снял очки, выпрямился, как перед начальством.

— У вас квартира однокомнатная?

— Да. У меня хорошая квартира, — благодарно и охотно отозвался Фиалко на вопрос, — такой потолок высокий, а на кухне ещё другая комната получается. Такая кухня большая, как комната. Это дом ещё старый, у его стенки аж в два метра. Я сюда пошёл и отключил батареи, как вы думаете, не заморозится моя квартира?

— Не угловая?

— Нет. Посередке, на втором этаже.

«Загнул старик, — подумал Каретов, — два метра — таких не бывает, не крепостная стена, а жилой дом». Вслух сказал:

— Если стены толстые, то не должно разморозить. Стояк горячий через квартиру всё равно идёт, и в ванной труба с горячей водой есть, да?

— То верно. И ещё на кухне.

— А вы никого не пускаете к себе? На время. Так бы, глядишь, хоть квартиранты навелили вас раз-другой.

— Ко мне приходив один товарищ, два раза.

— Это он колбасу принёс?

— То он.

— Товарищ с работы?

— Не. Он по этому делу назначенный. У его такая тетрадка есть, где записано, кому помощь требуется, кто скоро помрёт — чтобы похоронить. Я болею, он до меня пришёл...

— Пойдите. Это от ветеранов, что ли?

— Ну, я же говорю: должность у его такая.

— Интересно, — Каретов заложил руки под голову, лёг на спину.

Вот так: есть, оказывается, люди, которым по должности положено заботу проявлять. Это надёжнее, чем профсоюз, какие-то там родственники, друзья или знакомые. У друзей и знакомых своих дел полно, могут и позабыть или не знать, а тут — порядок, у человека всё в специальной тетради расписано: кого просто навестить — один список, кому помочь в чём-то — другой, а в отдельном реестре — кандидаты в покойники числятся. Какой одинокий старик, или старуха, умрёт, а на его жилплощадь уже новый хозяин есть. Почему же Савельеву до сих пор не дали квартиру? Или он в те списки не записался?

— Ефим Михайлович, — Каретов приподнялся на кровати, — тот раз я вас забыл спросить: вы почему насчёт квартиры в военкомат не обратились? Они же должны помочь.

— Хм! — Савельев сел, недовольно пошевелил губой. — Ходил я и к ним, и в райисполком, и в горисполком. Кому только не писал! Они приезжали. На чёрной «Волге» — из горисполкома, председатель. Походил, посмотрел, сказал: «Да, да, надо давать». Уехал — и с концом. Райвоенком на «бобике» прикатил, тоже пообещал: «Дадим обязательно!» Это ещё в позапрошлом году было. Ну, вот! — у Савельева непроизвольно сложился кукиш. — Правда, один раз вызывали меня и спросили: «На подселение пойдёшь?» Я отказался: на кой хрен я кому сдался на подселение? «Нет, — сказал им, — у меня припадки бывают».

— Что, действительно бывают?

Савельев засмеялся:

— Нет, это я так, чтобы отвязались, а то запишут, что давали, а я отказался. Когда меня вызвали орден получать, мне так обидно стало, обозлился, хлопнул

коробочку об стол и сказал майору: «Вы меня обещали к юбилею квартирой наградить!» Повернулся и пошёл вон!

— Не взяли? — ахнул Роман.

Савельев глубоко вздохнул, невидяще смотрел в стенку, выжидая, когда перекипит давняя обида.

— Взят, — он опять вздохнул. — Майор мне вслед закричал: «Вернитесь!» Я иду. Он опять ка-ак заорёт: «Сержант Савельев! Вернитесь! Я вам приказываю!» Ну, я и вернулся. Взят.

Савельев свесил голову, посидел в задумчивости с минуту, потом посмотрел на Каретова:

— Взят. А майору сказал: «Ноги моей больше у вас не будет!»

В эту ночь Каретов долго не мог уснуть. Не потому, что донимала боль. Чувствовал он себя как никогда прекрасно, и стал уже подумывать о том, что если с болезнью всё обойдётся, надо будет ограничить себя в еде. Организм подсказывает: набивать брюхо вредно. Всё живое так устроено, что не терпит избытка. В этом — суть и какая-то сокровенная тайна природы, не имеющей сознания, но разумной, отторгающей любые излишества, как нечто враждебное жизни.

Мысль о самоограничении непонятным образом связывалась со всем тем, что пришлось ему увидеть и услышать за последние дни. Припомнился разговор между двумя женщинами, который он вынужденно подслушал, когда в первый день пребывания в стационаре сдавал кровь на анализ. Женщина средних лет жаловалась старухе, что дочь у неё с мужем разошлась.

— Только три месяца прошло, как родила, и на тебе: разбежались! И что им надо? Дом свой, бабушка её, моя мама, умерла два года назад, ну, пусть неблагоустроенный, но колодец во дворе, огород хороший, и смородина есть, и вишня посажена. Дров мы им привезли, — она горестно вздохнула: — Уж такая была любовь... Трах-бах — готово! Он — к своим, она — к маме под крылышко. Вот тебе, мама, лялька и пелёнки-распашонки. Ходили с мужем к нему — ни в какую! И моя тоже: «Провались он!» Я расстроилась, аж заболела: куда она теперь? Кто замуж возьмёт с таким довеском?

— Это ничего, — покивала головой старушка, — теперь всяких берут, и с ребёнками, теперь не поймёшь, что им надо.

— Ага, — несчастная женщина ждала именно такого ответа, он её немного успокаивает, — но ведь сердце болит, когда же теперь у неё наладится жизнь? А там, не дай Бог, опять какой-нибудь ухарь попадётся, и другую ляльку опять мне? Что случилось с нынешней молодёжью? Кого ни возьми — все разводятся. Что их мир не берёт?

У старушки и на этот счёт есть суждение:

— Дак ведь работать не приучены.

Собеседница посмотрела с недоумением:

— При чём здесь работа?

— Семья же заботы требует, — пояснила старушка, — то дрова принести, то воды согреть, то постирушки — трудно с непривычки. Пока у папы с мамой на всём готовом живут и ни перед кем обязанностей нет, тогда — любовь. А вместе сойдутся, тут-то и окажется, что любовь тоже труда требует. Характеры тоже. Туда не пойдёшь, этого не приводит. Он — к ней, она от него, устала от работы. Вот и не уживаются — трудно.

Не подслушал ли тот разговор женщин Афанасий Иннокентьевич? Очень уж

его рассуждения о первоисточнике всех бед в государстве схожи с выводом старушки, что в развале семей виновато неумение и нежелание молодожёнов трудиться. Они, наверное, правы. Они по опыту знают: единственное, что не во вред человеку — это труд; труд даже изнурительный укрепляет человека, продляет жизнь людям.

«Ба! — Неожиданная, как холодный душ, мысль поражает Каретова: — Если от неумения и нежелания работать распадаются браки, то от того же самого и государство может развалиться?!»

Так уж устроен человек, что когда заболит у него душа, то он стремится найти первопричину всех причин, вычислить такой знаменатель, чтобы он объединял все возможные дробы жизни.

«Да существует ли этот знаменатель?» — думал Каретов. Ведь у каждого своя правда: у Кадочкина — одна, у Савельева — другая, у Фиалко совсем противоположная, и у старухи не такая. Как же так? Ведь это, в основном, одно поколение, дети тех, кто свершил революцию. Сами они страну из одной разрухи подняли, вынесли все тяготы второй мировой, заплатили кровью за мирную жизнь, снова всё разрушенное восстановили и выстроили... Себя не щадили ни в войне, ни в работе, а детей и внуков холили и нежили, жалели, не допускали до работы, делали всё, чтобы чада не узнали не только несчастий войны, но и забот и трудностей обыденной жизни. И добились своего. Новые поколения росли счастливыми, счастливее всех когда-либо живших на земле людей. Всё получили: жильё и добротную одежду, хлеб и вино, и пиво, и развлечения, избавились от непосильного труда... и не только непосильного. Получили все удовольствия, которые составляют то, что подразумевалось под счастьем. И получив всё, или почти всё, почувствовали себя обманутыми и... несчастными. Быть может, несчастнее своих искалеченных или просто работой загубленных родителей. Почему? Неужели радость напряженного труда — это и есть главный компонент счастья?

И мораль людей, которые не работают, совсем другая. У них своя истина: где выгода, там и правда. Самым выгодным становится ныне такое положение, когда можно получать всё, не делая ничего. Во все времена правда была одна, простая и доступная даже ребёнку: есть добро и есть зло. Добро создавалось трудом и любовью, и эти нравственные начала впитывались с молоком матери.

А теперь для нас исконная правда стала нежелательна, потому что нужна нам такая правда, которая позволяла бы обходиться без труда. «Но такой правды нет».

Глава 21

— Что делать с браслетом? — Савельев вновь крутил часы в руках. — От лекарства у меня, что ли, голова дурная, ничего не могу сообразить.

— Там звенья выниматься должны, — сказал Каретов, — только я забыл, как это делается.

Роман поднялся молча с кровати, подошёл к Савельеву, взял часы, осмотрел браслет.

— Сейчас сделаем, — достал из тумбочки сумку, выудил из кармашка охотничий нож, пошёл к подоконнику, стал возиться с браслетом. Минут через десять сказал: — Готово. Попробуйте.

Савельев сидел задумавшийся, забыл о часах; встрепенулся:

— А? А-а! Ну-ка, ну-ка... — надел часы на руку, обрадовался: — Хорошо. Лучше. Ага.

— Слабовато, — заметил Владимир, — ещё одно звено надо бы убрать.

— Давайте, уберу.

Ромка ещё поколдовал на подоконнике, и скоро оба довольные — и старик, и молодой — лежали на своих надоевших кроватях.

Каретов всё время, пока Роман укорачивал браслет, ждал, что вот-вот вспомнится спор о том, чьи часы шли точно, а чьи ввали. И выяснится, конечно, что не часы Фиалко ввали, а он сам, когда говорил, что сверил их по радио. И опять будет ссора. Но обошлось.

Фиалко приснился кошмарный сон: на него шёл Звягин, всё ближе, ближе... Надо было бежать, а ноги онемели и не двигались. Сердце надрывалось, Фиалко задыхался от напряжения, пытаюсь руками оторвать ногу от земли, но сил не хватало. А Звягин уже совсем рядом, уже видны красные глаза его, которые буравчиками впииваются в лицо бывшего товарища по оружию, уже слышно его дыхание и запах никотина. Фиалко хочет что-то крикнуть, но у него перехватывает дыхание, он... просыпается.

Астма его давит каждую ночь, и почти каждую ночь его преследуют кошмары. Алексей Федотович сел на кровати, сделал, наконец, вдох. Нащупал ногами тапочки, прислушался: дыхания Кадочкина не было слышно, наверное, не спит. Фиалко вздохнул огорчённо и глубоко и пошлёпал в туалет. Он знал, что позыв напрасный, и можно было бы попытаться помочиться в банку, но Кадочкин услышит и поднимет хай.

Вернувшись, Фиалко сел на кровать, в темноте нашарил в тумбочке хлеб и колбасу, начал есть. Когда он начинал жевать и проглатывать пищу, наступало успокоение, ком в груди исчезал, проваливался куда-то, наверное в желудок, становилось совсем легко.

Лёг. Но некоторое время лежал с открытыми глазами, ему казалось, что стоит смежить веки, и Звягин появится вновь. Звягин стал частым героем снов Алексея Федотовича с тех пор, как они встретились наяву.

Было это минувшей осенью, тёплым тихим вечером, когда Фиалко наслаждался, сидя на скамейке в сквере, покоем и прощальной солнечной лаской. Никто его не тревожил, никто не ждал, никуда не надо было идти, и, разнеженный сладкой полудрёмой, он не обратил внимания на человека, который сел, чуть поодаль, на его скамейку. Человек сел и затих, ни шевеления, ни дыхания его не было слышно. Прошло пять или десять минут. Неслышное это присутствие постороннего вызвало в душе Алексея Федотовича некоторое беспокойство: так бывает, когда за твоей спиной стоит человек и сдерживает дыхание.

Фиалко слегка повернул голову, скосил глаза и удивился. Неподалёку от него спал, сдвинув фуражку военного образца на самые очки, худой старик. Одет он был необычно: в закрытый и застёгнутый на все пуговицы китель без погон и в галифе, заправленные в высокие блестящие голенища хромовых сапог. На кителе высоко, почти у самого стоячего воротничка был привинчен орден Красной Звезды. Поджарая фигура, облачённая в столь странную одежду, что-то напоминала, и Фиалко стал всматриваться в лицо старика, но оно, закрытое наполовину козырьком и очками, ничего не говорило ему. Худощавое, тщательно выбритое, но в чёрных крапинах, мелких и частых, проступающих из-под кожи щёк — оно было незнакомо Алексею Федотовичу, за это он мог поручиться. Но большой рот с крупными губами ему кого-то напоминал.

Спящий вдруг очнулся, почувствовал ли на себе взгляд, или же краткого отдыха ему было достаточно, но он быстрым движением поправил фуражку, слегка, резко, повернул голову и успел поймать направленный на него взгляд Фиалко. Линзы его очков очень толстые, и потому за ними глаза были сильно увеличены, казались неприятно выпуклыми, а красные прожилки сосудов — словно кровавые ветви на желтеющем льду белков — создавали жуткое впечатление.

Фиалко ахнул в душе: перед ним сидел живой Звягин! Тогда как он не мог быть живым!

— Ты, Алексей? — Звягин спросил спокойно, будто бы не удивился встрече с бывшим своим подчинённым, принял это как должное, словно бы они расстались вчера. — Смотри-ка: почти не изменился, раздобыл только.

Положив ногу на ногу, Звягин устроил на худом обтянутом сукном колене ладони, одна на другой — вены на руках у него вздулись жгутами, они не синие, а, скорее, зелёные, под цвет галифе, пальцы узловатые, длинные и всё ещё, видимо, сильные. Звягин устроился удобно, посмотрел, повернув голову, в сторону аллеи.

Дорожка её была посыпана красной кирпичной крошкой и казалась алым бархатным ковром, обрамлённым зеленью газона и кружевом ветвей деревьев и кустарников, листья которых рдели золотом самой разной пробы. И листья же медалями устилали и траву, и кирпич, и странно было, что не слышно звона при падении их на землю.

Молчали, будто бы они не расставались много лет назад, и потому говорить им не о чём.

— Такое дело, — сказал наконец Фиалко утвердительно, — ты здесь живёшь. Давно?

Они и прежде были на ты, а имя своего капитана Алексей Федотович от неожиданности вдруг забыл.

— Давно, — они так и сидели на разных концах скамьи. — С пятьдесят второго, — Звягин снова посмотрел своими жуткими глазами на Фиалко; взгляд у него немигающий, и прежде выдержать его было трудно, теперь же и вовсе невозможно. Фиалко отвернулся, посмотрел на проходившую мимо пару.

Парень, обняв свою подругу ниже талии, шёл вразвалку, поглядывая по сторонам независимо и гордо. Обычно при виде такого безобразия в душе Алексея Федотовича поднималась волна негодования и нестерпимое желание навести порядок, но на этот раз что-то в нём не сработало, он видел парочку, но не воспринимал её.

— Дали мне десять лет и пять «под зад», — напомнил Звягин. Фиалко кивнул. — Год я хлебал лагерную тюрю, потом мне повезло: включили в команду уголовников и отдали нас геологам. Потому, может быть, что я подрывное дело знал. Там мы у них бурили шпур, закладывали взрывчатку и рвали. Весёлое дело. И что хорошо: геологи охотились в тайге и нас подкармливали. На свежем воздухе да с пайком, что не работать? Ночью только за проволоку. Ну, совсем недолго я у них пробыл. Там бабёнка была одна, и ревность, конечно, появилась у мужиков, а ещё пуще у экзков. Один из лагерников устроил: мне ямку надо было углубить... Я пока в другой ковырялся, бурил под заряд, он детонатор на дно установил капсулем вверх и присыпал. Я когда начал ломиком долбить, попал по капсулю, он взорвался.

Звягин замолчал. Фиалко искоса взглянул на него: неужели капитан настолько наивен, и до сих пор не знает, что отправить работать бывшего «мента» вместе с уголовниками значило то же самое, что вынести ему смертный приговор?

— Меня же и обвинили в нарушении техники безопасности! Повезло мне, что в лицо попали лишь мелкие камешки, а то бы — каюк! Глаза испортил подлец, я почти год в госпитале провалялся, думал: останусь слепым, но часть зрения восстановилась.

— И что? После того выпустили? — изумился Фиалко.

— Нет. Я письмо Сталину написал. Всё изложил подробно по своему делу, и меня освободили. Награды только не вернули. Сказали, что те номера, которые я указал, не соответствуют, орден только обратно получил, и всё! И пенсию я отхлопотал, доказал, что не по своей вине пострадал и стал инвалидом. Приехал в город и чуть не сдох здесь. Платить мне должны были геологи, а у них управление аж в Хабаровске — не высылают деньги, хоть ты удавись! И работать не могу. Да и не умел я ничего. А хоть бы и умел — нельзя работать, тогда пенсию выдавать не будут. Возле одной доброй старухи пристроился, полгода кормился, пока получил первые гроши. Причём за то время, что я денег не получал, ни рубля не выслали. Сволочи! — Звягин помолчал, переменял ногу и поменял руки местами, грел одну под другой. Опять взглянул немигающими глазами в лицо Фиалко. — На ту пенсию собаку впроголодь не прокормить, а мне же и одеваться надо и за жильё платить. Устроился я втихаря в одну шарашкину контору счетоводом. Так нашлась сучка бдительная, соседка, еврейка: заметила, что я регулярно утром куда-то ухожу, а возвращаюсь вечером. Заявила. Меня — в суд. И загремел бы опять, если б один пенсионер — опять же еврей, юрист — восемьдесят лет ему было! — не пожалел меня и не выступил. Он всю мою переписку собрал, и так ловко всё это преподнёс суду, что отделался я только испугом. Но с работы пришлось уволиться.

— А теперь? — Алексей Федотович не хотел, чтобы Звягин его о чём-нибудь спрашивал, особенно адрес не хотел давать, и потому поспешил задать новый вопрос ставшему разговорчивым бывшему товарищу.

— Теперь нормально. Когда Брежнев провозгласил: «Никто не забыт, ничто не забыто», я ему письмо написал. Так, мол, и так: инвалид я, участник войны, а вынужден скитаться, как пёс, по чужим дворам, пенсия нищенская, своего угла нет, и так далее. Не знаю, кто письмо это читал, только бумагу я заполучил, что надо меня устроить по-человечески. Так наши градоначальники ещё восемь месяцев меня муржили, пока поняли, что им не отвязаться. Дали однокомнатную, в старом доме, но благоустроенном. И подрабатываю. Езжу в экспедицию со съёмщиками летом, временно устраиваюсь. А то по весне паданку, орех, подряжусь собирать — нормально.

Звягин опять заглянул глубоко в Алексея Федотовича, аж до печёнки достал, сказал без перехода:

— Ты, вижу, благополучный пенсионер.

Фиалко кивнул молча, и Звягин больше не любопытствовал, нервно потискал поочерёдно озябшие кисти рук, вдруг поднялся и, забыв попрощаться, пошёл было прочь. Со спины он ничуть не изменился за эти годы: такой же стройный и тонконогий, в длинных облегающих икры сапогах, начищенных до блеска, и в зелёной форме. И выправки почти не утратил, плечи лишь чуточку опустились. Вдруг он остановился, круто, как по команде, развернулся кругом и вернулся. Подошёл почти вплотную.

— Не обращай внимания, что я тут рассурился, — усмехнулся Звягин. — И ты не раскисай. Время такое сейчас подошло — мы ещё можем пригодиться. Ты в прокуратуре работаешь?

И ушёл, не дожидаясь ответа у онемевшего Фиалко. «Откуда он знает о прокуратуре?!»

Больше они не виделись. Алексей Федотович разлюбил сквер и свою скамейку в нём, и на улице пока от встречи судьба его хранила, но вот во сне от Звягина некуда было деваться, он смотрел сквозь толстые линзы кровавыми глазами и, упруго шагая по красной дорожке, приближался неотвратно, нервно массируя свои длинные пальцы.

«Что он имел в виду, когда сказал, что мы можем пригодиться?»

Глава 22

Утреннего обхода врача тридцать первого декабря Каретов ждал с волнением и надеждой: Елена Андреевна должна была наконец сказать ему, каковы результаты анализов и, главное, что показал рентген. Ещё там, в рентгенкабинете, по коротким репликам рентгенолога, миловидной невысокой женщины в очках — Каретову почему-то казалось, что очкарики рентгенологами не бывают — он понял, что с желудком у него почти всё в порядке, но «забрасывает» в него из желчного пузыря, отсюда и боли. Если пища временами движется в обратном направлении, сделал вывод Владимир, то есть какое-то препятствие в кишечнике, которое мешает ей двигаться нормально. Елена Андреевна уже два дня уходила от вопроса: «Что же там мешает?»

— Мне ещё описание не принесли, — оправдывалась она, — я ничего не могу сказать.

Он сердился, но сдерживал себя и не задавал ей второй вопрос, который крутился на языке: «А сами-то вы совсем не понимаете, что на снимке?»

Другая причина, отчего волновался Каретов, была та, что он надеялся получить разрешение уйти на праздничные дни домой, а отпустят ли — это, как он полагал, зависело от того, как он сумеет построить разговор с врачом. Она была доброй — факт, но малоопытной и не очень уверенной в себе. Если не убедить её, что никакого нарушения больничного режима нет, поскольку он не считается больным, то куковать ему в больничной палате самые лучшие дни в году.

Встреча Нового года — праздник особенный. Из глубины души, из далёкого детства наплывали смутные трепетные ожидания неизвестного, сказочного таинственного чуда. Ну, пусть он давно уже не верит в чудеса, но сердце всё равно распускается нежным цветком ожидания счастья и готово с благодарностью и лаской откликнуться на такой же зов в родном человеке. От тёплого дыхания любимой женщины, быть может, немного позабытой в суматошном беге дней, разливается, заполняя всё своё существо, бальзам благодарной веры в то, что не позабыты самые счастливые минуты прошлого, не до конца растрочены чувства, и впереди ещё не раз блеснёт среди скуки серых будней луч радости от возвращения в мир надежд и грёз.

И ещё, хоть не верил Владимир в приметы, но одному правилу следовал неизменно: новогоднюю ночь надо быть дома, непременно дома, и не больным, тем более, а здоровым, весёлым... Любить и быть любимым. Приметы — вздор, конечно, но кто знает: вдруг наступающий год пройдёт именно так, как ты его встретишь?

Ромку волновали те же проблемы: как удрать домой?

Томился желанием побывать дома и Савельев; два дня, подходя к окну, он не видел дыма из своей трубы — в их старом двухэтажном доме было печное отопление, что там с Любой? «Чудит» в общежитии, наверное, а к нему протопить не заходит, квартира выстыла до основания... И была ещё у Ефима Михайловича тайная заветная радость и печаль, о которой никто на свете не знает, и которая вот уже девятый год греет его сердце и наполняет сладостной тоской...

— Полундра! — сказал Кадочкин, рысью вбегая в палату. — Начальство с обходом идёт!

После утренних лечебных процедур и завтрака он, по обыкновению, уже успел устроиться в соседней палате с друзьями за картами, и только бдительность дежурной медсестры спасла картёжников от нагоняя. Александр на ходу сдёрнул с себя кофту, стащил затем трико, сунул их комом в тумбочку, нырнул под одеяло и замер, как образцовый больной.

Вместе с Еленой Андреевной и заведующей отделением Евгенией Бруновой шествовала целая группа в белых халатах; Каретов, увидев эту процессию, приуныл: никакого разговора о доме сейчас не может быть, придётся дожидаться, когда обход закончится, а удастся ли тогда её увидеть — Бог весть. Кто их, этих врачей, знает, что они выдумают в последний день старого года!

Елена Андреевна прошла к окну, повернулась лицом к коллегам и, волнуясь, стала рассказывать историю болезни Кадочкина. Врачи слушали внимательно, будто никогда прежде не встречали ничего подобного. Потом всё в точности повторилось с Фиалко.

Рассказывая о Каретове, Елена Андреевна дважды запнулась, зарделась под внимательными взглядами, употребила фразы на латыни. Владимир и вовсе приуныл: раз ему что-то не положено о себе знать, то дело дрянь, болезнь, значит, есть. И домой попасть шансов мало.

Когда все больные были представлены комиссии, и они уже приготовились вздохнуть с облегчением, нормальное течение обхода нарушилось. Евгения Бруновна не поторопилась в следующую палату, застопорив начатое движение врачей и глядя прямо в лицо Фиалко, спросила:

— У кого есть претензии к лечащему врачу или к другому медперсоналу?

Никто не отозвался.

— Нет претензий? Тогда у меня к вам вопрос, Алексей Федотович. До меня дошли сведения, что вы часто жалуетесь на плохое обращение, на невнимательность медсестёр и даже делаете им выговоры. Это так?

Фиалко, сидя на кровати, глядел в сторону, вниз, нервно тербил руками свою полосатую нательную рубашу, сопел и ничего не отвечал. Владимир понял, что Фиалко видел за спинами врачей старшую медсестру, готовую, если понадобится, сказать своё слово.

— Я прошу, — продолжала Евгения Бруновна, — если есть основания, обращаться ко мне, и мы накажем нерадивого работника, если же оснований нет, то, пожалуйста, позвольте персоналу спокойно работать.

Врачи ушли, а Фиалко продолжал сидеть, всё так же печально глядя куда-то под кровать Каретова. Владимиру стало жаль его, но он не нашёлся, что сказать пенсионеру в утешение. Зато Кадочкин знал, что сказать.

— Влип? То-то же! — и пояснил остальным: — На всех сестёр накапал и даже Лену Андреевну не пощадил: из-за неё, мол, ему в физиокабинете не ту процедуру назначили.

Фиалко, красный, как после бани, недовольно сопел, но ничего не возражал и не опровергал. «Проняло, — подумал Каретов с облегчением в душе, его тяготила та постоянная нервозность, что витала в воздухе, когда Фиалко начинал что-либо говорить. — Теперь разоблачён кляузник, глядишь — и присмирееет, и тогда другие к нему, возможно, станут снисходительнее».

Владимир даже представить не мог, насколько он ошибался: не от стыда и угрызений совести покраснел Фиалко, а от злости, и молчал не оттого, что признавал свою вину, а потому, что уже напряжённо искал способ доказать свою правоту. Они обязаны быть внимательными к нему, и он их заставит...

Елена Андреевна пришла в палату сразу после обхода. Сама ли она догадалась или, скорее, более опытные коллеги посоветовали, но только она сказала Алексею Федотовичу, что ему будет полезно кровопускание. Он выслушал её молча, из чего следовало, что возражений не будет.

Вскоре явилась Таня в сопровождении двух «пионерок», Наташи и Сони, и приступила к делу, уложила Фиалко на спину, перетянула руку жгутом, заставила сжимать и разжимать кисть, когда вена вздулась, ввела в неё толстую иглу с трубкой, свободный конец которой опустила в пузырёк. Кровь у Фиалко была тёмной и густой, отчего казалось, что она вот-вот свернётся и перестанет капать в посудину.

Жалко было смотреть на Алексея Федотовича: он косился на убегающую из руки кровь и явно тревожился. Когда бутылочка почти наполнилась, Каретов пошёл и сказал об этом Тане. Она кивнула:

— Сейчас уберу.

Владимир с ней в палату не вернулся, пошёл в умывальную комнату; там было накурено, как всегда, мужики сидели на стульях, стояли у стен и обсуждали очень волнующую тему: как лучше подготовиться к подводному лову весной. Кадочкина среди них не оказалось. Дела к нему у Владимира не было, он просто хотел его увидеть. Сам того не сознавая, Владимир привык к его грубоватым шуткам, скучал без этого жизнерадостного больного и тянулся к нему и впитывал в себя излучаемую неуёмным слесарем живительную энергию.

Фиалко лежал в палате один, придерживал левой рукой ватку на сгибе правой. В тот момент, когда вошёл Каретов, какая-то мысль толкнула его. Он встрепенулся, поднёс ватку к глазам, потом понюхал, очень резко поднялся с кровати, начал искать ногами шлёпанцы. Руку он при этом выпрямил, из вены потекла кровь.

— Что вы делаете?! Зажмите!

— А? — Фиалко недоумённо посмотрел на окровавленный сгиб, вздрогнул, суетливо посмотрел вокруг, потом догадался согнуть руку. — Она мне сухую ватку положила! Вот шо делает!

И с неожиданной прытью помчался к Тане в процедурную, выяснять отношения. Несколько мгновений спустя оттуда донёсся визг застигнутой врасплах обнажённой больной и громовой голос возмущённого пенсионера.

Он скоро вернулся, за ним шла Таня и, чуть не плача, пыталась объяснить:

— Спирт же высох. Испарился!

— Его не було!

— Господи!

Больничные будни катились своим чередом.

Каретов согласие Елены Андреевны получил неожиданно легко. Она сама пришла в палату и только-то и сказала:

— Вы подойдите к Евгении Бруновне, она вас отпустит до четвёртого числа.

«Ах ты, милая моя, — мысленно восхитился Владимир, — помнит, позаботилась!»

— Ого! — позавидовал Кадочкин и тут же предложил: — Тогда уж до пятого отпустите его, четвёртое — воскресенье.

— Четвёртого будет рабочий день, — возразила врач, — потому что выходной перенесли на второе число.

— А мне можно? — несмело жалобным голосом спросил Савельев.

— Нет, что вы! У вас же лечение.

Ромка, который тоже открыл было рот, чтобы отпроситься к молодой жене, мгновенно сориентировался и смолчал, лишь ткнул с досады кулаком в подушку.

Евгению Бруновну Каретов нашёл на первом этаже в кабинете главного врача. Увидев, что Владимир заглянул в дверь, она пригласила его войти, без лишних слов написала коротенькую записку гардеробщице на рецептурном бланке: «Разрешаю выдать одежду Каретову В.»

Владимир молодецки вбежал на второй этаж и, сворачивая с лестничной площадки в коридор, столкнулся с Наташей. Когда выдавалась свободная минута, студентки отдыхали у окна на облюбованном пятачке; Наташа в этот момент, смеясь, увёртывалась от своей подруги и, запнувшись о ногу Каретова, упала бы и ударилась головой о косяк, если бы он не оказался у неё на пути. Он успел расставить руки и получилось, что девушка упала ему в объятия.

— Оп-ля! — сказал Каретов.

Девушки рассмеялись ещё громче. Он не поторопился отпустить неожиданный подарок судьбы, она и не спешила освободиться из надёжных рук, смеялась вместе со всеми, запрокинув голову. Губы у неё яркие и сочные, как спелые вишни — не удержался поцеловал бы, если бы не числился больным. Вишни напомнили ему о ягодах:

— Ты какое варенье любишь?

— Я любое люблю, — в глазах её появилось заинтересованное любопытство, она легонько отстранилась, и он не без сожаления отпустил девушку.

— Ага, — сказал Каретов и опять почти побежал по коридору.

Быстро переоделся, выгреб пустые бутылки и пакеты из тумбочки, сунул их в сумку, банку с клубничным вареньем взял в свободную руку, вышел из палаты — девушек возле окна не было.

— Куда они девались? — спросил он Таню, которая занималась лекарствами за своим столиком.

— Кто?

— Да девчонки, Наташа...

— А-а! В столовой. Лекции переписывают.

Он зашёл в столовую, поставил банку в центре стола, вокруг которого сидели девушки, прямо на открытую тетрадь.

— Это вот полезнее — угощайтесь. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом!

— О-о!

— Ура!

— Спасибо! И мы вас поздравляем! Вы уходите?

— Да, — он подумал, что, возможно, и в больнице встречать праздник было бы не совсем скучно. — Увидимся через год. До свидания!

Вспомнил, что второпях не попрощался в палате, вернулся, пожелал всем здо-

ровья, хорошей встречи Нового года, и обошёл всех и пожал руки, как бы передавая тепло ладоней одних другим и тем самым призывая быть добрыми и внимательными друг к другу.

— Счастливый, — сказал Кадочкин. — Приходи здоровым, может быть, и мы от тебя разживёмся. Да, ты забери свой зефир, на окне, а то сладкое такое никто не ест — пропадёт.

— Не пропадёт! — засмеялся Владимир. — Я знаю место, где не пропадёт.

Он заглянул в коробку с зефиром — полная, не стыдно дарить, закрыл, завязал цветную тесёмку и снова направился в столовую. «Ого! — изумился он про себя. — Уже управились?!» Банка была почти пуста. Наташа разливала из чайника чай, чтобы запить сладкое. Увидев Каретова, девушки засмутились, догадываясь, что он мог подумать. Владимир засмеялся:

— Я вам подкрепление принёс...

ПОЭЗИЯ



ЕЛЕНА КРЮКОВА



Огонь и лёд

Он и не ожидал, что у него
с такую болью будет биться сердце.

Ф.М. Достоевский, «Идиот»

* * *

Вокзал, гудящее лицо
Войны и Мира, дня и ночи.
Обледенелое крыльцо.
Гадают, спят или пророчат.

Войду. Узнаю ли тебя?
Твои морщины углубились.
Пылают души и тела,
И тени все переместились.

КРЮКОВА Елена Николаевна родилась в Самаре. Поэт, прозаик, культуролог. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького. Член Союза писателей России, Творческого Союза художников России, Издательского совета Русской Православной Церкви. Лауреат премии им. М.И. Цветаевой (2010), Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» (2014, 2016, 2019, 2021, 2022, 2023), международных литературных премий им. И.А. Гончарова (2015), им. А.И. Куприна (2016), им. Э. Хемингуэя (2017, Канада), Южно-Уральской премии (2017), премии им. С.Т. Аксакова (2019), премии им. Ф.И. Тютчева (2020), премии журнала «Север» (2020), премии им. Н.Н. Благова (2021), премии им. С. Сергеева-Ценского (2021), премии им. Б. Корнилова (2022), премии «Есть только музыка одна» (2021, 2022) и др. Публикуется в литературных журналах России и стран мира (Франция, Германия, Болгария, США, Канада). Создатель авторского «Театра Елены Крюковой».

Да что глядишь ты в мой мешок?
Подарки... семечки... игрушки...
Как попируем мы, дружок,
На смертной солнечной пирушке!

Солдаты. Новая война.
Грохочет рота сапогами.
Я провожаю вас одна
Меж поездами-берегами.

Меж дамбами последних рельс,
Меж колыбельной канонадой.
Крик вьюги. Времени в обрез.
Обнимемся. Не плачь. Не надо.

Не сомневайся, победим.
Кидай хамсу вокзальной кошке.

Давай до дна мы выпьем дым,
Вокзал, железные застёжки.

Вокзал, бетонный мой редут,
Кроваво-бархатное знамя.
Златые кисти прочь текут
Неисследимыми слезами.

Все утекают времена.
Всех на прощанье обнимаю
И на прощенье. Я, война,
Твой Мир люблю и понимаю.

Целую все твои сто лиц.
К дохе метельной припадаю.
В ночи разъездов и столиц
Над мальчиком твоим рыдаю.

Последний вагон

Всё вокруг меня рушилось и сгорало дотла.
Я ночью столицей, я плясницей шла.
То ль пьяна, девка крашена, то ли вусмерть трезва,
Застывая безбашенно, на морозе трава.
В полночь наипервейшая шелестит седина.
Плечи — жёсткая вешалка. В пёсьей шубе. Одна.
Все ворота закрылись. Зимний уголь и дым.
Одинокими крыльями машет мне Серафим.
Это рушится, падает не бетон, а земля.
Стынет болью и падалью, под ногою пыля.
Бормотала я: матушка, слышишь, не умирай!
Ты сосновая матица... ты в печи каравай...
А вокруг меня клёкотом — иноземная молвь.
Площадь Красная — рокотом. Площадь Чёрная — тьмой.
Я, танцуя, вышагивала, я юродкой брела —
Пламя лисьей шапкою ночь сжирало дотла.
Из бумажных стаканчиков горький чай я пила
На краю всех обманщиков, на отшибе стола.
Ярославский, Казанский ли, Ленинградский вокзал!
Что ж ты, троица Райская... мне ж никто не сказал...
Что ты, троица Каинова, где колючка и наст...
Ни греха. Ни раскаянья. И никто не предаст.
Мне б согреться, о публика! Мелочь, блеск чешуи...
Я станцую по рублику, вам спляшу, соловьи!
Ах, лапша ты разваристая, кофе-чай ты спитой...
Потанцуем, товарищи, мой вальсок золотой!
Моё танго маманькино... резвый батькин фокстрот...

Я вчера была маленька... а сегодня — вперёд...
Я вчера была старенька... а сегодня — в расход...
Херувимская барынька... скоро поезд уйдёт...
Ну, беги ты, плясавица! Он на третьем пути...
Чисто петь. Не гнусавиться. Да по рельсам идти.
Да по шпалам бревенчатым, задыхаясь, бежать,
Да от смерти до вечности — повернуть рукоять...
Вот седая старушенька за составом бежит!
А земля вокруг рушится! А столица дрожит!
О, смешная бабулька-то, рот сердечком, хоть вой!
Снег вином белым булькает во бутылки ночной!
То ль пьяна, вся изморщена! То ли ведьма она!
То ль святы ея мощи! Без дна глубина!
Всё бежит, ах, за поездом, кости вытянув, мчит,
Не догнать, уже поздно, крик вороной летит,
Крик летит шестикрыло в Серафимью пургу,
Дай мне, Боже, дай силы, добегу, добегу,
Я смогу, я настигну мой последний вагон,
Втащат за руки, гignent, засвистит мой Харон,
И присунут ко рту мне горло фляги чужой,
И я сделаю жадный глоток мой большой,
Выпью жизнь мою, Мирь мой и родимую смерть,
Время, ты умираешь, а мне — не посметь,
Но я знаю: случится, вот сегодня, сейчас,
Поезд мчится, молиться надо горечью глаз,
Вы глаза-мои-рыбы, уплываю, плыву,
Неба мощную глыбу, как ребёнка, зову,
Ноги ставлю на буфер, ближе к сердцу суму,
И гляжу, как столица улетает во тьму,
Я метелями плачу, фонарями горю,
Нищей речью горячее о любви говорю,
Этот поезд последний, рельсы рыб солоней,
Я последней обедней, я безумней огней,
Я в пургу улетела, не вспомянь, не жалея,
На последний — успела ночью смерти моей.

Аввакум и Настасья Марковна

Тяжко идёт протопоп Аввакум
В ночь по байкальскому льду.
Словно земля, и велик и угрюм,
Очи пророчат беду.

Ах, я-то по Байкалу шла за ним, шла...
По разноцветью битого стекла...

Вся согласна, людие, сгорети дотла!
Да путь наш поглотила угрюмая мгла...

Сослан! Глазницы от яростных слёз
Слепо затянуты льдом.
Жёнка бредёт, а детишек в обоз
Взяли, спасибо на том...

Ах, да то я бреду за ним, бреду!
По нити паутинной... по мощному льду...
А егда, шатаяся, по тонкому льду —
Не чую, батюшко, последнюю беду...

Из преисподней байкальского льда
Чёрная вечность видна.
Ты лишь меня не покинь никогда,
Женщина, жено, жена!

Ох, да не брошу ты, миленькай ты мой...
Ты мой дом... значит, возвернёмся домой...
Я тя не покину, ведь я — это ты:
Мы с тобой — то люди, то в метелице кресты...

Вот завернулась в колючий платок.
Вот проблеснули белки.
Вот оступилась, не чуя ног, —
Валенки ей велики...

А-ха, ах, да по льду скольжу!
О-хо, ох, да по лезвию-ножу...
Ежели сию минутку упаду —
Во Царствие Божие одна не взойду...
Во Царствие Божие не хочу одна!
К тебе бы прижавшись, твоя ведь жена...

В россыпи пота последнего — лоб...
И, на краю забытья,
Молвила духом нутра: протопоп,
Долго ли мука сия?..

А долгонько мука-боль-злюка та!
А долгонько, людие, идти до Креста...
До нашего кровного Распятия-Креста,
Где жизнь наша станет во Крест влита...

Снег обнимал её, как пелена.
Путались жар и мороз.
Молвил: до самая смерти, жена.
Дальше молчанье понёс.

До самыя смерти. До края — жизнь.
До самыя смерти — терпи и молись.
А и где она, самая смерть твоя?
На том берегу — ни дивья, ни живья...
До самыя смерти... легко сказать...
А может, смерть, ты и есть благодать?..

Жёнка смотрела минуту туда,
В дальнее дымное дно,
В их с Аввакумом святые года,
Где они были — одно.

Да, мы одно, миленький... единое-одно...
Кружится, жужжит пурги веретено...
Святою иконою венчали нас.
Неужто бьёт нам последний час?
Под ногою Байкал — последняя твердь,
Над башкою звезда — суждённая смерть,
А обочь обоза — снега и снега,
Обойми, поцелуй, я ж тебе дорога...
Крепче прижми! Простися со мной!
Я была тебе хорошей женой!
Так застынем! Берег смерти крут!
Через века нас, обнявшихся, найдут...
Наши кости истлеют в земле.
Утонут в Байкале, в зелёной мгле.
А души живья обнимутся в Раю,
Друг дружку лобзают у тьмы на краю...
Ртом, что от снега и боли был нем,
Сердцем, исторгнувшим свет,
Молвила: ино еще побредем, —
Тихо ступая во след.

Сретенье

Мы случайно открыли чугунную дверь.
Мы случайно согрелись во храме.
Мы забыли про тысячи наших потерь.
Нас внесло сюда злыми ветрами.

Здесь во тьме провода оплетает куржак.
Здесь геолог из фляги глотает.
Здесь на праздник вдова, в полушубке дрожа,
На базаре лимон покупает...

Это — внутренность церкви! Глаза да лицо
Медсестрички шафранно-румяной,
Да на вдовьей руке — золотое кольцо,
Да заснувший на паперти пьяный,

Да сияющий ликом с облезлой стены
Тот святой, чьи морщины суровы,
Тот, пропавший в болотах и бурях войны,
Не сронивший под пыткой ни слова...

И яичное Солнце в морозе встаёт,
Ударяя в нас копьями Рая!
И глазеть, и молиться заходит народ,
Снег с пушистых унтов отряхая.

И струится Оранты индиговый плащ.
И над куполом поезд грохочет.
И шепчу я: — Любимый, не надо, не плачь.
Всё случится, как Время захочет.

Зимнее солнце

Ты, глазурь-печатка, пламенем — во мрак!
Я — живой заплаткой: Время — главный враг.
Тело белое глядится кочергой,
Прошлым бешенством-безумьем — ни ногой
В эту семечек — в метели — шелуху,
В те сугробы, что ложатся под соху,
Под железного мороза дикий плуг —
Где там жар голиц округ нежнейших рук!.. —
В те частушки, что на площади алкаш
Голосит, подачкой солнцу, баш на баш,
В ту сибиринку, татарский глаз разрез
На собачью стаю, в тот мохнатый лес,
Лай кликуший, душу вывернет носком
Крупновязаным!.. разлука — в горле ком...
Там Байкал слезою синею течёт!
Там стою я, дни-огни наперечёт,
На берегу, близ изумрудной Ангары —
В небе-море самолётные костры!
И на рынок там ворвусь из-за угла —
Зимний гусь, боец, ну что, твоя взяла!
Выжгло Время мне земную благодать.
Между всеми — хоть на рынке порыдать!
Снежный рынок, посреди тебя стою —
Ты мой храм, паникадиллом жизнь мою
Подпали! кадиллом перечным зажги!
Задеру башку — а не видать ни зги:
Синь великая польётся мне в глаза,
Неболика, немая бирюза,
Вот, Байкал, едва уйму чудную дрожь —
Всем посконным небом надо мной плывёшь!

Ты мой купол! Я — лишь роспись на тебе:
По солёной штукатурке, по судьбе!
Я — казармы, я — слезами, водопад
Криков, шёпотов, прощания солдат,
Позолота я, и звёзды без числа,
Окна — сотами, медовой сытью — мгла,
Это пристань, и змеиная волна,
Ну же, выстынь в ледяном зеркале без дна,
Перламутром, перлом, помнящим Раскол,
Протопоп да чада — вон, по льду побрёл...
Ах ты, Время! В модных латах... все звенишь!
Я — зерно, а ты — прожорливая мышь...
Я — куржак, налипла слоем на стрехе,
Волчьим воем глухо каюсь во грехе...

Ох, мой рынок! Ангара-моя-вода!
Окунусь — и не восстану никогда
Из смарагдом зеленеющего сна:
Я твоя стремнина, мощная волна!
Как одну толкнул вперёд тебя Отец?!
Как в тайге уснул стрелецкий голубец...
Голомянки, сиги, омули, ельцы,
Лучезарные ленки — во все концы
Толщи чистой, яркоглазой, ледяной —
Догонять меня: ах, станет что со мной...
Погоди, моя девчонка! Погоди!..
Зарядят в ночи старухины дожди,
То ли вдовий, то ль монаший взденешь плат —
А тобой в дегтярной тьме огни глядят...

Ох, мой рынок! Ну, давай, в огнях торгуй!
В небеса швыряй замёрзлых сливок буй!
Мой буй-тур, алмазный княжич, снеговой —
Синь-вина плесни в ладони мне, налей!
Горсть подставлю, кожу горечью сожгу,
Жадно выпью, захмелею на бегу,
Только выстонать всю правду — вышел срок! —
Только выбросить дарённый перстенок
Во сугробы, только выстыть на ветру,
Только выкрикнуть: не смейся! не умру! —
Над заваленным орехами лотком,
Над завязанным отчаянно мешком —
Нежный омуль там, да вяленый чебак,
Мне, безумке, ты, рыбак, отдай за так!
Я — все эти оснежённые лотки!
Я — собакам кость из пламенной руки!
Я — лимоны, мёд, вся золотая снедь,
Я сверкаю, не даю вам помереть,

Я кормлю собой собак, зверей, людей
 На изломе, на отлёте площадей,
 Вот уже я пища ваша, град и весь,
 И себя насущным хлебом дам вам днесь!
 Рынок! рынок! Тыквы, чир, окорока!
 И черника, и брусника — на века!
 Черемшовый — из бочонка — терпкий дух...
 Бормотанье, как вязанье, двух старух...
 А девчонка пляшет, ягодку жуя...
 Не гляди, ведь страшно... вылитая я...
 Ярро-красно с досок ягоды текут
 В белизну... да поживи ты пять минут...
 Погляди на кистепёрые платки,
 На меха на кочерге святой руки,
 На соболий сверк синеющих снегов —
 Я, родные, вот я ваша вся любовь!
 Вот такую вы запомните меня:
 Здесь — на рынке зимнем — языком огня —
 Над сияньем репы, клюквы и капуст —
 Над дрожаньем в заревой улыбке уст —
 Время, дай обнять!.. Целуй, метельный враг!..
 ...я — глазурь-печатка — пламенем — во мрак.

По тонкому льду

Как сто лет назад, выйду на берег я.	Бегу, танцую. Мороз. Молода.
Как долгих назад сто лет.	Перебежать. Не упасть.
Вот холод реки — вся моя семья.	
Другая была, да нет.	Я только лодка, живые бока.
	Пристрелят. Утопят. Пусть.
По льдам изумрудным зрачками веду.	Мои глаза прожигают века.
Глазами всё обниму —	А ноги бегут наизусть.
Себя, что идёт и скользит по льду,	
Сияя, скользит во тьму.	Вот справа мост. И слева мост.
	Ах, лёд трещит под ногой...
Иду, молода. Зеркало льда.	Да, я добегу по воде до звёзд,
На берег тот, через лёд.	Сквозь долгий собачий вой!
Иду в ночи. Иду в никуда.	
Во вьюгу. В зимний полёт.	Я жизнь эту, люди, переплыву.
	Смешаю радость и страх.
Горит Альтаир переливчато, зло.	Я жизнь эту, люди, святой назову,
Все звёзды хором горят.	Рыдая, каюсь в грехах.
За пазухой — сердце. Боль. Тепло.	
Шубёнка, ветхий наряд.	И, стоя в ночи на крутом берегу,
	Последнем крутом холоду,
Собачья шуба. Пёсья звезда.	Всё буду глядеть, как я бегу,
Я с берега на берег — шась!	Бегу по тонкому льду.

Русская рулетка

Пули — бусы! Пули — серьги! Брюшки — что креветки!..
Яркой я зимой играю в русскую рулетку.

Револьвер такой тяжёлый... ах, по мне поминки?!.
Я стою средь мёрзлой снеди на Иркутском рынке.

Пули — клячи!.. Пули — дыры!.. Револьвер — в охалку.
Пот течёт по скулам дядька с-под бараньей шапки.

Револьвер — такое дело. Я стреляю метко.
Что ж ладонь вспотела солью, русская рулетка?!..

Стынет глаз бурятки мёдом. Стынут глыбы сливок.
Стынет в царских вёдрах омуль. Кажет ель загривок.

Янтарями — облепиха! Кровью — помидоры!
Ах, оружие, ласка, лихо русского задора!

Гомонят подтало бабы, щёлкая орешки.
Я для публики — монетка: я орел иль решка?..

Жму костями плоть железа. Руку тянет холод.
«Ну, стреляй!..» — вопят мальчишки. Крик стучит как молот!

И, к виску подбросив руку, пред вратами Рая
Я на вечную разлуку так курок спускаю,

Как целую зиму в губы! В яблоко вгрызаюсь!
Как — из бани — в снег — нагая — Солнцем умываюсь!

Жизнь ли, смерть — мне всё едино!.. Молода, безумка!..
Упаду на снег родимый — ракушкой-беззубкой...

Это — выстрел?!. Я — живая?!. Дайте омуль-рыбу!..
Дайте откусить от сливок, от округлой глыбы!..

Дайте, бабы, облепихи, — ягодой забью я
Рот!.. Как звонко. Страшно. Тихо. Шепот: «Молодую...»

На снегу лежу искристом, молнией слепящем.
Умерла я, молодая, смертью настоящей.

Из виска текут потоки. Чистый снег пятнают.
Револьвер лежит жестокий. Настоящий, знаю.

А душа моя, под небом в плаче сотрясаясь,
Видит всё, летит воздушно, чуть крылом касаясь

Тела мёртвого и раны, баб с мешком орехов,
Мужиков, от горя пьяных — в ватнике прореха,

С запахом машинных масел пьяного шофера,
С запахом лисы и волка пьяного Простора...

Вот так девка поигралась! Вот так угостилась!..
Наклонитесь над ней, жалость, радость, юность, милость...

Наклонись, дедок с сушёной рыбкой-чебаками:
На твою похожа внучку — волосом, руками...

Гомон! Визг вонзают в небо! Голосят, кликуши!
Я играла с револьвером — а попала в душу.

И кто всё это содеял, весь дрожит и плачет,
На руки меня хватает во бреду горячем,

Рвет шубейку, в грудь целует, — а ему на руки
Сыплются с небес рубины несказанной муки;

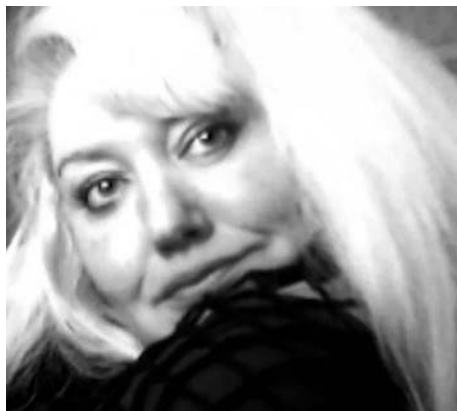
Градом сыплются — брусника, Боже, облепиха -
На снега мои родные, на родное лихо,

Да на револьвер тяжёлый, на слепое дуло,
Что с улыбкою весёлой я к виску тянула.

Это смерть моя выходит, буйной кровью бьётся,
Это жизнь моя — в народе — кровью остаётся.



ИРИНА НИКИФОРОВА



Один случай из практики фельдшера Маруси

РАССКАЗ

Осень в том году не спешила вступать в свои права. Она неторопливо желтила листья, лишь иногда напоминая о себе холодными ветрами да колючими дождями, после которых деревенские дороги раскисали и липли к ногам комьями черной грязи. Дни становились всё короче. Маруся — она же молодая фельдшерица МарьСанна (как уважительно звали ее в деревне) чувствовала, как с каждым наступающим вечером ей всё труднее и труднее выходить из теплого дома от уютной покрывающей печки и бежать по чавкающей грязи на очередной вызов под хор цепных деревенских собак, заливающих лаем из-за каждого забора.

Такое «упадническое» настроение Марусе не нравилось совсем.

«Тоже мне — комсомолка! — ругала она себя часто. — Первых же трудностей испугалась! Хотела людям пользу приносить — лечить! Училась, книг сколько прочитала, и зачем тогда?... Выскочила бы замуж за Гошку рыжего, который весной сватался. Сейчас бы в городе жила в своем доме — щи варила, да носки вязала... уууу... позорница...».

НИКИФОРОВА Ирина Дмитриевна родилась в 1962 г. в Иркутске. По профессии педагог. Окончила ИГПУ. Рассказы были опубликованы в «Литературной газете», в журналах «Зеленая лампа», «Сибирь», в альманахе «Первоцвет». Автор книг: «Академ и наш «Б» класс. Детство. Отрочество», сказки-фэнтези «Злоключения Ларисы в Стране без Чудес», «Копьево. Рассказы», «Юность сэсэсэрки». Живет в Иркутске.

На время ей становилось совестно, но едва ноги в резиновых ботиках начинали мерзнуть, она вновь вспоминала, что скоро начнутся сибирские холода — снег да метели, а валенок нет, сапоги тонкие, пальто на «рыбьем» меху. Далеко в таком не уйдешь, на лошади ехать в соседнюю деревню — так и вообще околеешь, а деньги никак не копятяся. Сколько раз давала себе слово не тратиться на пустяки, но в прошлом месяце ерунды какой-то купила.

«На кой тебе бусы эти да чулки? Всё никак не привыкнешь, что ты теперь не в городе, а в глухой деревне сибирской живешь! Дурочка ей-богу. Какие тут танцы? Даже Дома культуры приличного нет. Ходят куда-то «на круг» — не была ни разу, страшновато как-то... Ты что, на танцы сюда ехала? Лечить людей! Вот и лечи... а может... я вообще зря фельдшером стала? Придумала себе, а жизнь-то она вот какая... не больница в городе и белый халатик, а избы с керосинкой, невежество иной раз дремучее...».

Фельдшерский пункт располагался в центре села в добротном «поповском» доме — в правой половине, а в левой половине выделили комнату ей — Марусе, что очень порадовало — далеко ходить на работу не надо. В соседней комнате жила ее предшественница — фельдшерица с мужем и грудным ребенком, и это было хорошо — всегда можно было спросить совета у более опытного товарища. Наука-то врачебная — это одно, а практика — совсем другое. В комнате у Маруси уже была железная кровать с матрасом, и стол был, и даже старинный комод, в котором уместились в паре ящиков ее скромные пожитки.

— Откуда тут комод такой красивый резной? — спросила Маруся соседку, которая охотно помогала ей обустроиться на новом месте.

— Так поповский! Тут много чего было, да порасташили всё из сарайки. Ну, ты туда загляни, если хочешь. Там вроде книги какие были еще, я смотрю, — она кивнула на три стопки книг, которые Маруся привезла с собой, — ты книгочея, докука была такую тяжесть таскать.

Как-то раз Маруся из любопытства заглянула в сарай. Книг там уже не было — унесли рачительные крестьянские мужики. В углу приметила она лишь какие-то старинные журналы, полистала — неинтересно, положила на место. Небольшая дощечка выпала из одного журнала, подняла. Это же иконка! Хотела быстро обратно положить — комсомолка же, атеистка, но... протерла, бережно завернула в платок.

«Конечно, это всё пережитки, но пусть у меня лежит. У мамы над кроватью похожая висела. Надо же! Маму не помню почти, а то, что на кровати кружевная накидушка была, да икона на стене — помню. Надо только спрятать ее, чтоб никто не увидел».

С той поры и лежала у нее иконка в ящике комода, доставала ее иной раз, всматривалась в нежное лицо, мысленно разговаривала. А с кем еще поговорить — одна Маруся на белом свете. С пяти лет в детском доме, потом в общежитии при медучилище. Была где-то дальняя родня, да они ее не искали — не вспоминали, а ей зачем тогда им в глаза лезть? Впрочем, скучать было некогда — с утра прием, после обеда — вызова. Село, да две деревни — одна за лесом, а другая за рекой. По лесной дороге пройти было летом — одно удовольствие. До другой деревни добраться можно было только на лодке. Лес радовал, а вот вода Марусю пугала. Но, к ее удовольствию, немногочисленные жители заречной деревни были вполне здоровы, и вызывали ее за всё лето лишь пару раз, если что — сами добирались.

Осень вступила в свои права, но не успела покомандовать вволю. Задышала ей

в спину зима. Вмиг облетела листва, по реке пошла шуга, снег в лесу уже не таял. Выделили Марусе сапоги кирзовые, валенки соседка пообещала дать во временное пользование. Пуховым полушалком и носками одарили две сестры — бабушки-искусницы, которые ее сильно привечали и в гости зазывали. Для поездок в деревню — что за лесом, Марусе выделили подводку, да теплый тулуп. Всё как-то устроилось, но настроение девушки не изменилось — днем еще ничего, а вот ночных стуков в окно, которые означали очередной вызов и необходимость вылезать из теплой постели, она стала бояться — потому долго ворочалась вечером, спала плохо, нервно, и сны ей снились тяжелые.

...В тот вечер она привычно маялась в кровати, прислушиваясь к завыванию холодного ветра за окном. Вдруг в окно негромко постучали. Вздрогнула, вылезла из кровати, накинула теплую шаль, выглянула. Два рослых мужика стояли возле окна. Махнула им рукой — мол, идите в пункт, открою, печально вздохнула, быстро оделась и схватила свой чемоданчик.

— Сестра разродиться не может, — сказал бородатый мужик. — Так вот уж поехали, шток вы подмогнули....

— Сколько рожает?

— Да второй день уж...

Испугалась, расспросила — такой роженицы на ее учете не было, рассердилась, строго выговорила мужикам, что сейчас не старые времена, негоже дома рожать и на учет не становиться — мужики виновато переминались у порога. На всякий случай положила в чемоданчик три ампулы морфина, быстро оделась. Роженица жила в заречной деревне.

...Льдины плыли по черной воде, но братья умело управляли лодкой, потому добрались довольно быстро — без происшествий.

У небольшой избы недалеко от берега нервно курил растерянный молодой мужик. Увидев всю троицу, он выдохнул с облегчением и отворил дверь.

Маруся быстро вошла в полутемную избу. Роженица лежала на лавке, рядом сутилась старуха в черном платочке.

— Уж и через хомут пытались пропустить, — сказала старуха, — да никак... помрет, видать, страдалица.

— Какой хомут? — Маруся задохнулась от возмущения. Про этот варварский способ, когда подвешивают хомут, а через него пытаются пропихнуть роженицу, почему-то считая, что это ей поможет, — она слышала еще в училище. Но никак не могла представить, что такое еще могут практиковать. — Варварство какое! — сказала она звенящим от негодования голосом. — Больницы построили! В космос скоро полетим! А вы, вы... Еще лампу можно зажечь? Мне осмотр надо делать!

— А чего больницы-то? Носила хорошо, молодая, — возразила старуха, покорно зажигая еще одну керосиновую лампу. — Раньше — от и в поле рожали. Пуповину отгрызешь, оботрешь, полежишь маненько и опять за работу. Кака невидаль. Это чичас в городе все нежные стали, а она девка крепкая деревенская, думали — сама опростается, но никак... помрет видать.

— Умирало сколько в родах, кто считал? — сердито возразила Маруся, осматривая роженицу. Острая жалость пробила сердце. Молодая еще девка — ненамного старше самой Маруси, с белым как полотно лицом и заострившимся носом, с искусанными до крови посиневшими губами лишь жалобно скулила.

«Так, младенец мертв, это ясно, вот ручка его синяя бессильно висит, было боковое предлежание... сама не справлюсь... кесарево делать — ни условий, ни

инструмента... надо до районной больницы ее как-то доставить, там операция и пенициллин... выживет, молодая еще, крепкая... хорошо, что морфин взяла... так... сейчас главное ее обезболить и в путь... надо спасти. Потом еще родит, главное спасти...».

Поставила укол, измерила давление, роженица утихла. Маруся накинула пальто, вышла из избы, объяснила свое решение. Мужики замялись.

— Куды плыть-то, сюда-то добрались едва, шуга же, — возразил старший брат.

— Если не довезем ее до района — погибнет, надо рискнуть, — сказала Маруся твердо. — Так есть шанс! Довезем — выживет, потом еще родит. Я в этих условиях помочь не могу! Понимаете? Ну, что? Едем?

Братья переглянулись, нехотя, но кивнули. Молодой мужик — муж роженицы стал дрожащими пальцами поджигать очередную папиросу.

— Ладно, пойдем лодку готовить!

Они пошли к реке, молодой мужик поспешил следом.

— Собирайте ее, повезем в район, — скомандовала Маруся старухе, вернувшись в дом, та хотела было возразить, но смолчала и стала резво одевать уснувшую роженицу.

Братья вернулись довольно быстро, старший взял сестру на руки и понес к берегу. У воды собрались люди, завыла какая-то баба. Роженицу разместили в лодке, Маруся села рядом, братья встали по краям лодки, оттолкнули ее от берега. Молодой мужик на берегу упал на колени в мокрый песок, плечи его тряслись, какая-то старуха трясущейся рукой начала крестить всех отъезжающих.

«Как на войну провожают. Странные люди тут. Уж сколько лет после революции, войну пережили, в космос, вон, лететь собираемся, а нравы в некоторых деревнях дикие, как при царе...».

Меж тем ветер усилился, вместо тонких игольчатых льдин, что медленно шли по реке совсем недавно, теперь по черной воде мчались крупные толстые куски льда. Они бились о лодку с шипением и скрежетом. Братья дружно матерились, отбиваясь от самых крупных «налетчиков».

— Послушались девчонку! — крикнул сердито младший. — Мало сестры — сейчас все сгинем тут! А у меня трое пацанов! Кто их поднимать будет? Смотри, шуга какая пошла!

— Что вы панику разводите! — сердито крикнула Маруся. — Лучше скажите, чем я помочь могу?

— Бери пешню, да бей их, бей, ежели перевернут лодку — всем крышка!

Схватив со дна лодки лом с деревянной ручкой, Маруся стала толкать от лодки наиболее наглые льдины, приговаривая :

— Вот я вам... вот уж, дудки... не дождетесь! Ишь чего задумали...

Страшно ей не было. Какое-то странное возбуждение и уверенность, что все она делает правильно, заставляли без усталости бить льдины, как врагов.

Причалили к берегу, братья с трудом выволокли лодку на песок.

— Далеко снесло, это ж яндинские луга. До райцентра топать и топать... как нести-то ее...

Действие лекарства заканчивалось, роженица начала стонать и метаться. Усталая Маруся тоже увидела неподалеку большой стог сена. Решение пришло быстро.

— Идите за помощью, — сказала она братьям. — Трактор какой или грузовик, и еще больницу предупредите, чтоб готовили операционную — пошлите там кого-нибудь. Мы здесь подождем, давайте устроим ее в копне.

Разворошили стог, устроили роженицу, посветили спичками, Маруся поставила еще один укол. Младший брат на прощанье протянул ей коробок.

— Зачем?

— Тут волки ходят... если что, пугнуть можно...

— Волки?

Стало так страшно, что заболел живот, и забылась усталость. Братья быстро пошли в сторону поселка, а Маруся забилась в сено рядом со спящей роженицей и стала тревожно вслушиваться в ночные звуки.

Ветер угомонился. Покой и тишина воцарились в природе, но Марусе стало казаться, что где-то рядом слышится тоненький волчий вой.

Через лес рядом с селом ходить она поначалу не боялась. Ей, как городской жительнице, даже в голову не приходило, что там вполне могут жить волки и медведи.

— Медведей тут поблизости сроду не водилось, а вот волков понавидались. Волк — он зверь дюже умный, — рассказал ей как-то словоохотливый сосед, — дед Тихон. — Ежли ишшо один, то ладно, но ежли стаей нападут — шанцов нету. И ведь, главно дело, кровь или што, раненый зверь чует далёко — вот ведь нюх какой. Я посля войны долго без ружьишка в лес не ходил... Но ты не бойсь, тут от мы всех волков повывели...

Конечно, его слова возымели совсем другой эффект. Через лес Маруся теперь «летала на всех парах».

«А у меня ружьишка нет — только коробок спичек, а если почуют, что тут больная, как мне ее защитить тогда?» — Маруся вылезла из копны сена, хранившего еще тепло осени, обошла ее кругом. Было тихо.

Она забралась обратно, пригрелась, задремала. Время шло, ночь становилась всё гуще.

«Скорей бы уже вернулись. Какая странная ночь! То ли сон, то ли явь. Никого нет в мире — только я и эта бедная женщина, которой я хочу помочь. Так хочу — как никогда не хотела. «Помрет-помрет» — ишь старуха каркала. Не помрет! Не для того я училась и грязь тут месила, чтоб она погибла без помощи».

Но тут ее поразила мысль, что лодка и впрямь могла перевернуться, а ведь она — Маруся плавает плохо, да и в ледяной воде долго ли продержись. А уж если волки нападут — то и вовсе ей не сдюжить. Она представила, что вот так не станет ее и что? Кто всплакнет над ее могилкой? Две старушки из села? И так ей стало обидно, так ей захотелось вдруг жить, найти свою судьбу, родить много детей, чтоб никогда больше не чувствовать себя одинокой горемыкой. И на миг она даже позавидовала роженице, которая лежала под боком, что у нее такие заботливые братья. А еще ей стало обидно, что не довелось ей еще увидеть теплого моря, пальм и Москву, про которую они часто пели песни...

Тишину ночи внезапно нарушил тонкий вой, от страха вмиг похолодела спина. Нет, на сей раз не почувдилось. Где-то недалеко выл волк.

Маруся выглянула из стога, нащупала коробок, достала спичку, зажгла, поводела огоньком туда-сюда. Спичка догорела, Маруся зажгла еще одну и еще. Опомнилась.

«Что я спички-то жгу? Спичкой волка пугать! Дурочка, ей-богу. Что же делать?».

В отчаянии она посмотрела на небо, на беззаботную луну и крикнула с дрожью в голосе:

— Помоги мне! Помоги мне, матушка!

Она не знала, кому обращает она эту мольбу — своей давно ушедшей матери или той, чей лик она хранила в своем комодe и своем сердце? Но, к кому еще она могла взывать — потерянная в этих лесах, лугах, ответственная не только за свою, но и чужую жизнь, что еще теплилась рядом.

Села, вытерла слезы, заботливо подоткнула шаль, которой укрыла больную. Опасность — реальную, животную она явственно ощущала всем своим существом.

«Свет... свет... света они боятся... ой, тут же сено! Сено!»

Спасительная мысль пришла в голову и заставила ее действовать. Маруся стала быстро дергать сухое сено, складывать его в небольшую кучу. Когда набралось достаточно, зажгла спичку, но огонек мгновенно гас, и сено не загоралось.

«Лучину... бумагу... что-то такое надо... что... точно... книжка!»

Открыла свой чемоданчик, вытащила маленький томик любимых стихов, который всегда носила с собой и читала в свободные минуты — посмотрела с сожалением, оторвала страницу, скрутила, подожгла.

Через несколько мгновений огонь уже жадно пожирал и листья, и сухое сено. Не давая огню погаснуть, Маруся всё подбрасывала и подбрасывала в него пучки сухого сена. От усталости гудели ноги и руки. Она не знала, сколько еще ей понадобится времени, знала лишь одно — она не может дать погаснуть этому костру ее жизни и надежды.

...Спасительный шум трактора послышался вдалеке. Ноги ее подкосились, и она обессиленно присела рядом со стогом.

«Сдю... жи... ла... сдю... жи... ла», — казалось тархтел ей трактор. Маруся бережно поддерживала роженицу на ухабах.

В приемном покое больницы она сдала свою больную в надежные руки врачей, заполнила нужные бумаги, а потом присела на кушетку, да... и уснула в мгновение ока.

— Молодец девчонка, — сказала пожилая медсестра, укладывая ее на кушетку и накрывая одеялом. — Отважная! Не растерялась! Хорошим врачом станет...

* * *

... — Вот такая история со мной случилась в молодости, — сказала Мария Александровна, глаза ее остановились на небольшой иконке, скромно стоящей на полке с образами. — Спасла Матушка. А потом была и работа, и муж, и два сына. Теперь вон, внуков четверо, правнуки. Ни о чем не жалею... Как думаешь? Годится для рассказа?

Ее не стало через неделю после нашей встречи.

Я пишу рассказ, а Богородица с небольшой темной иконки теперь смотрит на меня...

ПОЭЗИЯ



МАКСИМ ОРЛОВ



Былого перевернута страница...

Уроки черчения

Вижу тебя, золотое сечение —
мытарств моих поперечный разрез.
Вся моя жизнь — обстоятельств стечение
и обязательств надуманных пресс.

Строгим весьма был Учитель Черчения,
не беспричинно меня попрекал...
Знать, оттого моей жизни течение —
контур по граням шаблонных лекал.

Мной нарушались каноны черчения —
Линч над собою чиню до сих пор...
Пустопорожни о прошлом речения,
как и банален о нынешнем ор.

ОРЛОВ Максим Томасович родился в 1956 г. в Улан-Баторе. Автор трёх поэтических сборников. Подборки стихотворений публиковались в журналах «Юность», «Сибирь», антологии «Бег времени», в «Литературной газете» и др. Опубликовал ряд литературно-публицистических статей о творчестве Леонида Мартынова и несколько критических статей. Член Союза писателей России. Живёт в Братске.

Жить на Земле, несомненно, фантастика!
И не беда, что грешил транспортир.
Мне не найти подходящего ластика —
ватман судьбы поистерся до дыр.

Этюд № 4

Опять не получается закат,
очередной испорчен подмалёвок.
Набросок без страстей — из недомолвок —
не поэтичен, а аляповат.

Быть может, про закат писать не след,
Сарьян не стал слепым от солнцепёка...
Взывать к сочувствию — банальна подоплёка
псевдомытарств, а не жестоких бед.

А может в пику, обессмертить ночь,
подобно академику Куинджи...
Но туба с охрой оказалась ближе,
на время сажу убираю прочь.

Этюд № 5

Настал октябрь... Светла Покрова гжель,
хотя не вся земля покрыта снегом.
Повсюду — серо-грязная пастель,
и паберега не белá, а пега.

Местами смачно чавкает мокреть —
зима пришла, но злобствует вполсилы.
Ещё не срок России околеть,
не тот мороз, чтоб околеть России.

Пользителен мне тутошний мороз,
ведь я чалдон кержацкого подмеса...
До мая не услышу грозных гроз.
Опустошённо, серо и белесо.

Хотя я жизнь обворовал как тать —
в сухом остатке ямбы да хорей,
но на душе — покой и благодать,
до Братска не дошли ещё бореи.

Мгновение хочу запечатлеть
без вычура ненатуральных красок,
не будоража колокола медь,
не надрывая беспричинно связок.

Сиюминутность эту сохранить,
не расчлнять на «будет» и на «было».
Сучить словес рифмованную нить...
Я не звонарь, а мой язык — не било.

Озноб

Устав от гнёта городских хвороб,
вхожу с моста в посёлок Постоянный,
и его облик, в целом деревянный,
ввергает в неожиданный озноб.

Топчу трещиноватый тротуар,
о гачи бьются стебли иван-чая.
Знакомые приметы привечаю
и открываю старый портсигар.

С крыльца взирает местный рыжий кот —
он служит понятым у лукоморья.
Преодолев посёлочное взгорье,
ищу полузабытый поворот.

Ещё чуть-чуть — и вот он, отчий дом...
Заменена на новую ограда...
А облик незабвенного фасада
такой же, как и в семьдесят шестом.

Транжира времени и юношества мот
не разорвал с двадцатым веком звенья:
реальным показалось наважденье —
на ужин меня матушка зовёт.

Хозяев нет. В дверях другой замок.
Из-под стрехи вспорхнула ввысь синица.
Былого перевернута страница,
заученная мною назубок.

Разность потенциалов

Ах ты, совесть моя, диссидентка!
Слышу твой протестующий глас —
вопиешь из сердечных застенков.
Чем тебя огорчил в этот раз?

Укоряешь меня и перечишь:
то не эдак и это не так.
О свободе не может быть речи,
жизнь моя — настоящий ГУЛАГ.

Велика разность потенциалов
между льзя и полярным нельзя.
Как бы совесть не уничижала,
с ней, похоже, ровнее стезя.

Но пока не причислены к ретро,
не настиг нас последний недуг,
пусть зашкалят все разом вольтметры
от накала тех вольтовых дуг.

* * *

Настало времечко итожить...
Влюблялся чаще, чем любил.
То без причин себя треножил,
то истощался сердца пыл.

Не сожалею ни на йоту,
себя не буду яро клясть —
любовь не превращал в работу,
когда повелевала страсть.

Как будто собраны все камни
и белых нет в шкафу одежд,
но не закрыты ещё ставни
для всех несбывшихся надежд.



ВЛАДИМИР ЖУРАВЛЕВ



Отпуск в зимний период

РАССКАЗ

*Светлой памяти моего отца
Аркадия Аверьяновича посвящаю*

Напугать рассказнями о том, что Иркутская сторона — это сплошное чередование холода и слякоти, а зелёная щебечущая благодать для её жителей лишь несбыточная мечта, можно исключительно тех, кто сей благословенной земле по сути своей чужд или случаен.

Те же, кто считают её родной, умеют ценить то, что она даёт, и за время, которое в иных краях тратится только на то, чтобы понять, чего же избалованной нескончаемым теплом душеньке хочется, успевают получить все тридцать три удовольствия.

ЖУРАВЛЁВ Владимир Аркадьевич, прозаик. Родился в 1961 г. в с. Новолетники Зиминского района Иркутской области, где жил до окончания средней школы в 1978 г. В 1984 г. окончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта и был призван на срочную воинскую службу. В 1987 г. направлен в Саратов на Высшие курсы МВД СССР по линии ОБХСС. Двадцать лет прослужил в системе МВД, уволился в звании полковника. Автор сборников: «География души» (Иркутск, 2011), «Лавочка» (Иркутск, 2012), «Отсветы» (Иркутск, 2016), «Другие награжденные лица» (Иркутск, 2019). Печатался в различных периодических изданиях Иркутской области, а также в журналах «Юность», «Сибирь», «Первоцвет», «Сибирячок». Обладатель награды «Бронзовый витязь — 2018» и диплома в номинации «Проза» форума «Золотой витязь — 2019». Живёт в Иркутске.

Накупаться в реке или озере, кои найдутся поблизости в любой округе, и в которых вода хотя и чуток похолодней, чем в Чёрном море, но зато гораздо чище.

До смуглоты покрыться загаром, что, по утверждению знатоков, и держится дольше, и полезней южного.

Прихватив денёк-другой к выходным, съездить на Байкал и напитать там тело и душу щедрым к тому, кто его почитает, духом священного моря. Или скататься на такие же выходные к источникам: минеральным, радоновым, горячим и прочим, какие они только ещё бывают, и совместить там полезное с приятным.

Да просто взять удочку и пройтись с ней по речке, где другие купаются. И если руки растут оттуда, откуда надо, и малость подфартит, вернуться домой с уловом.

А потому те, кто обосновался в этих местах, как говорится, и душой, и телом, без всякой обиды прощают настойчиво подгоняющей летние беззаботные прелести зиме её холодную требовательность. И время до нового тепла у таких людей течёт быстрее и легче от мысли, что наше лето всё-таки стоит того, чтобы его подождать.

Нынче мой отпуск по графику приходился на август. Неоднократно воспетый поэтами месяц прощания с летней мечтой меня вполне устраивал. Особенно учитывая, что как вариант предлагался ещё и октябрь, которому дела до мечтаний нет, и он без всякого разбега, в одночасье может перескочить из тихой задумчивой желтизны в стылую снежную круговерть. Вот когда действительно, хочешь, не хочешь, а приходится с сожалением прощаться со всем, чего от лета хотелось, да так и не случилось.

Планы на отдых у меня были самые житейские. Сначала съездить с семейством в деревню к родителям.

Во-первых, помочь им с покосом. Правда, вполне возможно, что они к тому времени и без нашего «могучего» отряда помощников управятся, что больше от погоды зависит, чем от них самих.

Во-вторых, обязательно, пока ребятишки под присмотром мамы и бабушки будут потреблять садово-огородные витаминки и пить домашнее молочко, побродить с батей и брательником по знакомым с детства быстрым, шумливым шивёрам. Потаскать из прозрачных струй собранным из бамбуковых колен длинным махалом хитрых «харюзей» и нахрапистых леночков.

Конечно, пару раз пробежаться с ведром или корзиной по тенистым березнякам и мшаникам за грибами-ягодами.

Да и просто повалять дурака на просторной, что даже школьный стадион поместился, поляне у протекающей вдоль села реки.

А вернувшись из деревни, рвануть тем же составом в бархатный сезон на Байкал, на Малое Море.

На отлогом берегу какого-нибудь залива, почти у кромки прогретой до ласковости воды, разбить среди прочих пару своих палаток. Оставив по ту сторону перевала все заботы, пожить с неделю в этом укрытом с трёх сторон скалистыми сопками уголке мира. Подышать свежим до головокружения ветром, пропитанным водой, лесом и степью одновременно. Раскинувшись на короткой и ровной, будто кто её подстриг, травке, жмурясь как кот, погреться на ярком, но не испепеляющем солнце. Посидеть у ночного костра под звездопадом, что увидишь только на Байкале и только в августе. Напрочь забыв о вреде чревоугодия, вволю поесть свежепойманной рыбёхи, начиная от обычных окушков и заканчивая деликатесным омулем, что здесь же на костре копти-жарь-вари хоть круглые сутки.

Но, увы. Даже эти немудрящие затеи оказались несбыточными. В конце января в планах моего верхнего начальства что-то перетряхнулось, не сложившись обратно, скатилось к среднему звену, а оттуда к самой «земле». В итоге Игорь Кочнев, начальник отделения БХСС, в коем я имел честь служить опером, без энтузиазма, обычно сопутствующего такому событию, объявил, что с первого февраля мне предоставляется очередной отпуск. Целый месяц, не тревожимый отцами-командирами, я могу любоваться завораживающими метелями и восхитительными зимними пейзажами, достойными картин лучших художников, и вообще делать всё, что пожелаю. С чем он меня, собственно, поздравляет, и через десять минут ждёт от меня соответствующий рапорт. Кстати, за трое суток, после которых время любования начнёт обратный отсчёт, мне нужно успеть довести до ума и «принять процессуальные решения» по всем имеющимся на руках делам. Потому что иначе делать это придётся, уже числясь в отпуске.

Учитывая, что заволокиченных сверх всякой меры указаний, жалоб и «доносок» у меня болталось немало, а корпеть над ними, считаясь отпусником, не было ни малейшего желания, времени на оплакивание почивших в бозе летних планов просто не оставалось.

Три дня, от утреннего рапорта до вечернего «разбора полётов», отложив «на потом» всё прочее, я тыкал двумя пальцами в клавиатуру серого железного ящика, именуемого электрической печатной машинкой «Ятрань». Переменяя щелканье печатных букв устной непечатной речью, без которой не обходится ни одна вынужденная бесполезная работа, я с тупой последовательностью производил на свет постановления, сопроводительные письма и ответы недовольным или бдительным гражданам.

В итоге, в отведённый срок всё же задулил по инстанциям, в архив и «в космос» весь бумажный завал, скопившийся у меня почти за полгода. Вернуться обратно раньше, чем я окажусь для канцелярии в отпускной недосыгаемости, эта макулатура однозначно не могла.

Закончив это нелюбимое для любого настоящего опера дело, и наконец расслабившись за своим небольшим письменным столом, ставшим просторным без лишних писуллек, важно именуемых делопроизводителями документооборотом, я задумался. Завтра начинался отпуск, а чем заняться, кроме предложенного созерцания снежных пейзажей и пяленья с утра до вечера в триндяди телевизор, на ум не приходило. Для подлёдной рыбалки февраль далеко не лучшая пора, а охота «на птичек», для которой сейчас время, меня особо не прельщала. Кататься с горы или бегать по морозцу на лыжах, как и бегать вообще, я тоже не любитель.

Выходило, что зима за окном и лето на экране — это всё, что будет меня радовать в нынешнем добровольно-принудительном отпуске.

Придя к такому выводу, я взгрустнул и вынул всю имевшуюся при себе наличность, так как «простава» за очередное отпускное убытие не отменялась в любом случае.

На закуску денег насчиталось с лихвой, а выпивки и без того было достаточно.

Друзей «зелёного змия» в нашем отделении не водилось, принимали мы в меру и исключительно по поводу, как, например, сегодня. Хотя общеизвестно: была бы водочка, а повод, как и опыт, сам приходит.

К тому же, после недавнего объявления в стране борьбы не то с алкоголем, не то с алкоголизмом, я, наравне со всем взрослым непьющим народонаселением, пьющее в этом не видело необходимости, тут же стал держать в загашнике несколько бутылок водки «на всякий случай».

А случай, надо сказать, подворачивался через день да каждый день, и в основном у родственников, друзей и знакомых. А что делать, когда деньги есть, а спиртного не купишь, так как продают его исключительно по талонам, да и то «в драку». Пиво, правда, без талонов, только «в драку». Вот и шли друзья-приятели напрямик ко мне, потому что я, как любой полноценный «бэхээсник», мог затариться этой никчёмной, ставшей по чьему-то недомыслию сверхдефицитной жидкостью, без талонов и очереди. Через, так называемое, «заднее крыльцо».

Выбор закуски в ближайшем гастрономе, прозванном «мочалкой» из-за соседства с баней, по сравнению с другими магазинами, был всегда невелик даже для лиц, входящих в подсобку. А всё потому, что у заведующей, мягко говоря, некомпанейский характер, и на оптовых базах её недолюбливают и ничего путного не дают. Зато ходьбы от райотдела до «мочалки» всего три минуты. А потому, учитывая мороз с ветерком, она оказалась вне конкуренции.

Одевшись и сунув в карман крытого кирзой армейского полушубка сумасшедше модную в годы моего студенчества, чудом сохранившуюся с тех времён сумку из мешковины с портретом «битлов», я уже направился к двери кабинета, когда на всех четырёх столах одновременно настырно затрещали параллельно соединённые телефоны. Посомневавшись, отвечать или нет, и определив по безостановочной трели звонок «межгорода», решил снять трубку, так как начальство по междугородной линии нас не домогалось. Это мог быть только чей-то родственник. Так и вышло, звонила моя старшая сестра, жившая в Ангарске, в тридцати километрах от областного центра.

После взаимных дежурных вопросов-ответов о семейных делах и живого обсуждения не отпускающих вот уже почти полмесяца крещенских морозов, она осторожно поинтересовалась:

— Тебя, говорят, неожиданным отпуском «осчастливили», какие на него планы?

— Только что сам себе задавал этот вопрос, — хмыкнул я в ответ, — никаких.

— Слушай, Вов, — тут же воспрянула сестра, — я с мамой на прошлой неделе разговаривала, их ансамбль на какой-то фестиваль аж в Чебоксары пригласили, а папка её не отпускает. Говорит, что не хочет один оставаться. А как они без неё? Да и билеты уже купили. Она меня попросила приехать, с отцом пожить, но у меня не получается, на работе завал, даже без содержания не дают. Может, тогда ты съездишь, раз в отпуск идёшь, а то сам знаешь, что будет, если она без его согласия уедет, и папка один останется.

— Знаю. Как говорила бабушка: «Муж из дому — изба сиротка, жена из дому — изба холостячка».

— Точно — засмеялась сестра, — так что, если и дальше говорить бабушкиными словами, «воля необходимо» тебе недельку в деревне пожить.

— А не боишься, что и мои домочадцы на неделю осиротеют, и в родительском доме два холостяка образуются? — я тоже засмеялся. — Ладно, Галь, не переживай, я и сам туда собирался. Правда, попозже хотел, как морозы спадут, но могу и сразу двинуть. Тем более что с осени дома не был и уже соскучился по деревне. Когда, говоришь, эта художественная самодеятельность отчаливает?

Сестра облегчённо вздохнула:

— Послезавтра вечерним автобусом до Зимы, а там сразу на вокзал и...

— Понятно. Мать наверняка сегодня снова позвонит, скажи, чтоб не волновалась, послезавтра с обеда буду у них. А батя-то чего вдруг взбрындил?

— Я не знаю. Может действительно одному скучно, а может, кто из них сказал

другому чего не так, поцапались, а теперь каждый гнёт свою правоту. Не знаю, приедешь, сам спроси, — по тону я понял, что сестра что-то не договаривает, но уточнять ничего не стал.

Мы коротко посоветовались о том, что отправить от нашей семьи большой чебоксарской родне, из которой мама родом, и которая обязательно соберётся на «пуху»¹ по поводу её приезда. Потом обсудили, что мне взять с собой в деревню родителям, договорились, что по пути я обязательно заеду в Ангарск за гостинцами, и распрощались.

Через два дня, сразу после полудня я, как и обещал, подкатил к родительскому дому. Выскочил на морозный воздух из своего урчащего предмета гордости — коричневого четырёхместного двенадцатого «Москвича» и с удовольствием, так что трескоток пошёл, потянулся. Широко, словно руки для объятий, распахнул загодя разложенные изнутри родителями, потемневшие от времени тесовые створки ворот. Хрустко оставляя след, лихо въехал в метёный двор, слегка припорошённый свежесвыпавшим снежком, заглушил движок и, выдохнув, «выпустил пар» — всё, дома!

Раскрыл дверцу и едва успел свесить ноги из машины, купленной, кстати, в долг на срок «отдашь, когда сможешь» у той же сестры с её мужем, попал в оборот к восторженно скакавшей Дамке, нашему преданному дворовому долгожителю.

Услышав весёлый заливистый лай, во двор выскочили прозевавшие моё появление родители. Оба в чунях из старых валенок с обрезанными голяшками и в накинутах на плечи тужурках, что первыми висели с краю вешалки.

Отодвинув взгромоздившуюся лапами на грудь собаку, сумевшую, несмотря на все мои увёртывания, облобызать мне лицо шершавым языком, я тоже заторопился навстречу.

Отец сначала радостно, но сдержанно меня приобнял, а потом, сверкнув спрятанной в глазах хитринкой, повернулся к матери:

— Что, дождалась спасителя?! Смотри, и сам приехал, и снег с собой привёз, значит, и тепло следом катится. А ты из дому «фестиваль» собралась.

Мама, нисколько не обратив внимания на его подначивание, ласково прижалась ко мне:

— Здравствуй, сынок! Как доехал? Не стой на холоде распахнутый.

— Нормально, мам, в машине не поездом, сел да приехал, — мне показалось, что я физически ощутил обволакивающее меня на морозе мамино тепло.

— Пошли, пошли в дом. Там хлеб к твоему приезду испекся. В печи, в чугунах картошка с мясом и каша горячая тебя дожидаются.

— Хорошо, сейчас, — я тут же почувствовал, что проголодался, хотя ещё минуту назад даже не думал о еде. — Только сумку из машины заберу. Там чебоксарцам подарки и вам с отцом кое-что по мелочи.

— Да что нам с отцом надо-то, только чтоб вы сами почаще приезжали, да внуков привозили, а больше и ничего, — вздохнула мама, довольная, однако, что о них и в этот раз не забыли.

Пока я у порога снимал сапоги с шубой и определял их в запечье ко всей прочей одежде, мама вынула томившиеся на подовом жару чугуны, а отец, присев за столом на «хозяйское место» у окна, нарезал широкими аккуратными ломтями ещё не остывший хлеб.

Я подошёл к печи, сначала потрогал её приятное, белёное извёсткой кирпичное тепло ладонями, а потом прижался к нему спиной и глубоко вдохнул самый

¹Пуху — в переводе с чувашского означает всеобщий сход, собрание.

сладкий и незабываемый аромат в жизни — аромат детства. Именно так: приготовленной мамой и бабушкой едой, свежим хлебом, молоком и пропитавшейся машинным маслом и соляровкой спецовкой отца пахло моё детство.

Мама закончила носить из кухни холодные разносолы и горячую парящую картошку, присела рядом с отцом, и все с удовольствием почерпнули из своих тарелок по первой ложке.

Ели не торопясь, словно само время, угадав к столу, согласилось разделить его с нами. Потихоньку обсуждали семейные и окрестные события, перебирали услышанные «от людей» или увиденные по телевизору новости. До мелочей выспрашивали друг у друга, чем закончилось то или иное дело, о котором вот так же говорили в мой последний приезд. Умиротворённые вкусной едой и позволенной себе неторопливостью, не спешили заканчивать это почти что священнодействие. Поев, взялись пить чай из электросамовара, что уже десяток лет царствовал на столе у стены с розеткой. Потом, освободив от тарелок немного места, отец разложил перед собой привезённый ему в подарок миниатюрный набор для резки по дереву. Тщательно осмотрев «выкруженные» мной по благу в хозмаге красивые хромированные инструменты, удовлетворённо кивнул: «надо опробовать», отложил в сторону, и снова потянулся к заварнику.

Мы понимали, что едва закончим обед и выйдем из-за стола, как таящееся в закромке «чемоданное настроение» тут же расплзётся по всей избе. Исподволь отодвинет в сторону радостную суету, связанную с моим приездом, заменит её ворохом совсем иных хлопот и сядет у порога в ожидании своей звёздной минуты расставания.

Мама вынет из дальнего угла уже наполовину уложенный ею давнишний, но почти не использованный большой чемодан. Поставит его на законное сегодня место посреди комнаты, а рядом приткнёт сумку поменьше. Зашебаршит по полкам шкафа и комода, вынимая и укладывая в приготовленную дорожную тару что-то только ей ведомое. Отец и я заснуём в амбар и кладовку, занося в дом то одно, то другое до тех пор, пока битком набитые баулы, перетянутые для верности ремнями, не окажутся в сенях на морозе.

А едва начнёт темнеть, боясь пропустить, когда мимо дома пройдёт автобус, родители станут поглядывать на угловое окно, у которого специально для этого оставят открытыми ставни. Когда заснеженный «пазик» мелькнёт в нём своими огнями, оба облегчённо вздохнут, и начнут бросать взгляды на часы, отсчитывая его путь назад. И хотя этот пыхтящий работяга при всём желании не сможет прийти и возвратиться из крайнего по маршруту села раньше, чем через два часа, уже через час засобираются на остановку, до которой десять минут ходьбы, а теперь, на машине и вовсе минута. Так было всегда, когда в этом доме провожали кого-либо из домочадцев, так должно было быть и сегодня. И ничего в этом особенного, а тем более плохого, нет.

Однако в этот раз получилось несколько по-иному. Мы как раз заканчивали чаёвничать, когда затренькал телефон на лакированном трюмо, самолично смастерённом отцом ещё в давний год приладки к купленной избе пристроя и преобразования её в дом-пятистенок. Я, как самый молодой и скорый на ногу, тут же подхватился, снял трубку и серьёзным тоном отчеканил: «Бэхээсэс, говорите, вас слушают». Женский голос на том конце провода ойкнул, и тут же пошли короткие гудки. Понятно, что сразу же телефон заголосил снова, но в этот раз трубку взяла уже мама. Поздоровалась и, видимо отвечая на осторожный вопрос, произнесла:

— Да, Зина, это я.

Потом с укоризной глянула в мою сторону:

— Никуда ты не попала. Это Вова у нас так шутит. Ну да, сегодня в обед приехал.

Согласно кивая головой, недолго что-то послушала, коротко резюмировав: «Хорошо, понятно», закончила разговор и довольная вернулась за стол.

— Зина Павлова звонила. Рейсовый автобус можно не караулить. За нами отдел культуры свой отправит. К восьми придёт и будет всех ждать возле клуба.

— Ну, правильно, а то только вас пол-автобуса, да еще сколько народу по всем сёлам соберётся. А так и доедете без тесноты, и довезёт до самого вокзала. Я машину пораньше заведу, чтоб прогрелась. Две минуты, и мы у клуба, — я посмотрел на мать, ожидая её одобрения.

А та неожиданно меня осадил:

— Ну, вот ещё, машину по морозу гонять, когда и так можно дойти. Чемодан с сумкой на санки положим и покатым. Не в первый раз.

— Ты что, мам, наоборот, зачем тащиться пешком, да ещё по морозу, когда под боком машина?! — от неожиданности я даже не сообразил, что ещё сказать.

— Не выдумывай! — отмахнулась мама.

Вряд ли я сумел бы убедить её в своей правоте, но до того молчавший батя искоса посмотрел на жену и не очень громко отрезал:

— Хочешь идти пешком, дуй пешком. А другие-то, какого должны сопли морозить?

Мама в ответ что-то неразборчиво буркнула, нахохлилась и недовольно замолчала. Впрочем, скоро остыла, и едва отец, а следом и я, потянул с печки валенки, чтоб идти во двор, как она, не отрываясь от мытья посуды, всю стала раздавать советы: что принести из амбара, что поднять из погреба, и в каком ларе что искать.

Хоть и автобус за артистами послали специальный, и предупредили, что придёт он не раньше восьми, но, тем не менее, уже без двадцати восемь, в крайнее, по убеждению мамы, время, я подвёз её к клубному крыльцу. Отец с нами не поехал. У машины неумело ткнулся губами жене в так же неумело подставленную щеку, буркнул: «Смотри там», повернулся и ушёл в дом.

Внутри клуба уже маялись, не зная куда себя деть, заведующая, трое уезжающих и провожатый. Почти сразу после нас вошли ещё две женщины, потом ещё и ещё. Кого-то провожали, кто-то нет. Клуб сразу наполнился шумом. Входящие, здороваясь, обходили тех, кто пришёл раньше, все одновременно что-то говорили, спрашивали, отвечали, смеялись. При этом иногда вопрос звучал на чувашском языке, а ответ на русском, и наоборот. Раньше в нашем селе такое было сплошь и рядом, даже в школе на уроке кое-кто мог ответить на русско-чувашском. А нынче такое можно услышать разве что при разговорах «самых старших».

Накануне отъезда ансамбля «на фестиваль» проводин, вопреки местным традициям, не гулялось. А происходившее сейчас, за минуты до прибытия автобуса, даже и до порядочных проводов не дотягивало. Ни толпы своих и чужих родственников, ни частушек под гармошку, ни рюмашек на посошок. Так, обычный отъезд в город группы сельчан по всяким надобностям. Почти как на базар поросят продавать. И это несмотря на то, что наши деревенские артисты отправлялись выступать так далеко, да ещё и на свою историческую родину.

Ансамбль «Йемра», что с чувашского дословно переводилось «ветла», а для благозвучности все говорили «ивушка», был создан и вскормлен мамой более двадцати лет назад. За это время в клубе, где проходили репетиции и большая

часть выступлений, несколько раз менялись заведующие. Сам клуб пережил два пожара и переименование своих стен в «Дом культуры». В них поочерёдно «отбоянили» почти дюжина аккомпаниаторов. Но ансамбль, объединивший полтора десятка обычных деревенских женщин, которые с детства пели и любили петь, всё же сохранил свой основной костяк и приобрёл популярность в округе. В одно время даже получал кое-какие деньги от райисполкома, которые иссякли, как только вошла во вкус предвестница рыночной экономики — перестройка.

Удивлённый тем, что такое значимое для села событие не отмечено даже теми, кто по любому поводу готов погулять на людях и за счёт людей, не имея при этом к означенному поводу никакого отношения, я полушутя, полусерьёзно поинтересовался:

— Мам, а что вас так скромно, даже без митинга провожают?

— Да как сказать, — открыла свою печаль мама. — Мы сами против этого. Потому что мы уедем, а мужики только к нашему возвращению проводины закончат. А у всех ведь хозяйство. К тому же, думаешь один твой отец на дыбки встал, когда узнал, сколько дней наша поездка длиться будет. Я по домам ходила, уговаривала, чтоб других женщин мужья отпустили, а сама до последнего не знала, поеду или нет. Так что, не тот случай митинговать.

— А батя-то из-за чего вздыбился? Как будто в первый раз одному оставаться. Ты столько раз и в гости ездила, и в санатории, и ничего, ни разу не возмутился.

— Ты просто многого не знаешь. Он не возмутился, потому что я всегда молчала. А тут недавно не стерпела, когда он загулеванил. И, как в себя пришёл, всё ему высказала. А ему не понравилось. Вот и заявил: я, мол, недельку погулял, это плохо, а ты на две уезжаешь, это, значит, хорошо. Раз мне нельзя, то и ты дома сиди. А поедешь, забирай весь скотный двор с собой, иначе от него к твоему приезде одно мокрое место останется.

Мама замолчала. Я, не зная, что ей сказать, стал искать верные слова, но тут на моё счастье подошёл автобус и избавил меня от мучений.

Вместе со всеми мы двинулись на выход. Мама дождалась, пока войдут остальные, обняла меня и, шагнув на высокую ступень, вошла в автобус сама. Я подал ей сначала чемодан, потом сумку, и тихо и уверенно сказал:

— Поезжай спокойно, всё хорошо будет. Ты же знаешь, при мне в доме ничего случиться не может.

Мама успокоенно улыбнулась, оглядела рассаживающихся подружек и неожиданно с места в карьер звонко затянула: — Кай, кай Ивана!²

Но неожиданностью это, похоже, оказалось только для меня, потому что все в автобусе будто ждали этой запевки и, кто ещё с сумками в руках, кто стоя, кто уже сидя, тут же подхватили:

— Ма гаймастан Ивана?!³

Шофёр выбросил в окошко остатки наскоро выкуренной сигареты, что-то весело крикнул, пытаясь пересилить бабий хор, закрыл двери, и автобус, словно огромная музыкальная колонка на колёсах, снежно пыля, покатил по деревне.

Когда я вернулся, батя в накинутой на плечи фуфайке курил за столом в летней избе. Летней, потому что в ней летом и ели, и готовили еду, а значит и печку топили, сохраняя в «большом доме» прохладу для сна. Зимой наоборот, печь в ней

²Кай, кай Ивана! — в переводе с чувашского означает: «Выйди, выйди за Ивана!» Слова из народной песни, сложенной во времена образования колхозов при Советской власти, в которой мать уговаривает девушку выйти за богатого Ивана, а та отказывается, желая выйти за комсомольца.

³Ма гаймастан Ивана?! — в переводе с чувашского означает: «Почему не выходишь за Ивана?»

топили только чтоб не помёрзла картошка в подполье. А в остальном, это хоть и небольшой, но обычный рубленый четырёхстенок. Бывшая брошенная на погибель хомутарка, перевезённая из соседнего Михайловска, исчезнувшего в годы моего детства наравне с другими деревеньками, при укрупнении одних сёл путём ликвидации других.

— Проводил? — не то вопросительно, не то утвердительно глянул в мою сторону отец, едва я переступил порог.

Я в ответ молча кивнул, как, мол, ещё может быть, и прошёл чтобы тоже сесть, но отец погасил окурки:

— Пошли в избу, я только чай заварил. Тебя ждал.

В доме быстро сообразили на стол пару чайных чашек, отец скинул холстинку с вазочек со сладостями, стоявшими у самовара, и, приоткрыв холодильник, поинтересовался:

— С каким-нибудь бутером будешь или просто так?

Есть после сытного обеда и хорошего перекуса перед маминым отъездом не хотелось, и я, глянув на вазочки, ответил:

— С каким-нибудь вареньем. Или конфеткой.

Пришлёпнув дверцу холодильника, отец вернулся к столу, подставил под носик самовара чашку и снова, не то спрашивая, не то утверждая, произнёс:

— Жаловалась?

— Да нет, — я даже не стал притворяться, что не понял отцовского вопроса. — Выговорилась немного перед самым-самым и всё. Может, что и больше бы сказала, да автобус пришёл.

— А больше тут и говорить нечего! — батя чуть повысил голос, и я понял, — этот латаный-перелатанный, но искренне убеждённый в своей правоте трактор с дороги, что он считает единственно правильной, не свернуть. Его можно грузить сверх всякой меры, на нём можно днём и ночью пахать и гнать вразнос, выжимая все его дизельные соки, но заставить свернуть — нет. Пока он сам не отползёт в придорожную яму и не заглохнет там, вдрызг раскуроченный, раскорячившись на потерявших гусеницы катках.

Уяснив, что на тему размолвки с матерью говорить, а тем более спорить, мне не стоит, я сунул рот карамельку и молча стал прихлёбывать налитый отцом чай. А чай он заваривал всегда отменно.

Но батя, которому недосказанность видимо мешала, как воткнувшаяся в пятку заноза, сам вернулся к затеянному разговору.

— Вы с женой как к друг другу относитесь? — в отличие от обычной своей манеры говорить как бы между прочим и в сторону, он воткнул в меня свой взгляд, требуя ответа на вопрос. Я не выдержал и опустил глаза. Росту батя не высокого и по сложению худовастенький, да вот глаз у него не простой.

Он, было дело, «рожу»⁴ на расстоянии излечил у неходячей женщины, просто что-то шепча и глядя на рассвете в сторону дома, где её у калитки посадили. Сам тому свидетель.

— Да вроде всё нормально! — я поднял глаза и, недоумевая куда он клонит, пояснил: — Было б плохо, вместе бы не жили.

— А! — сморщился отец. — Я про отношения, а не про кто с кем живёт. Если б каждый жил только с кем ему хорошо, кругом бы рай был!

⁴Рожжа — опасное кожное инфекционное заболевание. Получило свое название от французского слова rouge, что означает красный.

— Ну, ты даёшь, — я усмехнулся. — Прямо афоризм. Надо запомнить и вернуть при случае.

Однако отец моего смешка как и не заметил:

— Вот и мы с матерью живём. Скоро сорок лет уже вместе. Ей восемнадцать, мне двадцать пять было, когда сошлись. Вас троих народили и в люди вывели. Как ты сам сказал, нормально всё у вас, не из последних жил детей своих тянете. Выходит и мы с ней не напрасно, правильно живём. А вот только была ли она у нас, эта самая жизнь?

— Что-то не пойму, батя, о чём ты, — из меня улетучилось всякое веселье. — А что тогда было?

— А я и сам не знаю. Я в двенадцать первые трудодни в колхозе заработал. Коногоном на бороньбе. На коня верхом меня подсалят, узду в руки подадут, я и правлю, пока всё поле не забороню. Первый час только интересно было покататься, а потом плакал, не хотел в поле идти. А только кто меня спрашивал, хочу я или не хочу? В оконцовке, от травы борону чистили, да по случайности ею ногу мне и придавили. Навылет стопу зубом прошило. Повезло, что между всех косточек и сухожилий попало, а так бы хромал всю жизнь. Вот. Остаток лета я дома просидел. Шарик меня лечил. Хоро-ошая собака была. Злая, умная. Я утром на крыльцо выползу, тряпочку с травками, что мать уходя на работу наматает, сниму, ногу ему протяну, он всю мокроту, что скопилась, мне и вылизет. И так всё время. Она скопитя, а он слижет. И не дал ведь ноге загнить, лизал, пока рана сухой коростой не стала покрываться и затягиваться не начала. А горбинка на том месте так и осталась. У меня в доме с тех пор все кобели — Шарики.

Отец вздохнул, посмотрел на стоящие на серванте старые подаренные на какой-то из материних юбилеев часы, и продолжил:

— А матери как пришлось. Девять лет ей было, когда война началась. А на Волге, не в Сибири — война по-другому доставалась. От Нижер до Сталинграда, как от наших Ново-Летников до Красноярска, а до Москвы вовсе рукой подать. В первую же военную уборочную всех от мала до велика в поле отправили. Хлеб надо было успеть убрать, чтоб немцам не достался.

Никто ведь не знал, докуда они дойдут. Окопы и блиндажи, что тогда бабы и старики наравне с мужиками строили, до сих пор за их селом разглядеть можно.

Отец смолк, тронул за хромированный бок самовар и включил его. Тот, немедля откликнувшись своим кипучим нутром, пшикнул и зашептал что-то непонятное на водно-самоварном языке. Словно стараясь разобрать этот шёпот, батя замер, но тут же стряхнул напавший морок, и стал наливать в чашки заварку:

— Ну что, ещё по чайку и на боковую?! Или дальше посидим? Смотри сам. Ты сегодня с утра в дороге, а потом ещё здесь во дворе до темна мотался.

Вообще-то, я бы ещё поговорил, потому что отец, хотя уже и признавал меня взрослым, самостоятельным мужиком и очень серьёзно относился в некоторых вопросах к моему мнению, но никогда до этого не разговаривал со мной на такую тему. Но мне показалось, что он выглядит устало, и я согласно произнёс:

— Давай на боковую.

— У печки, где потеплее ляжешь?

— Нет, у окна. Ты всё равно раньше встанешь, так что ложись у выхода возле печки, а я с утра поваляюсь, — я с удовольствием подумал, что хлопоты последних дней, наконец, закончились и можно будет вволю поспать.

— Спи, пока спится и возможность есть, — одобрил отец. — Мне вот сейчас

на работу не надо, хозяйства во дворе с гулькин нос, ничего сну не мешает. Так нет же, расшиперю глаза ни свет, ни заря и лежу, во тьму пялюсь, а в голове хрень всякая крутится, будто кто виноват, что я постарел, и сон мой обратно в детство подался.

— Как это, в детство подался? — я непонимающе уставился на отца.

— А куда ж ещё ему деваться, если пацаном в колхозе да потом на службе, только о том и думал, чтоб выспаться, а сейчас и подремать иной раз путём не получается.

Так и не поняв, шутит отец или говорит серьёзно, я с сомнением покачал головой. Потому что знал: если батя устал и захотел вздремнуть, чтоб уснуть, ему хватает полминуты, пусть хоть пушки рядом стреляют или бензопила ревёт. И, чтоб выспаться и взбодриться, днём ему тоже нужно десяток минут от силы.

На толстой взбитой мамой перине, в тишине и покое, я действительно, выпался от души. Отец, встав намного раньше меня, с восходом не стал открывать ставни, чтоб в спальню не заходил свет, и когда я проснулся, то решил, что ещё ночь. Снова уткнулся в подушку, поворочался некоторое время с боку на бок, безуспешно пытаюсь задержать уходящий сон, и, как сказал батя, расшиперил глаза. Потом, глянув на окно, увидел пробивающуюся в щелку между ставнями тоненькую яркую полоску — оказывается, на улице всю гуляло солнце.

Хотя накануне, как и ожидалось, после выпавшего снега малость оттепелило, к утру мороз опять уверенно вывалился за «тридцатку». Я это ощутил сразу, едва скинул с себя толстое одеяло. В такой холод за ночь дом успеваешь выстыть, а отец, опять-таки чтоб не тревожить мой сон, с утра не стал таскать дрова и топить общую для спальни и зала «голландку». Да ещё и дверь из прихожей прикрыл, чтобы мне шум не мешал.

Зато русская печь была протоплена с избытком. Войдя в прихожую, я оставил дверь распахнутой, и тепло немедля потекло в соседнюю комнату.

Отец, закончив к этому часу утренние дела, сидел у самовара с испускающей ароматный кофейный парок чашкой в руке. Баночку индийского растворимого кофе отправила Галя с прочими гостинцами, когда я заезжал к ней в Ангарск.

— А чего меня не разбудил? — поинтересовался я у него, направляясь к умывальнику.

— Зачем? — отец искренне удивился. — Спешка какая или ещё что? Давай, ведущий глаз промой да завтракать будем. Только сначала голанку затопи, дрова здесь под печкой возьми.

Успевший основательно промяться и вдобавок слегонца промёрзнуть, отец сразу после еды с удовольствием растянулся в закутке у тёплой печной стены. Видимо рассчитывая поговорить, не стал задёргивать за собой лёгкую ситцевую шторку, но едва прилёг на топчан, как по своему обыкновению тут же задремал.

Недолго потолкавшись по дому в полном безделье, я засобирился во двор. Особой нужды в этом не было, но и забота в нём тоже всегда найдётся. Во-первых, надо снять с машины аккумулятор и занести в летний дом, чтоб при надобности легче заводилась машина. А потом, хорошо бы прочистить в снегу дорожку к дальней поленнице в огороде и, если хватит на морозе терпения, приволочь в ограду и наколоть несколько санок дров. Всё, что было привезено отцом до меня, я переколоть ещё вчера, но запас для такой стужи показался мне небольшим.

Поторапливаемый холодом, быстро сдёрнул аккумулятор и определил его в летнике рядом с печкой. Выбрал в углу сарая самую большую лопату, прихватил

старые гнутые из берёзы санки, изготовленные ещё дедом Шерембеем, когда я в первый класс пошёл, и бодро отправился к огородным сугробам строить снежную дорогу.

Всё-таки недаром говорят: «Зимой поздно встать — солнца не видеть». Я только успел сквозь сугробы к поленице пробиться и свалить во дворе первый возок привезённых оттуда дров, как в калитку вошёл нахохлившийся под шубейкой, как воробей под стрехой, родной брат Василий. Он с недавнего времени был назначен в нашей школе самым главным — директором. А раз директор направился домой, значит, светило, встающее в нашей местности над Красной горой у Тагны, повернуло к ночёвке за Харикен-горой в Саянах. Выходит, последние двоечники, оставленные после уроков, отпущены домой, а следом отправились и их учителя. Потому что до темноты осталась какая-то пара часов, а у тех и других есть свои домашние обязанности, которые не отменяются ни отметками, ни каникулами, ни праздниками.

— Привет, товарищ генерал! — брат поставил на снег портфель и сдёрнул туго сидевшую перчатку на толстом меху.

— Пока только старлей, — я тоже скинул с руки вязаную, «обутую» в верхонку⁵ рукавицу.

Мы крепко сцепили ладони и на миг задержали рукопожатие, без всяких слов передав через него нахлынувшие на обоих чувства.

— А чего вчера не зашёл? Шибко занят был? — с деланным безразличием высказал я ему свою претензию и наклонился, чтоб откинуть в сторону якобы не так лежащее полешко.

— Кто бы хоть шепнул, что ты приехал. Я сегодня случайно узнал, что ты здесь, — брат, виновато глядя на меня, никак не мог надеть перчатку обратно.

— Что, ни мать, ни батя не говорили, когда приеду? — я недоумевающе глянул на брательника.

— Мать сказала, что самой пока ничего не ясно. А батя... Что, ты не знаешь его, что ли, — брат, наконец, осилил кожаную меховушку и облегчённо вздохнул.

— Ясно. Тогда сегодня приходи, как со скотиной управись. Посидим, рюмку чая выпьем. Я привёз.

— Ага, приходи. Ты оттуда, я туда. Вечером в Иркутск уезжаю, на курсы повышения квалификации. Семьдесят два часа — полторы недели буду учиться тому, как учить других. Видимо считают, что за двадцать с лишним лет я не освоил этого дела. Хорошо, если лекторами окажутся настоящие учителя со стажем, как, например, у матери, тогда будет что полезное. А если нет, — брат махнул рукой, — придётся слушать умные речи выпускников с красным дипломом, ни дня не работавших в школе, тем более в сельской.

— Ладно тебе. Зато выспишься, отдохнёшь за казённый счёт, с мужиками из районов встретишься, — я улыбнулся, прекрасно осознавая, что значат подобные курсы для опытных преподавателей, и как они на них «повышаются». — Для встречи с собой бери, в Иркутске с этим проблема: талоны не отоваришь, а таксисты уже по двадцатке за бутылку «андроповки» ломают.

— А у нас тут и подавно, ничего кроме самтреста⁶ днём с огнём не найдёшь.

⁵Верхонки — так в сибирских сёлах называют брезентовые рабочие рукавицы, одеваемые зимой поверх шерстяных рукавиц.

⁶Самтрест — шуточное название самогона. Вероятно, его корни исходят из аналогичного названия грузинского коньяка, производимого в СССР, и слова самодельный.

По талонам даже вина не привозят, а таксистов не водится, да и денег у нас таких нет, чтоб по их ценам покупать. Так что: дрожжи, сахар и вода — наши лучшие друзья! Литрец, настоящий на кедровых орехах, обязательно с собой возьму.

— Выходит, в этот раз мы больше и не увидимся? Когда ты вернёшься, меня уже здесь не будет. Даже в баньке не попаримся, — я уже не скрывал своего огорчения от того, что не получится посидеть, поговорить в родительском доме со старшим братом.

— Выходит так, — с не меньшим сожалением ответил брат и чуть улыбнувшись добавил: — Ничего, на речке летом наверстаем. Всё равно ведь на рыбалку хоть пару раз да приедешь.

— Приеду, куда я денусь.

Мы приобнялись, и брательник пошагал домой — вечер у него сегодня короткий. Надо успеть и скот напоить, накормить, и стайки почистить, и в дорогу собраться. А я, несмотря на мороз, решил притаранить ещё пару-тройку санок дров и отправился по свежепроторённой дорожке к поленнице.

Вечером я всё же не стерпел и с нескрываемым недовольством поинтересовался у отца, почему никто не сказал Васе о моём приезде, и он узнал об этом случайно.

Батя глянул на меня, как на телка на привязи, не понимающего, что его держит:

— Потому что он к нам не заходил. Зашёл бы — сказали. Или, может, я должен к ним с делами да новостями ходить?

— Да он же и так через день да каждый день у вас бывает! — зная, что так оно и есть, я раздражённо громыхнул стоящим у печи ни в чём не повинным стулом.

— Выходит не каждый, — невозмутимо глянул на мой фортель батя и, давая знать, что разговор закончен, добавил: — давай есть садиться.

Ни слова не говоря собрали ужин, сели друг против друга и стали черпать из общей жаровни разогретую вчерашнюю картошку.

Моё раздражение скоро улетучилось, и повисшее над столом непривычное молчание, как вода сквозь худую крышу, стало капать мне на темечко, наполняя мысли сырой тяжестью. Я опустил голову, чтоб не смотреть на отца, и без аппетита с трудом впихивал в себя то, что цеплял ложкой. Не выдержав, всё же поднял взгляд, и батя тут же поймал его:

— Что, сначала психанул, а теперь не знаешь, как быть? Э-э, а ещё собрался отца жизни учить. Сам-то что вчера к брату не заехал, как мать отвёз? Или днём не сходил? Две минуты делов, если огородами.

— Думал, он знает, и сам придёт, — буркнул я в ответ, и мне стало совсем не по себе, потому что вчера у меня, действительно, даже мысли не возникло к брательнику сгонять, отметитья.

— Вот так и получается: все только думают, а ногами пройти некому. Ешь, — отец кивнул на жаровню, — на одном чаю долго не протянешь. Тем более весь день на морозе колуном да лопатой промахал.

— Да, что-то не хочется, — я положил ложку.

— Хочется или не хочется, на другое важное для жизни дело влияние имеет. Да и то у баб. А поесть здоровый человек всегда должен хотеть, иначе желание шевелиться пропадёт, — отец демонстративно хрустнул солёным огурчиком.

— Не понял, нужно есть при каждой возможности или наоборот, голодным всё время ходить?

Прельщённый смачным хрустом, я тоже выудил из тарелки половинку огурца.

— Зачем голодным ходить? Голодный конь пахать не сможет. Только и жрать, как борову в стайке, не надо. Тот ведь, пока болтушка в корыте не кончится, рыла из него не вынет. А как схапает, так сразу здесь же и завалится до следующей. И так до тех пор, пока сам, вон, едой не станет, — батя выловил из жаровни небольшой кусочек мяса, и тут же скинул его с ложки обратно.

— То-то, смотрю, ты с похмелья сутки ничего не ешь. Я думал, тебя воротит, а ты, оказывается, лишку съесть боишься, — я засмеялся, представив отца толстым.

— Ну, ты не сравнивай, похмелье штука особая. При нём из всего организма только какая-то часть живой остаётся, а ей много не надо, поклевала как воробей и хватает.

Мне показалось, что отца, всегда долго и тяжело переносившего последствия излишней выпивки, при этих словах даже слегка передёрнуло, и я нравоучительно произнёс:

— А зачем тогда вообще пить, если потом каждый раз «помирать» приходится?

Батя изучающе посмотрел на меня, мол, придуряюсь или вправду не понимаю. Скрестя пальцы, широко, «с локтями» положил руки на стол, привалился к нему грудью, чтоб быть ко мне ближе, и почти выдохнул:

— А иначе, как жить?

И не дожидаясь моего ответа, который если б и был, то всё равно не тем, продолжил:

— Я, как с фронта пришёл, так здесь безвылазно и живу. За всё время два раза, пока молодой был, в «чебоксарию» к теще съездил, да пару раз в Иркутск отправляли на учёбу, по партийной и ещё хрен знает какой линии. Вроде и не держал никто никогда. Надо — поезжай куда хочешь, а как вплотную до дела дойдёт, так вечно, что-нибудь, да не так. То река, то тёлка поднимутся. Всю жизнь: от калитки до калитки, от темна до темна — одно и то же. Даже кино в клубе. А человек не может без праздника, пусть весь этот праздник — с компанией на бережку или в слесарке до соплей набратся. И опять-таки, сегодня вечером набрался, а назавтра уже до свету, будь добр на работе быть, хоть красный день календаря, хоть фиолетовый. Коровы сами себя не накормят и не подоят, и хлеб не вырастет, не уберётся.

То ли собираясь с мыслями, то ли раздумывая, стоит ли говорить об этом дальше, отец умолк, но почти сразу заговорил вновь:

— Ты вот, когда ещё здесь в школе учился, в Москве уже побывал. После студентом полстраны по соревнованиям объездил. А у нас в деревне многие мужики, как война кончилась и пришли домой, так больше нигде дальше Зимы не были. Да и то, на базаре картошку бабам продавать помогали.

— Что я, не знаю что ли, как здесь живётся? Я ж всё-таки... — попытался было я вставить пару слов.

Но отец, даже не дослушав, отмахнулся:

— Не знаешь, и знать не должен! Для того у нас в деревне каждый пропахший силосом и навозом скотник или доярка и стараются правдами-неправдами отправить своих детей в город, как только те восьмилетку кончат. Чтоб хотя бы они жили не так, как самим приходится. Чтоб у детей дни друг от друга отличались, и они не только по телевизору видели, что за соседним селом или за рекой и земля не кончается, и люди разные живут.

Словно что ища, батя коротко повёл глазами, оглядывая стол. Если б на нём в

этот момент стояла хоть какая-то выпивка, «и к бабке не ходи», отец, не раздумывая, замахнул бы полстакана «для успокоения нервов». Но выпивки не было, и его душевный порыв, выплеснувшись, как вода из-под крышки закипевшего чайника на горячую плиту, шумнул и, не получив продолжения, испарился. Отец сел так, как обычно сидел за столом, щедро намазал горчицей оставшийся недоеденным ломтик хлеба, откусил добрую половину и прищурился:

— Хороша, зараза! Основательно продирает.

Мне надо было что-то ему возразить. Потому что пьянство, а именно так, без всяких придумок, это называется, — ещё ни разу, ничью жизнь не сделало лучше. В детстве я наглядился на сверстников, чьи родители пили. Причём бывало, что оба. Видел, как это страшно. А вот что сказать в ответ, не знал.

Видимо мой натужный мыслительный процесс отразился на лице, потому что, прожевав хлеб, отец поинтересовался:

— Чего лоб наморщил? Думаешь, небось, вот старый загнул. Мало, что иной раз крепко загуливает, так ещё и оправдание себе придумал такое, что все кроме него в этом виноваты.

Снова глянул на меня и засмеялся:

— Угадал, вижу, что угадал. Ну, говори, что думаешь, чего молчишь?

— А что говорить? — я пожал плечами, — и в городе люди так же живут: утром на работу, вечером с работы, но пьют-то намного меньше.

— А после?

— Что после? — не понял я отцова вопроса.

— После работы что делают?

— Ничего, домой идут или ещё куда.

— Во-от. В том-то и вся разница: там после работы или ничего, или что душа пожелает. А в деревне после работы снова на работу, только уже в собственном дворе. Иначе не проживёшь. Если ж душа чего захотела, то перетопчешься — ни кабака, ни церкви нету. А что касается, где больше, где меньше пьют — скажи, сколько у нас тут пьяниц? Ну, таких, чтоб каждый день в вытрезвитель бы попадали, если б он был. Ты ж всех от мала до велика знаешь.

Я мысленно пробежал по селу от края до края и неуверенно ответил:

— Да вроде нет таких. Попадал бы, конечно, кое-кто, но не так, чтоб каждый день.

— Посмотри тогда, как выходит: в городе вытрезвитель всё время полный, а пьющих, говорят, мало. Здесь бы он без дела пустовал, а говорят, что сплошь одна пьянь живёт. А штука такая получается потому, что в городе народу тыщи. Никто друг друга не знает, и знать не хочет. На пьяненьких, что по улицам среди этих тыщ бредут, никто, кроме тех, кому положено, и внимания не обращает. Вроде есть они, и вроде нету. А здесь: одна улица, полторы сотни взрослых. Если каждый хотя бы два раза в год выпьет и со двора выйдет, то получается, что каждый день по деревне кто-то пьяный шастает. А пьют не два раза в год и компанией, оттого и пьянство в деревне, как бельмо на глазу.

Видя, что я порываюсь что-то сказать, отец подытожил:

— Не спорь! Если б в селе пьяницы жили, то городские трезвенники с голоду бы передохли. Хлеб со скотиной из-под земли самотёком не бегут, их растить надо. Ладно, вижу, что всё равно не согласен, и даже спорить с тобой не буду.

— Я тоже спорить с твоей арифметикой не собираюсь. Тем более, что теоретически, так и получается, как ты говоришь. Только ответь мне, — теперь уже я

наклонился ближе к отцу, — а чем материна жизнь от твоей отличается? Тоже с рождения в деревне. Как замуж вышла, так всё время рядом с тобой. Оба одинаково с утра до вечера на работе. И по дому: что на покосе, что в огороде или дворе — тоже вместе горбатились. Почему я тогда мать ни разу не то, что пьяной, выпившей не видел?

И снова, уже второй раз за разговор, отец глянул на меня, как на несмышлёныша:

— Так она ж на дух не переносит этого дела. Потому и не видел. А по-другому было бы, я б и жить с ней не стал. Терпеть не могу пьяных баб, — батя усмехнулся, — когда сам трезвый.

— А как же она-то тебя терпит? — я с интересом посмотрел на отца, так как полагал, что вразумительного ответа здесь нет.

— Вот так и терпит, куда ей деваться, — не то сожалея, не то просто соглашаясь с тем, что есть, вздохнул отец. — У нас ведь как: на жену позор, а на мужа разор. Вон, Петро Сухарёв, Лушку свою постоянно по пьянке гоняет, а кого люди винят? Её. Нечего, мол, пьяного мужика зудить, если сама не без греха. И ничего она, кроме позора, от того, что по деревне бегаёт да верещит, чтоб от мужа спасли, не получает. Тем более, что и бить-то её Петька особо не бьёт. Так, напомнит, кто в доме хозяин, когда забывает, и всё.

А вот что заборы у них сикось-накось стоят, и скот из-за того по чужим огородам топчется, ему уже все не раз высказывали. Как и то, что крыша на сеновале который год дырявая. Хрен бы с верхней полки на эту крышу другим. Так ведь, когда сено портится, и не хватает его до новой травы, тот же скот по весне опять шарашится где попало, потому что в своём дворе ему жрать ничего не дают.

Наш же дом позора никогда не терпел, тут мамке с её терпением памятник надо поставить. И разора никогда не было. По мелочи пока ещё успеваю, а пожар или наводнение нас по счастью не навещали, а то бы досталось, и не только мне, но и вам с Васькой тоже.

Отец замолчал, а я, переваривая услышанное, не мог сообразить: кто же всё-таки, по его убеждению, прав, и кто виноват, что живём мы именно так, а не иначе.

«Тише едешь — дело мастера боится!»

«Нет-нет, да и да!»

— Чирьи и на заднице, и на лице одинаково больно соскакивают. Только почему-то, когда на лице не стыдно, хоть и видно, а когда на заднице — стыдно, хоть и не видно. Оттого там и болит дольше, что никому не показывают и не лечат как следует.

— Время ничто не может остановить, кроме него самого.

— А смерть?

— А, что смерть. Смерть тоже не может. Она только его скорость переключает, как ты на своём «Москвиче».

— Это как?

— А так. Вот, когда ты совсем маленький, и она, если по-правильному рассуждать, для тебя далёко-далёко, что до поры даже и не знаешь, что она где-то есть, то живёшь ты, беды не зная, и время твоё едва шевелится. Но чем дольше живёшь, тем она ближе, и тем быстрее идёт твоё время. И вот оно уже просто летит, и скоро станет единственным, чего тебе не хватает. А потом его опять становится немеряно, потому что смерть превращается в само время. В бесконечную, нескончаемую, ничем не занятую ночь. А если бы существовала вечная жизнь, то тогда время

потеряло бы всякое своё понятие и само и умерло. Ни в том, ни в другом случае ничего хорошего нету. Потому люди и верят, что помимо тутошней есть другая жизнь, а там есть своё время.

— Ты тоже веришь?

— А я что, чем-то отличаюсь от остальных, или мне нравится эта вечная ночь? Я тоже надеюсь, что есть что-нибудь и получше лежания в темноте.

Вот представь человека, который прожил намного дольше обычного, ну, например, две жизни. С одной стороны, вроде, счастливчик: много успел, много видел, да и просто много пожил. А с другой стороны самый несчастный человек: всех друзей и близких схоронить да оплакать пришлось, дожил, что и по душам поговорить не с кем. Нужна она, такая жизнь? Жизнь, в которой он одни похороны и помнит, потому что всё, что сразу после рождения было, при таких мерках давно забылось.

— Мы потому и победили, что очень жить хотели. До того хотели, что даже умереть за это были готовы. Вот такое, неподдающееся для многих разумению дело.

— А вот представь, до атаки минута, жить хочется, помирать страшно, а ещё больше обидно, молодые ведь все, не старики. Но что делать, надо, раз судьба такая выпала. А жизнь, сын, в бою одна на всех, потому и надежда выжить у каждого одинаковая. А растащи эту жизнь по кусочку, когда каждый сам за себя, то даже и не надейся в живых остаться. Вот и бились до смерти все вместе за эту жизнь. Потом тем, кто уцелел, снова каждому своя доставалась: кому в госпиталь, а после домой или в богадельню. А кому возвращаться в окопы, а там опять одна жизнь на всех. И так пока не победишь или не погибнешь. Все, кто с войны пришли, от Бога два подарка получили: жизнь и победу. Другое дело, как с этими подарками обошлись. И те, кто вернулись, и те, кто их ждал.

— Бать, ты же в Бога не веришь. Или по моде стал жить и в церковники записался?

— Дурак ты, хоть офицер и при должности. В Бога верить — не значит в церкви лоб об пол расшибать.

— А что это значит?

— Да не много. Спасая товарищей, на штыки оказаться поднятым, как Костя Михайлов под Сталинградом, друга твоего Серёги дядька родной. Сроду незаработанной копейки не взять. А самое главное, если родили тебя человеком, то и живи им до самой смерти, сколь бы не отмеряли этой жизни, и как бы помирать не пришлось.

Помнишь детскую сказку про то, как купец за-ради барыша от Божьего пристанища в себе отказался, а когда нищать начал, взялся Бога в помощь звать. Да только вместо того, чтобы в первое дело душу вновь обрести, начал ему пенять, что тот не помогает. А Бог и рад бы помочь, но без души ему и прийти некуда, и опереться не на что.

Отец продолжал:

— Представь, что живёшь ты и жизни радуешься, и хочется тебе ещё долго вот так же жить и радоваться. А тут к тебе в дом вваливается какая-то тварь с ружьём и начинает палить, и загонять всех в один угол, чтобы сжечь одним махом: детей твоих, жену, мать с отцом, да и тебя самого тоже — всех. Что бы ты сделал? Правильно! Схватил бы, что под руку попадётся, а ничего не попало, с голыми руками да зубами кинулся на эту падлу, защищать свою кровь и кров. И не важно

тебе, жив ты останешься, или он тебя застрелит. Главное их спасти, потому что, если не спасёшь, а сам живой останешься, это всё равно у тебя не жизнь будет, а смертная мука. Не встречал я на войне солдат духовитей и страшней тех, у кого немцы всю семью убили. Для них весь дальнейший смысл был в том, чтоб теперь самим их убивать. Чем дольше живут, тем больше немцев убить должны — таким становилось их правило жизни. Мало кто из них после этого долго воевал... Ладно, чего мы вдруг об этом заговорили. Посмотри лучше, какое сегодня вечернее небо образовалось. Как осенняя полянка по краю леса с нетронутым брусничником. Редко у нас зимой закат таким спелым бывает.

И мы еще долго сидели рядом, глядя на небесную поляну с брусничником звезд.

ПОЭЗИЯ



МАРИНА НОЖНИНА



«Под небом шла осенняя краса...»

* * *

Бегут мои рифмованные дни
По тихим окоlesiцам былого,
А ну, смелей, попробуй, догони!
Бегут и растворяются они,
Разбрасывая чувственное слово.

Я лягу навзничь, закричу навзрыд,
Закрыв руками боли и сомненья,
И черный занавес, чем небосвод закрыт,
Запутается в воздухе весеннем.

Ночная, не подсвеченная даль
В воде лощины отразит виденья,
А рядом ходит тихая печаль,
Ложась на первый слог стихотворенья.

НОЖНИНА Марина Ивановна родилась в г. Нижнеудинске, жила в посёлке Камышет. В 1999 окончила Камышетскую среднюю школу, затем Тулунский педагогический колледж и Восточно-Сибирскую государственную академию образования по специальности «Изобразительное искусство». Работает в Ангарской школе искусств № 2 преподавателем высшей квалификационной категории по предметам: живопись, рисунок, композиция.

* * *

Разрезан день небесной полосой,
Весны прохладой и февральским плачем,
Всё это странно так, неоднозначно,
И нет чернил заветных под рукой.

Стряхну слезу капли с рукава,
Грачей, летящих над весенней лужей,
И этот день холодный, неуклюжий
Я, может быть, и вспомню ли едва.

А небо — то ли небо, то ли сталь,
Вот облако летит, как злой прохожий,
И плачет, плачет за окном февраль,
И нет чернил, и счастья, видно, тоже.

Подсолнухи

Напишу акварелью подсолнухи
И поставлю на зимнем окне,
Пусть оранжево-праздничным всполохом
Улыбнутся замерзшие мне.

Загорится вечернее зарево
Золотисто-прозрачною мглой,
И почувствую, будто бы заново —
Запах лета холодной зимой.

Напишу акварелью подсолнухи,
Пусть согреют продрогшую кисть,
В этом теплом, оттаявшем всполохе
Краски радости вместе слились.

* * *

Пропахну ладаном, дождем и медуницей,
Раскрою окна в заводах души.
Журавль в небе, а в руке синица,
Или другая сказочная птица,
Ты все равно ей хлеба кроши.
Из родника студеной и прозрачной
Воды напейся вдоволь или впрок,
Моя душа в наряде серо-мрачном,
То разноцветном, то как тень невзрачном,
Ложится под сухой июльский стог.
День задался, и белой пеленою
Плывут навстречу миру облака,

Склонился лес как терем надо мною,
И волосы с незримою тоскою
Мне гладит ветра мягкая рука.
На шее крестик плавится от солнца,
И хочется раздеться донага,
Душа по венам кровью разольется,
То филин где-то в чаще рассмеется,
То дождь из чаши грозовой прольется,
Запахнет ладаном в карманах рюкзака.

* * *

Там, где в полях не высохла роса,
Там, где туман клубится над рекою,
Под небом шла осенняя краса
И дождь несла с опавшею листвою.

Забыв палитру красок на песке,
Прошла надменной поступью, играя
Лучами солнца в ласковой руке,
Последний день дыханьем согревая.

Взлетев синицей в зарослях густых
Черемухи — копны бордово-красной, —
В пустой дали в просторах голубых
Растаял лик и пламенный, и праздный.

Холодным звоном серые ветра
Листвы осенней золото разносят,
А если серый дождь идет с утра,
Я точно знаю — это плачет осень.

* * *

Я грозу отпущу в небо синее,
В небо зимнее выпущу снег,
Потревожу ладонями сильными
Звонкий шёпот простуженных рек.
Языком колокольным несказанным
Звон стекает в молитвенный слог,
Все мы тонкой веревочкой связаны,
Все мы ищем заветный исток.
Я босыми ногами протяжную
Протопчу в своей жизни между,
И травинку тугую и влажную
На запястье своё повяжу.
И в тумане запрячется утреннем
Все, что было на свете и есть,

И в моем осознании внутреннем
Успокоятся буйство и спесь.
Прошепчу «Отче наш», и поклонами
Благодарность отдавши Земле,
Пропою с колокольными звонами
Песню ветра в густом ковыле.
Я грозу отпущу в небо синее,
В небо зимнее выпущу снег,
Разнесется с тоской журавлиною
Песня, словно земли оберег.

* * *

Чем растопить мне прошлогодний снег?
Ладонями весны? Слезами ветра?
Вороньим взмахом крыльев, и полвека
Искать себе невидимый ночлег?

Оттаявший в грязи холодных лет
В замученной тетради, в преисподней,
Записывать стихи свои в планшет,
В тетрадь записывать уж, стало быть, не модно.

Перебирать сто мыслей в голове,
Жалеть себя и мучиться часами,
Стихи читая о прекрасной даме,
И жить в себе, как будто бы в тюрьме.

Чем растопить мне память старых чувств,
Забывших и встревоженных случайно?
В закрытой книге словосочетаний
Я отпущу на волю, не моргнув.

И быть с самой собой наедине —
Не очень ухищренное занятие,
Чем растопить мне снег, вот это знать бы,
Чем чувства? — лучше знать вдвойне.



НИНА ЯГОДИНЦЕВА

КАНДИДАТ КУЛЬТУРОЛОГИИ, ПРОФЕССОР ЧГИК,
СЕКРЕТАРЬ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

Классики и современники: отношение к читателю и к реальности

*ВЫСТУПЛЕНИЕ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ СОВЕТА ПО КРИТИКЕ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ, АВГУСТ 2023 Г.*

За отношением писателя к реальности как к исследуемому материалу и к читателю как к потенциальному собеседнику всегда стоит определённая философская и выше — нравственная позиция; в общем смысле это отношение человека к человеку, Природе и Богу.

Эти отношения транслируются писателем и формируются у читателя в значительной степени под влиянием художественной литературы (и тех видов искусства, основой для которых она является). В целом это определяет здоровье современной культуры, степень устойчивости или катастрофичности жизни общества.

Следовательно, они заслуживают подробного и пристального рассмотрения не только с литературоведческих, но прежде всего с принципиальных культурологических позиций. Для того, чтобы культурологический аспект общей картины был более полным, мы предлагаем включить в рассмотрение ещё два критерия: это позиционирование автором себя в обществе и отношение его к герою произведения.

В качестве условного эталона мы принимаем классическую национальную литературу: мы понимаем классику как корпус литературных произведений, наиболее глубоко и полно отражающих национальную картину мира, национальный характер и его основные типы, наиболее точно показывающих нравственный подход к решению конфликтов и проблем жизни народа. По выбранным нами четырём критериям классическая литература характеризуется следующим образом:

— реальность является материалом для целостного, гармоничного и в первую очередь нравственного художественного исследования;

— отношение к герою — в первую очередь нравственно требовательное, и в то же время глубоко сострадательное, позволяющее увидеть причины и следствия пороков, конфликтов и трагедий;

— писатель позиционирует себя как человека, осмысливающего реальность и оценивающего её с духовно-нравственных позиций, становится искателем и проводником истины и её нравственных оснований. Самоопределение автора в русской литературе исторически начинается с отказа от имени и принятия статуса

смирного проводника сакрального текста, далее развивается через проповедничество к высокой художественности. Миссия писателя — служение;

— отношение к читателю — как к достойному уважения собеседнику, с которым возможно и необходимо беседовать на равных, вовлекая его в осмысление и обсуждение проблем общества.

Переходя к современной литературе, следует уточнить, что исторически понятие современности охватывает сегодняшний день и предыдущую четверть века. В предыдущих работах, характеризуя современный литературный процесс, мы выделили три его составляющие. Первая — так называемая «самодельная» литература (издаваемая автономно, не включённая в общественный диалог, но составляющая сегодня довольно заметное явление в силу широкой распространённости) и примыкающая к ней низовая массовая литература, щекощущая низкие инстинкты публики, быстро продаваемая и столь же стремительно забываемая. Это **профанная часть литературного процесса**, использующая форму литературы для примитивного «самовыражения» или продажи дешёвого книжного «ширпотреба», и с полным правом её можно обозначить как нелитературу.

Вторая составляющая литературного процесса — идеологически ангажированная литература (в нашем случае это идеология рыночного либерализма в её уже завершающей, вошедшей в противоречие с реальностью стадии). Её тоже следует отнести к рыночному сегменту: она хорошо оплачивается, на неё настроен пул литературных премий, заточены периодические литературные издания и издательства. Это **спекулятивная часть литературного процесса**, использующая форму литературы для трансляции идеологии либерализма и его ценностей, в итоге оказавшихся античеловечными. Следовательно, с полным правом можно сказать, что это антилитература.

И, наконец, литература, опирающаяся на национальную культурную традицию и развивающая её в современных формах. По большому счёту только она действительно выполняет функцию литературы в социуме: сохраняет живую историческую память, отражает день сегодняшний и моделирует будущее. Это **реальная часть литературного процесса**.

Профанная часть литературного процесса (нелитература) по указанным ранее параметрам может быть охарактеризована следующим образом:

— реальность для нелитературы является потоком хаотических, не связанных событий, из которых для повествования выбирается яркий случай, не имеющий причин, не являющийся следствием чего-либо. Отношение к реальности включает в себя элементы суеверия, низкий, примитивный мистицизм как попытку оправдать свое невежество;

— отношение к герою — примитивно-профанное, поверхностное, объясняющее характер и поступки героя судьбой или случайностью. В нелитературе качества героя обычно преувеличиваются, психологизм замещается внешними эффектами и резкими поворотами сюжета;

— автор позиционирует себя как бывалого человека, рассказчика событий, происходивших в реальности, в другом варианте — свободного фантазёра, не обременённого задачами художественного исследования, или просто пишет товар на продажу;

— отношение к читателю — снисходительно-заискивающее, как к случайно встреченному собеседнику, которому хочется рассказать историю, но нет уверенности в том, что она ему будет интересна, поэтому её желательно приукрасить по мере сил.

Спекулятивная часть литературного процесса (антилитература) по тем же параметрам выглядит следующим образом:

— отношение к реальности диктуется идеологической конъюнктурой, ради которой возможно менять местами причины и следствия, подменять ценности антиценностями, и т.д., чтобы создать заказанную картину;

— образ героя создаётся для воплощения и акцентирования той или иной идеологии, по нему отношение к герою — преувеличенно внимательное, грубо или изощённо саркастическое, в любом случае — без любви, понимания и сострадания;

— писатель позиционирует себя как человека, находящегося «над толпой», по сути — сверхчеловека, хотя есть и варианты мимикрии: «я такой же, как вы...»;

— отношение к читателю, поскольку он изначально является объектом манипуляции, — презрительное, скрыто или явно цинично-насмешливое.

Та часть литературного процесса, которую мы называем собственно литературой, или литературой традиционной, характеризуется в целом так же, как классическая, с той лишь разницей, что в силу объективных причин пока не очевидно, какие современные художественные исследования будут актуализированы за пределами конкретной исторической современности.

Отличают ли читатели литературу подлинную от литературы профанной и спекулятивной? В декабре 2022 года в Великом Новгороде на литературном фестивале «Новгородский детинец» прошёл круглый стол «Нравственность языка: язык реальности и язык художественной литературы», в котором приняли участие молодые писатели, педагоги, библиотекари и молодёжь. В апреле 2023 года в рамках III Всероссийской научно-методической конференции по литературно-творческой педагогике в Челябинском государственном институте культуры состоялась дискуссия «Литература, нелитература и антилитература». Результаты обсуждения показали, что читатели сознательно или интуитивно отличают профанное и спекулятивное от подлинного, но нет общего информационного поля, активно выводящего в фокус общественного внимания имена и произведения тех, кто работает в русле традиции. В обзорах обычно повторяется, не обновляясь, круг уже привычных имён, в то время как нелитература механически воспроизводит книжную массу, топя в ней собственно литературу, а антилитература активно пиарится через рецензии, премии и книжные фестивали и ярмарки. И здесь поле работы — непочатое.

Очерки и публицистика



ЯКОВ ШАФРАН



Доморожденные чужеземцы^{1,2}

Нацистская Украина — западный антироссийский проект

ШАФРАН Яков Наумович родился в 1950 году. Два высших образования: в 1973 г. окончил Тульский политехнический институт (ныне Тульский государственный университет) по специальности «Двигатели летательных аппаратов» и в 1998 Высший психологический колледж (ныне Высшая школа психологии) по специальности «Практический психолог». Литературный стаж с 1986 г. Автор восьми книг прозы и поэзии. Печатается в журналах: «Берега», «Подъем», «Сура», «Александр», «Голос эпохи», «Новая Немига литературная», «Северо-Муйские огни», «Дальний Восток», «Сибирь», «Перископ», «Метаморфозы», «Автограф», «Клаузура», «Литерра», «Литкультпривет!», «Великороссь» и др.; в альманахах: «Невский альманах», «Рукопись», «Московский Парнас», «Иртышг-Омь», «Тарские ворота», «Врата Сибири», «Параллели», «Крылья», «На крыльях Пегаса», «Отчизне посвятим», «Донская сотня» и др.; на сайтах журналов: «Невечерний свет», «Родная Кубань» и газет: «День литературы» и «Российский писатель». Лауреат всероссийских литературных премий: им. Н. С. Лескова «Левша» и «Белуха» им. Г.Д. Гребенщикова, лауреат премии русских писателей Белоруссии им. Вениамина Блаженного. Его имя внесено в «Тульский биографический словарь. Новая реальность» и в биографический словарь «Писатели земли тульской». Ответственный редактор-секретарь литературно-художественного и публицистического журнала «Приокские зори», главный редактор альманаха «Ковчег», член редакционных советов ряда изданий. Член Академии российской литературы, Российского Союза писателей, Союза писателей и переводчиков при МГО СПР. В данное время не работает. Живёт в г. Туле.

¹Выражение принадлежит Митрополиту Павлу, епископу Украинской православной церкви (Московского патриархата), наместнику Свято-Успенской Киево-Печёрской лавры, на момент написания этой статьи находящемуся под домашним арестом.

²Предыдущие статьи цикла «Нацизм — инструмент объединённого Запада против Русской цивилизации»:

1. «Западная цивилизация — антипод Русской цивилизации» <https://proza.ru/2022/12/10/1769>

2. «Ударный механизм западной цивилизации. Чёрный интернационал» <https://proza.ru/2023/03/17/1558>

3. «Русофобия — это нацизм и расизм» <https://proza.ru/2023/06/23/885>

«Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета,
будущее выстрелит в тебя из пушки».

Расул Гамзатович Гамзатов

Соблазней, обманывай, разделяй, подкупай и властвуй.

Принципы тёмных сил

«От осинки не родятся апельсинки».

(Народная поговорка)

«Кто начал злом, тот и погрязнет в нём».

(Пословица)

В своей в течение минувших веков неустанной целенаправленной деятельности против России Западная цивилизация неотвратимо, в силу неоднократных неудачных попыток полного покорения нашей страны, приходила к навязчивой мысли о насущной необходимости создания анти-России как эффективного инструмента для успешного оперативного внедрения всевозможных антирусских смыслов на территории государства, эффективного инструмента планомерного и тотального разрушения Русской цивилизации изнутри. А известно, если хотите так победить державу, то необходимо соответствующим образом воспитать её детей... И Запад стал предпринимать последовательные практические шаги, ориентированные в том числе и на бесповоротный отрыв от России юго-западных русских земель, памятуя, что без них могучей империи не будет, и на фактическое превращение их в передний край на развёрнутом фронте против неё.

Но давайте, выражаясь языком психологии, «закроем гештальт», то есть до конца, окончательно разберёмся и поставим точку в вопросе названия «Украина». Нужно сказать, что данное «гордое» наименование части русского края на определённом этапе формирования русской государственности ещё с XII в. применялось в буквальном значении древнерусского слова «окраина», когда говорилось об отдалённых пограничных районах. При этом «украинцами» (или «украинцами») назывались тамошние прирубежные жители, служившие добровольными и надёжными защитниками от постоянных иноземных опустошительных набегов.

Сегодняшняя Украина ведёт своё происхождение далеко не только от Майдана 2014 года, но и от незавершённой денацификации и дебандеризации 40–50-х годов XX века, и в ещё большей степени — от польских целенаправленных практических действий, начавшихся в XVI веке и получивших соответствующее оформление в веке XVIII. За спиной же Польши, Австро-Венгрии, продолжившей антирусскую деятельность, и далее Германии всегда стоял объединённый Запад во главе с англосаксами и их командными Центрами силы.

Отсюда ясно, почему имевшее место фактически после развала СССР постсоветское развитие «независимости» Украины шло не через справедливое устройство на началах разумной федерации и не через установление русского языка вторым государственным, а напротив, исключительно через последовательное и беспрепятственное имплементирование враждебной Русской цивилизации идеологии украинского неонацизма и русофобии.

*Ex nihilo nihil fit*³. Что же совершалось на протяжении долгих столетий, а также более близкого к нам и нового времени на Украине, давшее реальную возможность создать из неё анти-Россию?

Великое княжество Литовское и Русское

Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское — государство на востоке Европы, функционировавшее с середины XIII века на землях нынешних Литвы, Белоруссии, большей части Украины, до середины XVII века в западных краях Руси — Смоленске, Брянске и Курске, на землях Польши (Подлясье), в некоторой степени Латвии и Молдавии и юга Эстонии; и ставшее в XV–XVI веках ярким противником Московского княжества в непримиримом соперничестве за абсолютное главенство на Руси и вообще в Восточной Европе. Изрядные исконные территории Руси, оказавшиеся под полным владычеством сего княжества, так и именовались Литовской Русью.

Да, было такое государство, в котором жили в большинстве русские люди, и подавляющей долей его правящей элиты были русские князья, господствующей религией было Православие (меньшая составляющая населения — балты являлись язычниками), официальным и общепринятым в быту языком — русский и алфавитом — кириллица. Однако тогдашние властители, в том числе и дум, как и ныне у нас основная часть власть имущих и интеллигенции, читай «шестая» и «пятая колонны», стремились слиться с Западом, стремились к соединению с Польшей. И вот в 1386 г. состоялась личная уния — добровольное объединение двух самостоятельных монархических образований — княжества с королевством Польским — в якобы равноправный (об этом чуть ниже) союз с одним монархом, который стал, следовательно, главой каждого из них; а с 1569 г. — также Люблинская сеймовая уния — был создан общий сейм в рамках конфедерации — Речи Посполитой.

Польские власть предержавшие, управляемые, как мы уже знаем, англосаксами, а те — небезызвестными управителями — Центрами неумолимой силы, упоминаемыми нами ранее, пустились во все тяжкие и поступили очень хитро, избрав в 1386 г. польским королём князя Великого княжества Литовского и Русского Ягайло под новым именем — Владислав II Ягелло. А королём поляков может быть только примерный католик. И он, потомственный язычник, с целью обретения власти крестился в римскую веру. Вот с той поры — православный в Речи Посполитой, значит, русский, и насаждалось мнение: эта вера — вера холопов. Ввиду страха перед беспощадным, тем или иным способом, уничтожением православных священников некоторые русские епископы создали униатскую, греко-католическую церковь, подчиняющуюся Ватикану. Простые русские люди и князья, порой ради сохранения самой жизни и чтобы в будущем чего-то достичь, также переходили в униатство. И далее начинало происходить элементарное ополячивание.

У несогласных с этим было два единственно приемлемых выхода — спастись собственно бегством в Россию или активно бороться. На Украине такую последовательную освободительную борьбу возглавил обедневший польский шляхтич православного вероисповедания — Богдан Хмельницкий. В результате его убедительной победы состоялась Переяславская Рада, и левобережная Малороссия и часть Запорожской Сечи вошли в состав Российской империи.

³*Ex nihilo nihil fit* (лат.) — из ничего ничего не происходит.

После третьего, очередного территориального раздела Польши в виде Речи Посполитой в 1795 году Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское «приказало долго жить», а к 1815 году все его земли перешли к России.

Символ предательства

В 1687 г. гетманом земель бывшего Литовского княжества, находящихся на Украине в составе империи, по особой рекомендации князя Василия Голицына — главнокомандующего армией, генеральным есаулом был избран Иван Мазепа. Выбор утвердил Пётр I. Гетман принёс торжественную присягу на верность. Мазепа, уроженец Правобережья, воспитывавшийся при королевском дворе Яна Казимира, не скрывал своей чёткой ориентации на Польшу, и оказался в Москве благодаря пленению на войне. И есть историческое свидетельство самого Мазепы о том, каким образом он за крупную взятку дамскому любимцу царевны Софьи, В. Голицыну, стал гетманом.

Но Пётр I почему-то доверял ему, ставшему одним из богатейших вельмож страны. И вот во время Северной войны (это вроде анекдота про пожарных: «...Всё хорошо, но как пожар, то хоть увольняйся...») Мазепа, предавшийся алармистским настроениям и решивший, что скорая победа будет за Швецией, ничтоже сумняшеся перешёл на вражескую сторону. Однако подавляющее большинство малороссов остались верны империи.

В России данный субъект сделался вечным символом вероломного предательства. Был изготовлен в одном экземпляре Орден Иуды, содержащий значимые слова: «Треклепный сын погибельный Иуда, еже за сребролюбие давится».

Вот такая поучительная история... В заключение скажем: цвета Мазепы — жёлтый с голубым (цвета государственного флага Швеции) — стали ныне цветами официального флага современной нацистской Украины. Что очень характерно.

Ополячивание — процесс польского «пищеварения»

Если мы хотим разобраться, откуда взялась Украина — анти-Россия, то нам надлежит уяснить — она появилась не в 1991 году и не в 1917. Постепенный процесс её искусственного создания начался во 2-й половине XVI века. Королям в совокупном результате присоединения галицкой земли после объединения Польши и княжества Литовского и Русского удалось, в сущности, обнулить бесспорное, преобладающее влияние Православия там, где его исповедовало большинство населения. Неизбежным следствием чего явилось ополячивание простых людей — они должны были стать или своими, или подвергнуться всевозможным унижениям и явной дискриминации. Магнаты, вслед за повсеместным введением на сих приобретённых территориях крепостного права (кстати, раньше, чем в России), могли вытворять, по их собственному выражению, с «пся крэв» всё, даже убивать, без какого-либо взыскания за это. А требы на совершение православных ритуалов малороссы обязаны были подавать польскому священнику исключительно через руководителей местной еврейской общины, и после милостивого разрешения они исполнялись за назначенную ксёндзом плату. Лишь ценой перехода в униатство люди были в состоянии полноценно участвовать в различных сферах обществен-

ной жизнедеятельности и кормить личные семьи. Что и сделала определённая часть не закреплённых людей. Успех Ватикана и шляхты порушил глубинные духовные скрепы и культурные смыслы русского народа Юго-Запада Руси. Так начала складываться анти-Россия.

В XVIII в. продолжилось окатоличивание и ополячивание. Магнаты, шляхта и ксёндзы ещё более эскалировали неприкрытую ничем систематическую травлю православных. И виленский иезуит С. Жебровский в авторском «Проекте уничтожения греко-русского вероисповедания в польских владениях» (1717 г.) в архи русофобской и агрессивной манере писал, что «государственные чины, и каждый поляк... должен поставить себе в обязанность, чтобы греческое вероисповедание, латинскому противное, всячески выводить, то презрением, то преследованием, то притеснением тех, которые держаться оно, и другими... деятельными средствами». И далее: «...Нужно довести их [русских] до нищеты и невежества, и будучи в нём, они не в состоянии будут знать своих обрядов, <...> запретить детям своих крестьян учиться в церковных школах».

В 1733 г. шляхетским национально-религиозным объединением было принято специальное постановление о крайней нетерпимости к православным и лишении их законных прав, что ещё более усугубило и без того тяжёлое, бедственное положение русских. Причём младенцы от смешанных браков должны тут же записываться в римскую веру. А все русские образовательные заведения были полностью запрещены, и в 1869 г. как государственный на этих русских землях введён польский язык.

Польша, вслед за троекратным территориальным разделом в конце XVIII века между Пруссией, Австро-Венгрией и Российской империей, грезилась о полной реставрации. И всячески декларировала, что народы бывших её малороссийских Восточных кресов, которые оккупировала Россия, и за которыми поляки закрепили наименование Украина, не русские, а истинные потомки древних укров, и более сходны с поляками.

В марте 1921 г. по условиям рижского мирного договора после окончившейся советско-польской войны, Польша добыла западные края Украины и Белоруссии и продолжила ополячивание их коренного населения.

И в настоящее время «вечный проект» Речи Посполитой не завершён, и развёртывается и далее как устойчивый передовой фронт Западной цивилизации против России.

С чего началась польская нетерпимость

В начале IX в. на территории Чехии, Словакии и Венгрии, частью на землях Польши, Сербии, Хорватии, Словении, Болгарии, Украины, Австрии и даже Германии существовало одно из ранних славянских государств — Великая Моравия.

Князь Ростислав — её мудрый и просвещённый правитель не желал, чтобы его население окормляла баварская латинская церковь, подвластная безусловной воле католических епископов, ему необходима была собственная, независимая церковь. В 862 г. византийский император, по просьбе послов Ростислава даровать им «епископа и учителя», направил в Моравию Кирилла и Мефодия.

Так православное христианство в IX веке появилось в польских краях, в том числе в Малой Польше, у вислян, в бытность второго приезда Мефодия в Мора-

вию, о чём свидетельствуют ценные исторические находки данного религиозного обряда, обнаруженные в Пшемьсле, Вислице и Кракове. К тому же в древних Моравии и Польше использовался старославянский язык и глаголица (впоследствии — кириллица, принесённая Кириллом и Мефодием).

Таким образом, на польских землях изначально боролись две религии — православие и католичество. В итоге в сложном процессе длительного противостояния победило последнее и латинский алфавит. Не отсюда ли идёт такая нетерпимость польской «элиты» к Православию и русским?

Австро-венгерская лепта

Согласно указанному выше разделу Польши, в 1772 г. Закарпатье, Галицкая Русь и Буковина вошли в Австро-Венгерскую империю. И всемерное «развитие» украинского наречия употреблялось австрийцами и немцами для целенаправленного формирования украинского национализма как действенного способа ослабления России. Для этого обещали русским быстрое получение в империи особого, выгодного положения, если те станут понимать себя иным народом со своим самобытным языком. И также, поскольку на Правобережной Украине господствовали поляки, в противовес им, они эскалировали и антипольскость воинствующего украинского национализма.

Из сего ясно видно, что Австро-Венгрия — непосредственная наследница империи Карла Великого и далее Священной Римской империи,— совместно с М. Грушевским, бесспорным идейным лидером и известным теоретиком, придумавшим Украину, так же, как и Польша — «сугроб да вьюга — два друга»⁴, — являлась передовым форпостом Западной цивилизации в её многолетнем непримиримом противостоянии России и одним из фактических создателей анти-России.

Становление украинского национализма

Малороссы всегда имели в Российской империи с русскими равные права. И органичное слияние великороссов и малороссов совершалось по нарастающей. А в западных районах современной Украины в Российской империи превалировала иная, обратная интенция, и там в итоге католической и униатской церквями и польской «элитой» был создан национализм с заведомо заданным антирусским курсом.

Ведущим идеологом укронационализма в XX в., как сказано выше, являлся Грушевский М.С. (1866–1934), родившийся и выросший в России, говоривший и писавший по-русски и, соответственно, думавший на нём, известное десятитомное творение которого стало основанием для бандеровской нацистской идеологии с её целевыми установками: одна страна, одна нация, один язык. Русские и другие народы, жившие на Украине, и в том числе украинцы, не поддерживающие шовинистические взгляды, по его бредовым идеям должны быть лишены всех прав и открыто дискриминироваться. И в конце 1929 г., благодаря сей «теории», возникла ОУН — Организация националистов (запрещена в РФ), откуда начал вести «кипучую» политическую деятельность Степан Бандера.

⁴«Сугроб да вьюга — два друга» — русская пословица.

В Малороссии же, к крайнему прискорбию лидеров, укронационализм имел мизерное число истинных приверженцев, имел несущественное, третьестепенное значение. Простые люди были совершенно к нему индифферентны. А многие местные интеллигенты понимали его как некую своеобразную моду, как просто некое внешнее подражание сепаратизму малых народов Запада, то есть отрицательно. Но малочисленные, хотя и весьма активные, малороссийские националисты стали истовыми, а с другой стороны, жалкими имитаторами националистов Польши (так, в частности, гимн «Ще не вмерла Украина» является прямым перепевом польского: «Jeszcze Polska nie zginęła»). И это, несмотря на сильную древнюю нелюбовь к той стране.

Таким образом, именно на Западенщине ультрационализм вырос в русофобский шовинизм. И в 1882 г. Бестронный в книге «Przestroga Historii» писал: «Если у нас идёт речь об Украине, то мы должны оперировать одним словом — ненависть к её врагам... Возрождение Украины синоним ненависти к своей жене московке, к своим детям кацапчатам, к своим братьям и сёстрам кацапам, к своим отцу и матери кацапам. Любить Украину — значит пожертвовать кацапской роднёй».

Австро-венгерское правительство боялось, что при попадании Галиции и иных западенских земель под управление России произойдёт неминуемая ассимиляция здешнего населения с русскими (и не зря боялось, ибо история доказала, что переселённые оттуда люди, живя в русской среде, становились обычными русскими — собственно, каковыми они и являлись...). Следствием дерусификации жителей Галиции, всесторонней поддержки полной отчуждённости от русских и активной антироссийской пропаганды стал устойчивый рост украинского «национального самосознания» в конце XIX — начале XX вв. И закономерный результат не замедлил проявиться: в Австро-Венгрии в годы Первой мировой войны укронационалисты, в том числе «сичевые стрельцы», замешаны в крайней этнической нетерпимости, откровенном бандитизме и даже геноциде. То же было отмечено и во время Гражданской войны 1918–1922 гг. Далее, начиная с 1925 г., неусыпную «заботу» о них проявляли спецслужбы Германии.

И они добились желаемого. Потому немалая доля населения Западной Украины симпатизировала гитлеровской Германии и коллаборационистам, во главе со Степаном Бандерой и Романом Шухевичем. Только не следует забывать, что в рядах Красной Армии воевало семьсот тысяч призванных западных украинцев, из которых несколько десятков стали героями Советского Союза (всего героев-украинцев — 2089), а в частях УПА в разные годы числилось от двадцати пяти до четырёхсот тысяч. Кроме того, во Львове в течение Великой Отечественной войны действовало сильное антифашистское подполье.

Однако в советское время на землях Западенщины наблюдалось достаточно свободное, конечно, не на официальном уровне, распространение радикально националистических и русофобских умонастроений. Это связано не только с целенаправленной подрывной деятельностью вражеских западных разведок и «голосов из-за бугра», но и по большому счёту явилось нехитрым делом рук освобождённых и реабилитированных Никитой Хрущёвым активных пособников нацистов, проникших в органы государственной и партийной власти, и не исключительно на Западной Украине. «Тихие воды глубоки»⁵. В результате и ныне «западенцы» откровенно полагают, что под «мудрым» руководством Степана Бандеры и Романа

⁵«Тихие воды глубоки» — русская пословица.

Шухевича ещё тогда сформировалась бы и развилась «Незалежная», но Советский Союз не дал этому произойти.

После 1991 г., на заранее подготовленной почве, на Украине появились националистические политорганизации, открыто требующие: прямую реставрацию «Галичины», полную реабилитацию бывших, и прежде всего живых членов ОУН/УПА, ультимативное запрещение участия во всех образованных Москвой, даже в малых и неформальных, объединениях, запрещение самих соответствующих пророссийских учреждений; отличающиеся болезненной, прямо скажем, ксенофобией и русофобией. Появилась интенция на непосредственное строительство «Украинской империи» на землях, где украинцы являются пусть и незначительным большинством, в том числе на территориях России, Белоруссии и Казахстана. Возникла мнимая, противостоящая христианству квазирелигия, в которой «Слава Иисусу Христу, вовеки слава!» подменили на «Слава Украине, вовеки слава!» с направленным использованием ритуальной гитлеровской символики. И вслед за переворотом 2014 года расистское и русофобское мировоззрение и заявления с итерацией в этом плане стали органическим содержанием внутренней политики Петра Порошенко и далее Владимира Зеленского.

Таким образом, «железобетонный» фундамент национальной «незалежности» нынешней Украины основан на мифологизированном мировоззрении западнцев, ставших для теперешних правителей безупречным образцом украинского патриотизма и совершенной тождественности для всех проживающих в стране. И наоборот, сие полностью отличалось от твёрдых патриотических убеждений жителей юго-восточных, южных и восточных районов.

Безоговорочная и щедрая финансовая поддержка данных направлений исходила и исходит, естественно, от владеющих сырьевыми, энергетическими и прочими материальными ресурсами украинских олигархов, всеми явными и неявными силами педалирующих и всемерно распространяющих националистическое мировоззрение, включая сферы культуры и образования, и прежде всего, среди народонаселения русскоязычных и заведомо пророссийских краёв, так как они весьма боятся свободного допуска на «свои земли» русских олигархов, не желая иметь с ними сильной конкуренции.

Однако не следует сбрасывать со счетов и собственных, российских «тузов» и чиновников («шестая колонна»), мечтающих о долгожданном либеральном реванше, использующих украинский национализм в качестве управляемого механизма для кардинальной смены власти в России. Сюда же относятся и беспрекословная моральная поддержка его во всех аспектах со стороны российской либеральной интеллигенции и деятелей культуры («пятая колонна»).

Если посмотреть на процесс с современного момента, то можно констатировать, что укронационализм закономерно обратился в обычный нацизм и имплементируется под знамёнами Бандеры и Шухевича, как и во всяком нацизме в сочетании с соответствующей тоталитарной идеологией и заурядной коммерцией.

«Независимость» Украины начала XX века

В 1914 г. по Крещатику прошло финансируемое европейскими странами шумное уличное шествие мазеповцев с откровенным призывом «Долой Россию!» и громогласными декларациями, что они не имеют к русскому народу никакого от-

ношения и вообще с русскими чуждые народы. «Крепость не может считаться неприступной, если в неё может войти осёл, гружённый золотом» (Древняя восточная мудрость).

Это вам, дорогой читатель, ничего не напоминает?

Корни такого враждебного отношения, как мы видим из сказанного ранее, глубоки. И не следует забывать, что на территории Украины, к началу XVIII в. вошедшей в состав России после решения Переяславской рады, Генерального совета её — знаменитого собрания представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, состоявшегося 8 (18) января 1654 года в Переяславе, — о полном подданстве казаков царю Алексею Михайловичу, скреплённое торжественной присягой на нерушимую верность, а также о полном вхождении Войска Запорожского в Русское царство на соответствующих правах автономии, некоторая часть малороссийской элиты начала проводить линию на союз с Польшей, а другая часть — на гражданство в Османской империи. И всё это лишь для вступления в господствующий класс сих держав с выгодным приобретением сопутствующих привилегий и собственности.

То есть, суммируя всё, до начала XX века никакой государственности на территории Украины не было.

Формально непродолжительным временем существования украинского государственного образования можно рассматривать две недели 1918 года — с 9 (22) января, когда Центральная рада IV Универсалом объявила о независимости Украинской народной республики (УНР) от России, до 25 января (7 февраля), когда ведущие члены ЦР бежали из Киева. Вместе с тем невозможно не сказать о спорной законности самой Центральной рады, состоявшей только из членов националистических общественных и политических организаций, никем не избиравшихся, и из случайных людей. Отметим также, 27 января (9 февраля) 1918 г., на момент подписания сепаратного договора (с признанием независимости) между правительствами Германии, Австро-Венгрии, Турции, Болгарии и делегацией ЦР, последняя бежала из Киева и никого не представляла...

Однако, что весьма значимо, в час скоропалительного объявления «незалежности» радой на Украине уже была власть. 11–12 (24–25) декабря 1917 г. в Харькове произошёл I Всеукраинский съезд Советов, в котором приняли участие уполномоченные делегаты восьмидесяти двух советов большей части территории: Екатеринославской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Киевской, Подольской и Херсонской губерний, за исключением Волынской, провозгласивший Советскую Республику и установивший связи с Советской Россией.

Таким образом, советские смыслы Украины первичны.

Невозможно считать независимостью и непродолжительную временную оккупацию в 1918 г. немецкой и австро-венгерской армиями, когда возвратившаяся на их штыках ЦР заменилась ими затем на гетмана Скоропадского. Заслуживает особого внимания его недвусмысленная декларация, когда Германия потерпела поражение в Первой мировой войне, что Украине «первой надлежит выступить в деле образования Всероссийской Федерации, её конечной целью будет восстановление Великой России».

После поспешного бегства гетмана — это стало «добррой» традицией для «незалежных» руководителей, — может быть, в силу вынужденных обстоятельств, сложившихся вслед за таким смелым заявлением, к власти, опять же формально, пришло возглавляемое укронационалистами правительство Директории, вначале

анонсировавшее национальное объединение с Западно-Украинской Народной Республикой⁶, но затем подписавшее отдельный двухсторонний договор о передаче ЗУНР Польше, которая её и оккупировала. Далее правители в Киеве не владели сложной ситуацией, потому что часть «суверенной» территории была занята экспедиционными войсками Антанты, а на остальной полностью управляли «полевые командиры». В итоге 6 февраля 1919 г. Киев взят войсками Рабоче-крестьянской Красной армии большевиков.

Несомненно, временный захват Киева деникинцами с их приоритетными целями «единой и неделимой России» невозможно рассматривать как даже в какой-то степени осуществление «незалежности». И уже в декабре 1919 г. была восстановлена власть Советов в Киеве, Харькове и Полтаве с объявлением федерации с Советской Россией. А малороссийские крестьяне не желали становиться украинцами, полагали себя русскими и, в письме в Москву, обращались с настоятельной просьбой присоединить их.

Следовательно, большевики предотвратили уход Украины под неограниченное владычество Запада. Ибо националисты хотели оторвать её от страны. И Западом планировалось, в случае удачи и очевидного поражения Советской России в ходе военной интервенции и Гражданской войны, передать Украину самому скрытному и коварному государству Европы — Франции. Большевики создали УССР в едином СССР в качестве реальной и разумной альтернативы национальной республике (УНР), чтобы переломить тот, западный, проект. К слову следует сказать, многие бывшие петлюровские функционеры перешли в РКП(б), в дальнейшем ВКП(б). Не напоминает ли это незаметное, но глубокое проникновение в советские и партийные органы освобождённых и реабилитированных бандеровцев при Хрущёве (как оказалось, сыне польского помещика). При Горбачёве и Яковлеве — «беда бедой беду кормит» — основная опора на Украине была на таковых и их последователях.

Вместе с тем, рассуждая об украинском национализме в плане государственности или вне её, нужно помнить, что на Западенищине, равно и везде, жили и живут разные люди. И после революции 1917 года там действовали и умеренные социалисты, и убеждённые коммунисты, желавшие полного объединения с Советской Россией. Коммунистическая партия Западной Украины действовала до 1938 г. Во второй половине 1940-х активные члены бывшей КПЗУ, оставшиеся во Львове, вели самоотверженную борьбу с националистическим движением.

«Независимость» в годы Великой Отечественной войны

Независимым бытием Украины нельзя считать и годы её оккупации немецко-фашистскими захватчиками.

Из сказанного ранее читатель уже хорошо знает, что на протяжении нескольких столетий объединённый Запад, и прежде всего англосаксы, руководимые лондонским Сити и Ватиканом, а затем и округом Колумбия, алчными руками Польши и Австрии, и далее Германии, дабы забрать себе территорию России и

⁶Западно-Украинская народная республика или ЗУНР (с 22 января 1919 года Западные области Украинской Народной Республики или ЗОУНР) — существовавшее в период с конца 1918 года до начала 1919 года самопровозглашённое украинское государство в восточной Галиции на территориях бывшей Российской империи и бывшей Австро-Венгрии.

ликвидировать древнюю государственность и русских как народ, предпринимали для этого всё возможное и невозможное.

Вслед за сокрушительным разгромом вооружённых сил в Гражданской войне правительство Украинской Народной Республики, обретавшееся в вынужденном изгнании в Польше, после её захвата фашистской Германией активно сотрудничает с немецкими властями. Для немцев укронационалисты всегда были не равноценными и полноценными партнерами, а лишь нужными и послушными орудиями для успешного достижения своих аппетитных целей. Это доказало и время Великой Отечественной войны. Так глава несуществующей УНР Андрей Ливицкий стал членом Украинского центрального комитета — фашистской организации коллаборационистов, сформированной нацистами. И даже несмотря на объявленное националистами 30 июня 1941 г. в оккупированном образовании самостоятельной соборной державы с их «Актом восстановления Украинского государства», в котором говорилось: «Восстановленное Украинское государство будет тесно сотрудничать с национал-социалистической Велико-Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации...», не помогло. Так как циничный юмор происходившего заключался в том, что нацистской Германии никакое суверенное, и даже автономное, гособразование совсем не было нужно, они рассматривали данную территорию в качестве своей ближней колонии и не более...

Западноукраинские националисты с самого начала войны всячески содействовали Германии, принимали более чем активное участие в карательных полицейских подразделениях, в СС и в чудовищной кровавой резне евреев и поляков. В наибольшей степени проявила себя в этом плане добровольческая дивизия СС «Галичина», «героические» деяния которой начались в 1939 г. и протянулись вплоть до 1954 г. Могло бы вызвать некоторое, прямо скажем, изрядное недоумение то, что в их штатном составе, кроме украинцев, числились казаки, русские и иные славяне, и даже евреи, если бы не было известно — их всех единила, прежде всего, антисоветская (антирусская) ориентация, уникальная возможность властвовать над бесправными людьми и — «баснями закрома не наполнишь»⁷ — явная материальная заинтересованность.

* * *

Беспрецедентная агрессия, предпринятая в годы Великой Отечественной войны, когда двенадцатизыковая армия Европы вторглась на земли СССР, под руководством убеждённого и яркого антисоветчика и антикоммуниста А. Гитлера, явилась последней, наикрупнейшей и отчаянной попыткой покорить Россию извне, что у них не получилось. Хотя кое-чего им всё же удалось добиться: так, безоговорочную капитуляцию подписал не Третий рейх, а лишь его «непобедимая» армия, и практически весь научный и технический потенциал гитлеровской Германии был захвачен Западом, и большое количество нацистов, в том числе и украинских, депортировалось за океан для последующего целенаправленного использования их против СССР. После фактического поражения бандеровских подпольных групп в СССР внимание полностью перенеслось на эмиграцию, и правительство УНР в изгнании плотно взаимодействует с США в борьбе иными методами с Советским Союзом.

⁷«Баснями закрома не наполнишь» — русская пословица.

«Праздник незалежности»

В длительный период холодной войны полноправными хозяевами укронацистов закономерно стали США и Великобритания, продолжившие возвращать украинский национализм. Их спецслужбы, не считаясь ни с какими затратами, активно прибегали к ним в многочисленных видах систематической подрывной работы. Вслед за трагическим распадом СССР, для исполнения ведущей роли управляемых элементов политического и не только влияния в возникшем государстве, в Штатах началась неприкрытая работа с националистической эмиграцией, взращённой и обученной для «благочестивых» занятий разведкой и различными диверсиями в тылу советской армии при стратегическом конфликте с Советским Союзом, для чего отлично организованной, идейно консолидированной и законспирированной.

22 августа 1992 г. «правительство в изгнании» публично передало свои якобы полномочия «в Беловежье рождённому» президенту Леониду Кравчуку с вручением «официальной грамоты» о правопреемстве УНР. Таким образом, согласно этому, нынешняя Украина происходит от политической организации, сотрудничавшей с гитлеровской Германией.

Итак, в 1991 г. *post factum*⁸ разрушения СССР Украина, имевшая на тот момент максимальную территорию, вновь объявила «незалежность». При сём, однако, не спрашивая мнения населения Юга, Юго-Востока и Востока, которое они наименовали «генетическим мусором». Потому-то после пресловутого антиконституционного переворота в феврале 2014 года, совершённого под непосредственным «чутким» руководством объединённого Запада, когда, не приняв незаконную власть, население и духовенство Донбасса проголосовали на референдуме за независимость и вхождение в состав России, началась братоубийственная гражданская война. Правящая киевская хунта стала проводить геноцид по отношению к жителям вышеуказанного края: артиллерийские и ракетные обстрелы городов, террористические акты, зверские, нечеловеческие пытки и бесчисленные убийства среди мирных людей, убийства убеждённых политических противников, в том числе прямое сожжение десятков их в Одессе, тотальный запрет партий и оппозиционных средств массовой информации, жёсткие гонения на Русскую православную церковь Московского Патриархата и русский язык, снос советских и связанных с российской историей памятников и гашение Вечных огней. И сейчас происходят пытки над военнопленными, казни ни в чём не повинных людей и изъятие органов.

Режим нацистской Украины является марионеточным, абсолютно подчиняющимся Западу, о чём прекрасно свидетельствуют слова на тот момент американского вице-президента Дж. Байдена: «Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов и я уезжаю через шесть часов, если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени <...> И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому на то время мы доверяли».

И первыми признали независимость Украины США, и это не случайно, ибо она и объявлялась с непосредственной подачи их «послов доброй воли».

⁸*Post factum (лат.) — после свершившегося факта.*

Что привело к майдану 2014 года и к нынешнему режиму?

«Благотворители» укранацистов — транснациональные корпорации замыслили для планомерного разрушения России и захвата её природных и энергетических ресурсов устроить с надлежащей помощью Евросоюза и НАТО широкую деятельность против неё. И ещё тут был один гешефт — получение из-за якобы российской военной угрозы (всё с ног на голову) крупных и постоянных финансовых вливаний в англосаксонские военно-промышленные комплексы.

И следуя понятной логике этих захватнических намерений, на территории сознательно приводились в действие динамичные государственные и общественные процессы под откровенным лозунгом Л. Кучмы «Украина не Россия», и прозападными политологами начал формироваться социум, в результате долженствующий сложиться в качестве сугубо антирусского. Тогда бóльшая доля госпостов оказалась в «натруженных» руках бывших коммунистов-перевёртышей и возникших, как грибы после летнего дождя, финансово-промышленных клик, поручивших шовинистам всю идеологию и культуру. В итоге этого тройственного союза, данные идеи сложились в госидеологию.

Олигархи, происходившие, кстати, в основном из Юго-Востока, делали всё возможное для быстрого и широкого распространения национализма, и прежде всего, в пророссийских районах страны, считая, что всеобщая и агрессивная русофобия может обеспечить им безраздельное господство, так как очень боялись транспарентного соперничества с российскими «коллегами» при их прямом допуске к ресурсам Украины. Известно, если «имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы» (Томас Джозеф Даннинг. Цитата приведена Карлом Марксом в «Капитале»). И вот мы обладаем атрибуцией того, как гражданская активность украинцев, вышедших на майдан протестовать против чудовищной коррупции и не менее чудовищного воровства чиновников, на борьбу с олигархами, — но не следует забывать, что и ратовать за «кружевные трусики, безвиз и возможность пить каву в Венской опере», — была «вовремя» переориентирована на свежее испечённую «причину» трудностей — на «москалей», то есть, на межэтнический конфликт, доведя в итоге до гражданской войны. Кроме этого, что и являлось основной целью, решалась главная задача — разрушение российской экономики и лёгкое обогащение (по уже проверенной в предыдущих мировых и не только войнах безотказной методике) англосаксонского военно-промышленного комплекса, поскольку наша страна, по их планам, рано или поздно, должна втянуться в военные действия на Украине.

Так ультранационалистические группы, объединения и партии организовались в «Правый сектор» (запрещён в России) во главе с Д. Ярошем, который после постыдного бегства В. Януковича внёс немалый вклад в жестокие расправы над пророссийскими деятелями и в карательные акции на Донбассе и активно участвовал в создании добровольческих нацистских батальонов.

«Воцарение» в 2019 г. русскоязычного шоумена Владимира Зеленского остановить русофобию не могло по определению, ибо И. Коломойский и другие олигархи, являющиеся, что было показано выше и что видно из современной рос-

сийской действительности, эффективным инструментом Запада, и привели его к президентству. Поэтому он не распустил полк «Азов» и прочие неонацистские организации и батальоны. Более того, внутренняя и внешняя антироссийская политика Украины стала ещё жёстче.

Простой нацизм

И ещё важно отметить, для нынешнего украинского неофашизма, у которого антисемитизм занимает известное место в идеологии, евреи не являются экзистенциальным врагом, по причине, что для него главнейший враг — русские. Благодаря сему они имеют возможность пытаться скрывать своё истинное лицо: раз наш президент — еврей и наши основные противники не евреи, значит, мы не нацисты. Таким образом, имеется оксиморон, трагический парадокс теперешней жестокой реальности: евреи, максимально пострадавшие от нацизма, могут поддерживать неонацистов, если их враг — русские. Но евреи евреям рознь, это было всегда, во все времена. Так, еврей Владимир Линдерман — талантливый публицист и известный правозащитник, один из самых известных в Латвии активных общественников, отстаивающий гражданские права русских и русскоязычных жителей.

А *argumentum ad veritatem*⁹ того, что нынешний украинский режим нацистский, является, кроме прочего, одновременное наличие в сумме пяти основных показателей (по работе М. Манна «Фашисты»):

— «Радикальный национализм». Нацисты одержимы маниакальной идеей изначального единства нации, несомненная принадлежность к которой определяется рождением, кровью, и что за сие единство нужно бороться и защищать его. И на современной Украине мы слышим и видим: нет двуязычию, нет федерализму, страна только для украинцев, якобы единокровных в своей полной сплочённости и, с помощью стигматизации, в общем мнении о россиянах как «не вполне уже людях».

— «Этатизм». По воззрению нацистов, охранять единство нации обязан исключительно государственный управленческий аппарат путём прямого насильственного принуждения, в частности, повсеместным внедрением экстремистской, нацистской идеологии на высшем уровне, в том числе в важнейших сферах образования и воспитания.

— «Трансцендентность». Нацисты стремятся создать особое общество, отличное от прежних и совершенное для данной нации, именно с помощью государства. И после переворота 2014 г. происходит теми или иными путями, вплоть до хладнокровного убийства, быстрое избавление от угрожающего единству нации внутреннего врага, беспощадное уничтожение несогласных репрессивными госорганами и помогающими им неонацистскими активистскими и парамилитарными структурами; и война с советским и русским наследием.

— «Парамилитаризм». Это «авангард» нации, важнейшая организационная форма нацистов, когда штурмовые отряды вооружённых боевиков — ударная сила нацизма — ведут ожесточённую и безжалостную борьбу с «врагами нации», увеличивают численность оперативного состава, призывают в свои образования военных, полицейских и иных силовиков и, с другой стороны, берут в цепкие руки командные должности в силовых структурах.

Итак, на современной Украине мы видим все явные черты нацистского режима.

⁹*Argumentum ad veritatem* (лат.) — объективное доказательство.

Мифология и языкотворчество

В информационное обеспечение украинского нацизма на протяжении последних веков был сформирован, развивался и ныне активно употребляется соответствующий ряд мифов, *in abstracto*¹⁰, абсолютно не связанных с исторической действительностью. Это складные, но лживые сказки: об изначальном бытии украинского народа в глубокой древности; о якобы государстве «Русь-Украина», никоим образом не имеющем отношения к России на всех этапах его «изготовления»; о пресловутом голодоморе исключительно украинцев; о пантеоне «героев» из платных агентов нацистской Германии; о якобы самом бесчеловечном периоде жизни в Советском Союзе и тому подобное... Однако согласно социологической концепции «Окно Овертона» (окно дискурса), то, что вначале предполагается невысказанным, далее воспринимается как радикальное, затем последовательно представляется приемлемым, разумным, а со временем стандартным и, наконец, действующей нормой.

В украинском национализме в лучшем случае явно присутствует оксиморон, а в худшем — прослеживается шизофреническое раздвоение сознания: с одной стороны, отвергается и уничтожается всё, связанное с Россией, и утверждается диаметрально отличное — вплоть до генетики — украинского и русского народов, а с другой — указывается государственная преемственность украинцев от Киевской Руси, причём присваивается единственно себе вся историческая заслуга в становлении и эволюции древнерусского хозяйства, социума, культуры, языка и религии. Так сказать, *coincidentia oppositorum*¹¹. В воспалённое вышеуказанными мифами сознание внедряется, что «укры» могут стать гордыми ариями, подобно, например, полякам, если они будут за Европу, то есть против России.

Что до «мовы», то здесь, как уже говорилось выше, хорошо поработали и поляки, и австрийцы, формировавшие на основе здешнего малороссийского наречия антирусский язык. В частности последние начали искусственно сочинять новояз из сплошного месива русских, польских, немецких и произвольно придуманных слов и всячески насильно вводили его в среде русинов. Интеллигенция же изъяснялась и писала на литературном русском языке.

Кто виноват, и что делать?

Связь между Россией и Украиной нарушена, но, несмотря на многовековое и теперешнее происходящее, мы не допустим алармистских настроений, у нас общее прошлое и общее будущее, мы один большой народ, и никто друг друга лучше не поймёт, чем мы сами. Для полного возрождения братского союза обеих частей Русской цивилизации нужна сплошная и окончательная ликвидация нынешнего политического строя на Украине с его лживой антироссийской пропагандой и возвращение их к данным Богом цивилизационным смыслам.

Однако нельзя сбрасывать со счетов то, что так же, как и ранее украинский национализм создавался и пестовался пролиберальной «элитой» и либеральной же интеллигенцией, славшей поздравительную телеграмму императору Японии по случаю победы в русско-японской войне 1904 г., и сегодня нацизм поддержива-

¹⁰*In abstracto* (лат.) — отвлеченно, вне связи с действительностью.

¹¹*Coincidentia oppositorum* (лат.) — совпадение противоречий.

ется теми же слоями российского общества. К слову, олигархи России за год СВО увеличили свои состояния на 30-40 процентов и, заметьте, отказались даже разово пожертвовать и малую толику от них в бюджет страны. Роль «пятой и шестой колонн» вполне ясна и в целенаправленном формировании современной нацистской Украины — либеральный социал-дарвинизм является прямым отцом украинскому нацизму, а либеральная власть и либеральная интеллигенция — его родной матерью.

В годы Российской империи финансовый капитал, рвущийся к политическому владычеству и ставший впоследствии одним из основных акторов Февральской революции 1917 г., деньгами подкрепляли силы, противостоящие монархии, в том числе и укронационалистов. Непродолжительная деятельность Временного правительства, среди прочего, также была направлена на поддержку их. И ныне — торговля с противником СВО, поставка ему обходными путями жизненно необходимых ресурсов, тактика ведения действий и «договорняки»... «Буржуазия предаст Родину и пойдет на все преступления, лишь бы отстоять свою власть над народом и свои доходы» (В.И. Ленин, ПСС, т. 34, стр. 146).

«Русская цивилизация — это мировая интеллектуально-нравственная цивилизация справедливости и чести» (генерал Л. Г. Ивашов). К сожалению, государство не всегда отвечает данному уровню...

Самая главная анти-Россия — внутри нашей страны: 1) «шестая колонна» — высокопоставленные чиновники всех уровней, вплоть до наивысших, стоящие на либеральной, прозападной платформе, и олигархи; 2) «пятая колонна» — часть видных деятелей российской культуры различных жанров и направлений, работающие на Запад; 3) русские фашисты и другие национал-экстремисты, несмотря на противозападную и противолиберальную риторику, являющиеся, как и всякий фашизм и нацизм, действенным «шанцевым» инструментом Западной цивилизации.

Русская анти-Россия в качестве верного форпоста врага и во времена династии Романовых, и в советские времена, и ныне постоянно взращивала украинский национализм, помогая ему расти всеми возможными средствами, которые только могла применить. Так в СССР они не дали возобладать Щербицкому, Машерову и Романову — коммунистам-имперцам, а наоборот, таргетировали их антиподы и в итоге привели к власти Горбачёва, Яковлева, Кравчука и иже с ними, и далее Ельцина.

Из олигархического капитализма есть лишь два пути — либо к фашизму, либо к социализму. К фашизму — это всегда кровопролитная мировая война, и это прямая и надёжная дорога к гибели, ибо фашизм является конструктом Запада с интенцией на полное превосходство во всём и над всеми. Он — противоположность жизненным смыслам Русской цивилизации. Коллективное народное сознание в России — социалистическое сознание. «У баррикады нет третьей стороны». Скомпрометировавший себя либерализм и цифровой концлагерь не помогут, а напротив, по причине того, что они опять же инструменты врага для постепенного уничтожения Русской цивилизации, неотъемлемой частью которой, несомненно, является и Украина и украинцы. Хуже фашизма может быть лишь либерал-фашизм. Действенное спасение в справедливом обществе и у нас и на Украине. Нужен новый духовный социализм!

Мы никогда не забудем, что территория нынешнего гособразования достигла максимального развития только в составе России в её высшей стадии — в Советском Союзе. А в антироссийской нацистской Украине, которая стала возможной

в результате запланированного разрушения Советского государства и в которой беспощадная диктатура олигархии и нацистов, мы видим явное отсутствие социальной справедливости и извращённый, нацистский патриотизм — проявление сущей преисподней на Земле. В грядущем светлом мире — мире духовного социализма — вместо этого будет подлинное народовластие, социальная справедливость и здоровый патриотизм в разумных рамках интернационализма. И такой мир непременно победит, и тем быстрее, чем более неправы его ярые противники!

«Я бы сравнил социализм и “демократию” как мироустройство муравьёв и мироустройство тараканов» (Егор Летов — советский и российский музыкант, певец, поэт, основатель и лидер группы «Гражданская оборона»).

ВАЛЕРИЙ ХАЙРЮЗОВ

Форос. Седьмой съезд сибирских землячеств

Итак, седьмой съезд сибирских землячеств. Его снова было решено провести в Крыму. Впервые я побывал в Крыму ещё в советское время. Тогда мне, молодому летчику, почти за бесплатно предложили путевку в дом отдыха, который размещался в бывшей усадьбе Льва Толстого в Кореизе. Древнее татарское поселение поразило меня кривыми, сложенными из белого камня стенами и узенькими улочками, где собственно татар и не было. Но зато было близкое теплое море, жаркое крым-



ское небо, которое помнило не только татар, но и греков, гунуэзцев, скифов, турок-сельджуков. Да мало ли кто ещё побывал в этих местах! Та первая поездка на полуостров дала столько впечатлений, что в душе, в памяти осталось долгое детское, солнечное чувство радости от этого рай-

ского уголка земли. Потом Крым как бы отчалил от нашего берега, и ездить туда стало не с руки. И вот снова пришло приглашение посетить Крым от проживающих там земляков. Но так долго и тяжело в Крым мы ещё не добирались. После посадки самолета в солнечном и теплом по меркам конца октября Адлере, мы попали в огромный, с блестящими стеклами аэропортовский аквариум. В мир отполированных ногами плиток, утробно жужжащих вокзальных пылесосов, труб над головой, то и дело сбрасывающих с голубых табло сведения о прилётах самолетов, к длинным рядам расставленных вдоль окон пластмассовых столов и стоящей за стойками одетой в синюю форму аэропортовой обслуге и притулившихся к ним пассажиров, которые не могли оторвать глаз от смартфонов и электронных табло. Я вдруг ясно осознал, какое будущее ждет всех тех, кто однажды проснется в мире, где все будет замуровано в такие же циклопические ангары. Я смотрел на кишачий людьми зал: на табло то и дело мелькали сводки о прилетах самолетов, а мимо, по проложенным вокзальным дорожкам, под дробную музыку чемоданных колесиков текли потоки людей, прямо перед глазами происходило передвижение народов. Одни возвращались, другие текли к стойкам регистрации.

Мы вышли на привокзальную площадь, отыскивали заказанное нам Галиной Геннадьевной такси, втиснулись в него и, только тронувшись, сразу же попали в сплошной поток машин. И далее поток этот не спадал, по тоннелям и горному серпантину, то ныряя к близкому берегу, то круто забирая в горы, мы ехали дол-

гие пятнадцать часов, думаю, за это время можно было бы слетать в Иркутск и вернуться обратно в Москву. Иногда мы останавливались, чтобы заправить машину, попить чаю или кофе и размять свои занемевшие ноги и спины. Сочи, Дагомыс, Лазоревское, Широкие и Узкие щели, Голубые берега, заросшие южными деревьями горные склоны и глубокие подпертые бетоном расщелины, машина вдоль побережья Черного моря двигалась к намеченной цели. Быстро наступившая темень задавала водителю дополнительные задачи, с которыми он, впрочем, прекрасно справлялся. Уже в полной темноте мы миновали дорожные указатели, которые подсказали, что за спиной остались: Туапсе, Кабардинка, Новороссийск, Тамань и далее, уже по ровному, плоскому месту мы накатали на обозначенную светящейся стрелкой горящих фонарей крутую твердь Крымского моста, где нас остановили, серьезно и дотошно, как в аэропортах, проверили на лояльность и безопасность, и мы, загрузив свои личные вещи обратно в машину, по ровному как стрела мосту помчались в Крым. Всё время поездки над головой проступали далекие звезды, и лишь подвешенные вдоль дороги лампочки чем-то напоминали мне Млечный Путь, и мы мчались вдоль него, ориентируясь на каменное автомобильное полотно и стоящие вдоль дороги подсвеченные лампочками дорожные столбы. Керчь и гора Митридат остались где-то в кромешной тьме, на дорожных указателях появились названия Феодосии, Симферополя, а в самом низу название города-героя Севастополя. Водитель Роман был родом с Донбасса, чтобы он не заснул за рулём, я рассказывал ему про байкальский омуль, сибирских медведей, и те байки, которые сохранились у меня в голове о тех годах, которые я провел в небе и в таежных поселках Якутии и Сибири. В свою очередь он рассказывал о своей судьбе, о том, как им жилось раньше при Украине. Был он заядлым рыбаком и охотником, делился, какая дичь и рыба ныне обитает в этих южных краях. Мы мчались по трассе «Гаврида», и я, ранее не раз ездивший по дорогам Крыма, отмечал, что все дорожные работы нашими строителями выполнены качественно и добротнo, можно даже сказать, на уровне мировых стандартов.

К утру, когда рассвет убрал с неба ночные звезды и притушил дорожные фонари, мы наконец-то достигли окраин Севастополя, чтобы по объездной дороге круто развернуться и уже в прямой видимости обступивших дорогу гор свернуть в сторону Балаклавы и, попетляв по южным склонам Южного берега Крыма, спуститься к морю.

Говорят, Форос название греческое, то ли от слова ветер, то ли от денежной греческой монеты, но у меня оно прочно связывалось с сидевшим там во время, когда решалась судьба великой страны, плешивым последним правителем великой страны, которого народ с презрением прозвал Меченым. В зале четырехзвездочного санатория Форос мы при поддержке сибирских земляков и провели очередную съезд, обсудили вопросы, связанные с медициной и туризмом, и уже в свободное время, вечером провели презентацию документальных фильмов для участников конференции. Зрителям были показаны фильмы «Полет в черное безмолвие», «Чанчур» и документальный фильм Юрия Баранова «Маршал Голованов».

Затем приехавших писателей пригласили на встречу старшеклассников в Форосскую школу, где нас гостеприимно встретила директор Каргапольцева Татьяна Александровна. А на другой день мы были гостями ялтинской городской библиотеки. Конечно же, нам было приятно, что в её стенах бывали и часто выступали Антон Павлович Чехов, Алексей Максимович Горький, Лев Николаевич Толстой, Александр Иванович Куприн, Иван Алексеевич Бунин...



Юрий Иванович Баранов и Григорий Иванович Вихров читали свои стихи, я показал читателям библиотеки отрывок из фильма «Чанчур».

Одна из работников библиотеки попросила подписать ей мою вышедшую в издательстве «Вече» книгу «Земляки», где она карандашом выделила отрывок, посвященный моим прежним приездам в Ялту. Я быстро пробежал отрывок...

«...Крымский базар, конечно же, отличался от тех, на которых мне доводилось бывать в Москве. Он целиком и полностью был привязан к дороге, к машинам и проезжающим мимо туристам. На столах горкой лежала зелень, пучки с луком, шафраном и редиской, в деревянных ящиках алела вишня и темно-бордовая череш-

ня. Отдельно был выложен козий сыр, рядом в стеклянных бутылках белело козьё молоко, похожая на тонкую колбасу, связками висела коричневая сладкая чурчхела, лежали аппетитные чебуреки, янтыхи. А чуть в стороне с веревок свисали разделанные подкопченные рыбы тушки пеленгасов, кефали и красноватой барабульки, стопками пучили засохшие глаза тараньки и воблы. И конечно же, лежали курортные товары: тапочки, бейсболки, полосатые матроски и майки, медные колокольчики, монеты, вырезанные из дерева чашки и тарелки.

С окладистыми седыми бородами, чуть в стороне, под крытым выцветшим брезентом, сидели и о чем-то лениво переговаривались татарские аксакалы. Несмотря на жару, они пили кофе, а чуть поодаль, на пригорке дымил мангал, и несло запахом жареного шашлыка.

Уже собираясь идти обратно, я наткнулся на одиноко сидящего продавца в черной феске. В лежащем на земле открытом чемоданчике, на откинутой крышке были выложены серьги, браслеты, кольца и бусы. На ходу оглядев выставленную коллекцию, я притормозил. На меня черными влажными глазами глянули крупные черные жемчужины, от них, нанизанные на невидимую тонкую нить, свисали блестящие сосульки из мелкого бисера.

— Можно посмотреть? — кивнув на серьги, спросил я.

— За просмотр денег не берут, — засмеялся продавец и протянул приглянувшиеся серьги.

Я взял серьгу за короткий штырек-крепление и качнул. Серьга ответила тихим, но приятным шорохом бусинок, а черная жемчужина, сверкнув на солнце, подмигнула своим восточным глазом. Продавец понял, что к нему подошел не прошаживающийся от нечего делать турист, а потенциальный покупатель, и теперь, когда рыбка клюнула, надо было её подсечь.

— Это штучная работа, — глухим гортанным голосом быстро заговорил он, — Не какая-то там подделка. Хозяйка будет довольна. Эта вещь — подарок на всю жизнь! Видишь, она закрепляется с помощью шарнира. Вдевается в ухо и с помощью петельки защёлкивается на другом конце. Надежно и просто. Бери, не пожалеешь! Здесь таких больше не найдешь. Жемчужины настоящие — из Индии.

— Яхши! — сказал я. — Сколько?

Услышав знакомое слово, татарин уже каким-то другим, деловым взглядом оглядел меня, и, не увидев на моём животе барсетку, отвел взгляд в сторону.

— Я не татарин, я — грек, — неожиданно сказал он. — И, помолчав секунду, назвал сумму, видимо, по привычке в гривнах. Я быстро перевел её по курсу.

— Если берешь, то заверну. — Продавец достал бархатную коробочку.

— Беру.

Спрятав коробочку в карман, я пожелал продавцу хорошего дня и побежал к машине.

Сидевшую рядом Олесю быстро укачали бесконечные повороты, поначалу она ещё пыталась держать спину, но, как говорят, укатали сивку крутые горки, её начало клонить то в одну, то в другую сторону. Поначалу на крутых поворотах я хватался рукой за дужку над дверкой, но потом на очередном повороте обхватил Олесю и вдруг почувствовал, что она совсем не против, мягко и податливо пристроила свою голову на плечо. На какое-то время став с ним единым целым, она прижалась, притихла, видимо, ощутив, что так, вместе легче справляться с этой сумасшедшей ездой. Неожиданно лес расступился, и машина выехала на горное плато Ай-Петри. Через некоторое время, уже в темноте, водитель остановил машину у дымящегося мангала, чтобы немного передохнуть перед предстоящим спуском к морю, полюбоваться проклюнувшимися звездами и подышать сладким, наполненным запахами близкого моря воздухом.

К остановившейся машине, точно из-под земли, из-под навеса выскочил татарин.

— Шашлык, горячий шашлык из молодой баранины, — как мулла с мечети, призывно и протяжно запел он. — Подходите, пожалуйста. Есть шаурма, шурпа, чебуреки.

— А что, давайте возьмем по шашлыку, — предложил я. — Нас никто не торопит.

Получив заказ, татарин предложил им расположиться в беседке с видом на ночную Ялту, которая, припав к черной зеркальной тьме, огромным кострищем тлела внизу. Втянув в себя воздух, Лора Альбертовна сказала, что нет ничего вкуснее запаха жареного мяса на самом краю земли, и пошла к машине попросить водителя открыть багажник, чтобы достать теплую кофту.

— А я этого никогда не забуду: горы, древние монастыри, страусы, небо и далекие огоньки Ялты, — засмеявшись, тихо проговорила Олеся.

— В свой первый приезд в Крым я отдыхал вон там, в Кореизе в пансионате «Ясная поляна», который когда-то принадлежал Льву Николаевичу Толстому. — показав пальцем вниз, сказал Чагин.

— Тогда, после окончания летнего училища, я был ещё совсем мальчишкой. Каждый вечер ходил на танцы, влюблялся почти во всех живших там красивых девочек. И как-то на второй или третий день, когда ведущая объявила дамское танго, ко мне подошла совсем молоденькая, почти подросток, рыженькая девчушка и пригласила на танец. Ну, как такой солидной даме было отказать?

Звали её Лёлькой. По-моему, она только что закончила девятый класс. Позже она, как местный житель, взяла надо мной шефство, показывала приехавшему из далекой Сибири Ласточкино гнездо, Алушкинский дворец. А потом мы съездили в Ливадию, в Феодосию. По пути остановились в Старом Крыму, где когда-то жил её любимый писатель Александр Грин. Там на книжном развале она купила «Бегущую по волнам» и подарила мне.

Однажды она предложила подняться на Ай-Петри, где можно купить вино «Красный камень». И мы с ней полезли в гору. Добрались до водопада Учан-Су. А там, прыгая по камням, она подвернула ногу, и восхождение пришлось прервать. Кое-как мы спустились вниз. Мне даже пришлось её нести. Весу-то в ней было всего ничего. Теплая, легко дышала мне в шею и все порывалась идти сама. Ругалась, что такая оказалась неловкая, и одновременно жалела меня. Мне это запомнилось. Пока она выздоравливала, я ходил на волейбольную площадку, иногда ловил себя на том, что жду, когда она поправится.

— Курортный роман? — спросила Олеся.

— Да нет, какой может быть роман с ребенком.

— И что же было дальше?

— Да ничего не было, — вздохнул я. — Она была хорошим другом. Настоящим! Когда я уезжал, Лёля пришла меня провожать. Подъехал синий крымский троллейбус. Когда я приподнял свой чемоданчик, чтобы войти в троллейбус, она заплакала, ткнулась своими полными, теплыми губами в щеку, развернулась и, подергивая плечами, запрыгала от меня, как козочка.

Однажды от неё к Новому году пришла маленькая посылка. В ней была красивая ракушка и завернутый в бумагу значок футбольной команды «Динамо». И маленькое письмо. «Будьте счастливы. Я вспоминаю вас с признательностью и уважением. Биче Каваз». Я вспомнил, что этими словами прощалась героиня «Бегущей по волнам» с Томасом Гарвеем. Снизу были приписаны две строчки: «Кто услышал раковины пенье, бросит берег и уйдет в туман». Вот так закончилось мое знакомство с Крымом.

— В жизни бывает, что пытаешься с ходу подняться прямо в гору, а потом тебя, только с другой стороны, на эту же гору завозят на машине.

— А иногда из этой машины просто-напросто выпихивают, — усмехнулась Олеся. — Жалеете, что больше не довелось встретиться с Лёлей?

— Жалею? Давно это было. Ай-Петри напомнила. Говорят, никогда не возвращайся туда, где тебе было хорошо.

Чагин глянул в близкое лицо Олеси, в темных её глазах ему почудился отсвет выплывшей из моря желтой луны. Почему-то он вспомнил взгляд Салтыкова, которым тот провожал Олесю, когда они садились в машину. Тогда Сергей подумал, что пережившие на жительство в Москву земляки никогда не станут жить обособленно, каждый сам по себе, они будут прицениваться, прилаживаться друг к другу, выбирая, куда и с кем идти дальше, поскольку не все готовы отдавать своё и принять чужое. Человек переменчив, сегодня он один, завтра — другой. И не надо строптивых погонять нагайкой. Чтобы понять это, надо было всего-то лишь пройти вместе со всеми какую-то часть пути, подняться на гору и, оглянувшись на пройденное, осознать: жизнь состоит из подъемов и крутых поворотов, будут в ней новые люди и новые встречи.

Неожиданно вспомнив о лежащей в кармане коробочке, Чагин достал её и протянул Олесе.

— Сегодня, когда останавливались на рынке, я наткнулся на одного умельца, — откашлявшись и подбирая нужный тон, чтобы случайно не обидеть Олесю, проговорил он. — Он сказал, что я буду счастлив, если эта вещичка понравится тебе.

— Мне? — Олеся недоуменно посмотрела на меня.

— А ты посмотри!

Олеся раскрыла коробочку.

— Ой, какая красота! — воскликнула она. — Таких я ещё не встречала. Нет, я не могу это взять!

— Ты меня обидишь! Пожалуйста. А я посмотрю, идет тебе или нет.

Олеся, виновато улыбнувшись, быстро, как это умеют женщины, прицепила серьги к мочкам ушей.

— Замечательно! В них ты как шамаханская царица.

— Тоже мне, выдумали, — на лице Олеси появилась слабая улыбка. — В одну секунду нельзя стать царицей.

— Можно, можно! — сказал я. — Я только что стал свидетелем. И это небо, эти горы могут подтвердить.

*Кривы улочки Кореиза.
Так причудлив изгиб сосны,
Что покорна морским капризам
Бриза, ей навевавшего сны...*

*Под крылом голубого стяга
Ждёт земля, от жары обомлев,
Ласку неба — целебную влагу,
Жизнь дающую скудной земле.*

*Чтоб успеть мне увидеть немало,
Мчи, мой катер прогулочный, мчи!
Крымский край, как тебя обнимают
Заходящего солнца лучи!*

*Золотятся морские просторы —
Богом данная ширь и купель,
Дом отважной русалки Мисхора
И ребёнка её колыбель!..*

*Слышу, ночь подступает к двери,
Первых звёзд заблестела слюда.
И большим добродушным зверем
Задремал в воде Аю-Даг!...*

— Что, это вы написали? — удивилась Олеся.

— Нет, это написала так же влюбленная в эти места наша землячка — актриса иркутского театра юного зрителя Таня Березняк.

— А может, что-то ещё помните?

— Что? — не понял я.

— Её стихи?

— Конечно помню!

*Надрывно ночь июльская кричала.
Слезой звезда скатилась вниз устало...
Моей звезды — закат, твоей — начало:
Я родилась. Тебя не стало...*

— Ой, какие грустные! — сказала Олеся. — Конечно, в жизни у всего живого есть свое начало и свой конец. Но жить с такой мыслью невозможно. К этим строкам я бы добавила свои:

*А на Ай-Петри
нас ждали шашлыки...
Под нашими ногами
светились огоньки.
Смотрели мы на море,
Смотрели сверху вниз,
Где ждал нас полуночный,
Далекий Кореиз».*

Давно, вот с такой же высоты, но из кабины самолета, я смотрел на северный посёлок Ербогачен. Со мной рядом в кабине сидел московский поэт Станислав Куняев, который после посадки подарил мне книгу стихов. Одно из них запомнилось особо:

*Живем мы недолго, — давайте любить
и радовать дружбой друг друга.
Нам незачем наши сердца холодить,
и так уж на улице вьюга!
Ведь каждый когда-нибудь в небо глядел,
валялся в больничных палатах.
Что делать? Земля наш печальный удел —
и нет среди нас виноватых.*

А вот стихи моих коллег, которые выступали в Форосской школе, и в ялтинской библиотеке были тепло встречены читателями.

ЮРИЙ БАРАНОВ

Крымская гроза

Гроза гремела и кружила
И погружала мир во мрак,
И скалы мрачные крушила,
Срывая желто-синий стяг.

А утром солнечные флаги
Развесил боготканый Крым.
Очередные передраги
Грозилась веком золотым.

Выходит в море Айвазовский,
А комендантом порта — Грин.
Он строго смотрит по-отцовски
На рыбий профиль субмарин.

Громада Крыма — броненосец,
Он встал на якорь навсегда.
Твердыня наша, знаменосец,
России яркая звезда.

ГРИГОРИЙ ВИХРОВ

Патефон в Добролёте

Патефон в добром лете,
Золотая пластинка,
Молодая игла,
Вы ещё оживете,
И на доброй планете
Соберутся земляне
У родного стола.
Эх, вы, вечные сани...
Знали девичьи слезки,
Эх вы, вечные кони,
в пене млечный озноб.
Хорошо бы не выпасть
Из горячей повозки,
Из ближайшего неба
Во вселенский сугроб.
Хорошо бы, хозяин,
На бесптичьем болоте
Не пропасть с головою,
Не увязнуть душой.
Потому в добром здравии
Патефон в Добролёте,
Шар играет огнями,
Грешный шар небольшой.

В один из свободных форосских вечеров меня пригласили на дегустацию масандровских вин. В одном из залов собрались отдыхающие и прочие приехавшие на выходные люди.

— Прошу минуточку внимания, — попросила ведущая собравшихся на дегустацию. — Вино любит тишину. Прежде чем мы начнем, маленькая справка. Красное подают после белого, сладкое — после сухого, выдержанное — после молодых вин, сложное — после простых. Если вино мутное и не просвечивает, это возможный признак болезни. Видите, это искрится. Улавливаете запах и послевкусие — чёрная смородина, имбирь, лимон? Перед вами здесь «Херес Масандра», «Мадера», «Мускат белый Красный камень», «Седьмое небо князя Голицына», «Каберне», «Кокур десертный Сурож», «Пино-Гри», вина сухие, игристые.

— Вино тонкое, с изюминкой, — подтвердил приехавший из Питера мужчина. — Оно, как и женщина: чем больше пробуешь, тем больше хочется.

— Что у трезвого мужчины на уме, то у выпившего на языке, — засмеялась сидящая рядом женщина.

— Вот объясните мне, человеку, который в детстве слаще морковки ничего не ел и, уж если говорить честно, не видел даже, как растёт виноград. Чем отличаются марочные коньяки от обычных? — я решил перевести разговор в нужную сторону.

— Все коньяки изготавливают из винного спирта и выдерживают пять-восемь лет. Как известно, на всех хороших напитков не хватает, — ответила ведущая. —

Их нынче подделывают. Ординарные, хоть и имеют дубовый запах, но их можно отличить от элитных по вкусу. По отсутствию мягкого теплого букета во рту. Они обжигают, а не обволакивают и не полируют язык. Можно найти и купить «Кутузов» пятнадцатилетней выдержки. Так его меньше чем за двести долларов не найдешь. Но отдыхающие берут дешевое порошковое разбавленное вино. Фактически платят за этикетку. Раньше приезжающие отдохнуть шахтеры, так те закупили канистрами.

— Знаю дело, скупой платит дважды, тупой — трижды! — засмеялся кто-то из женщин.

— А лох — всю жизнь!

— Коньяк укрепляет сосуды, а водка — связи. Народ, который поет и пляшет, зла не держит. Сто грамм не стоп кран: дернешь — не остановишься, — вновь вступил в разговор кто-то из отдыхающих.

— Пьяный проспится, дурак — никогда! — решила остановить разговорчивых ведущая. — Всему живому нужно солнышко и тепло.

Я слушал возникшую было перепалку и вспоминал, как только начинало подогреть солнце, я выходил из дома и забирался по набитым в стену скобам на пологий скат, который верхним концом уходил под крышу. Уже оттуда, с высоты птичьего полета, я оглядывал ещё укрытый осевшим снегом огород, темную щетку боярышника, который в предместье почему-то называли лесом, уходящую вдаль железную дорогу, по ней, говорили, можно за несколько дней доехать до Москвы. То сибирское небо — не чета московскому — почти всегда было голубым и чистым, и по нему, не опаздывая ни на минуту, по одному и тому же маршруту ходило яркое теплое солнце, да время от времени на недосыгаемый для глаза далекий городской аэродром заходили на посадку самолеты. Этот мир не мешал, а напоминал, что кроме школьных уроков, книг и малых забот по хозяйству (наколоть и принести дров, начерпать из колодца воды), можно было остаться наедине с самим собою, со своими мыслями, и мечтать, что придет время сесть в поезд или самолет и узнать, как и чем живут люди в других краях.

И вот по прошествии многих лет я сижу здесь, в Форосе на Южном берегу Крыма и смотрю в недосыгаемый мир детства.

Когда становилось совсем невозможно от московской жизни, я покупал билет на самолет, ехал в Домодедово, чтобы вновь увидеть, как любили говорить буряты, край вечно синего неба. Едва открывалась дверь самолета, я уже знал, что, выйдя на трап, вдохну свежий, легкий, напоенный таежными травами и хвоей воздух своего детства, и солнышко ласково прикоснется своей теплой щекой к лицу. И прямо на выходе из аэровокзала ко мне начнут приставать таксисты, нет, не те московские бомбилы, готовые содрать с тебя три шкуры, а местные, они, как бы стесняясь, негромко начнут упрашивать, обещая чуть ли не даром подвезти до дома или до гостиницы. Я знал, что действительно их услуга обойдется дешевле, нежели в Первопрестольной. Бывало, словоохотливые московские таксисты, подбирая клиентов из аэропорта, держали только одним им известную планку, причем настолько высокую, что даже вокзальный диктор предупреждал гостей столицы не доверять первым встречным, поскольку те, кто бросался с предложением подвезти, задирали цену до бесконечной, видимо, считая, что Москва стоит того, и в столицу прилетают только миллионеры. Срастание с родным городом, с тем, что связывало с ним раньше, происходило довольно быстро, московская жизнь отплывала и не тревожила меня до той поры, пока не наступал день, когда надо было вновь ехать в аэропорт, и это, пожалуй, была одна из самых неприятных минут.

Также я отмечал, что все меньше знакомых лиц на улицах, а в прежние времена натыкался почти на каждом шагу. Но бывали минуты, когда ходить по улицам неузнанным доставляло удовольствие — ты ходишь, подсматриваешь, наблюдаешь, а тебя не узнают. В такие минуты ко мне возвращалось то удивительное чувство игры в прятки — тебя ищут, ты слышишь и с замиранием сердца ждешь, прошли, пробежали рядом и не увидели.

Однажды, гуляя по городу, я поймал себя на том, что ищу лица своих знакомых в том ушедшем навсегда возрасте, когда я чуть ли не каждый день ездил на работу, ходил по улицам и забегал перекусить в столовые и кафе. Но потом на перекрестке, не обращая внимания на прохожих, меня вдруг облапала какая-то толстая тётка, в которой я с трудом узнал свою школьную подругу Таню Анопову. Меня расспрашивали про столицу, говорили, что не любят москвичей, и это было признаком не патриотизма, не любви к своему городу, а некая месть за то, что я не тяну, как и они, лямку вместе со всеми. Конечно, я замечал, что трава в самом центре города не кошена, что даже нет лавочек, на которые можно было бы присесть и поговорить, и что визг трамвайных колес такой же, как и в детстве, и что сами трамваи похожи на автозаки. Но это был город родной, знакомый и близкий, и на него не стоило обижаться. Как нельзя обижаться на мать, которая одета не современно, а лицо её покрыто морщинками, и обувь сношена и стоптана. Здесь же, в Форосе, мы вновь как бы соединились со своим городом, стали теми, кто был и навсегда останется земляками.

Утром перед отъездом мы вместе с питерскими земляками из «Ангары»: Андреем Сороквашиным, Еленой Титовой, Натальей Новиковой и иркутянином Юрием Барановым вышли на берег попрощаться с Посейдоном. Над морем стоял туман, волны взлохмаченными мокрыми губами лизали серые камни и тихо переговаривались с нами. Как принято, мы решили задобрить Посейдона и бросили в волны монетки с надеждой, что когда-нибудь ещё вернемся сюда.

Октябрь, 2023 г.

Подготовил материал В.И. Уточкин

ИРИНА ПРИЩЕПОВА

Байкал. Времена года

Зима. Байкал во льдах

Байкал долго не сдаётся жестоким морозам. Он то крушит с размаху волны о берег, то набирается сил в тихой задумчивости. Но стужа берёт своё, и в декабрьских водах появляются первые кристаллы льда, называемые салом. Через неделю-две они соединятся, образуют льдины и ледяные островки, которые будут плавать по остывшему озеру. Но недолго. Однажды — обычно в первой половине января — пригонит хиус ледяную махину во всю байкальскую ширь. Наползает она с шумом и звоном на берег, иногда на большую высоту, с громким треском и звоном распадается по краям на крупные прозрачные осколки. И хоть ледок ещё совсем тоненький, похожий на сине-зелёное стекло, ему удаётся закрепиться, если Байкал спокоен. Вскоре озеро-море сплошь покрывается ледяной хрустальной коркой и замирает. В январские морозы лёд очень быстро начинает нарастать, и корка эта превращается в каток, поистине царский, во всю байкальскую ширь и даль. Такой каток — мечта любого конькобежца!

Вскоре зима укрывает лёд пышными снегами. Берега отвыкают от шума прибоя и привыкают вслушиваться в звенящую тишину. Весь мир погружается в глубокое снежное безмолвие. Как красиво море ослепительной снежной парчи с блестящими на солнце парусами торосов! Кажется, что горы, окружающие Байкал, смотрят на него белыми лицами. А голые деревья на вершинах издалика, со стороны моря, похожи на каштановые волосы, торчащие на высоких головах задумчивых гор.

Ангарский исток, согревающий себя тёплыми глубинными водами, не замерзает. По утрам он парит, как огромный котёл, в котором варится волшебное зимнее варево. Из «котла» восходит к небу молочный пар, который в рассветных и закатных лучах окрашен в розово-оранжевые тона. Он, внизу густой, наверху клочковатый, плотно окутывает весь исток, поднимается выше мысов, устремляется вдаль, к восточному берегу и укрывает его от взора. На истоке во множестве зимуют утки. Они весь день плавают, плещутся в стылой воде, добывают себе пищу. Интересно наблюдать, как эти маленькие рыбаки проворно и смешно ныряют в глубины. И, наверное, им везёт с рыбалкой. Выглядят они упитанными и здоровыми.

Далее истока Байкал неподвижен. Кажется, он уснул крепким сном. Но тишь да гладь — одна только видимость. Нет богатырю покоя ни днём, ни ночью. Что-то вызревает, назревает в его глубинах. Бурлит подлёдная жизнь. Байкал пытается, как прежде, метать ввысь резвые волны, но порывы сдерживает ледяная крыша, ставшая уже несокрушимой. Не хочет он мириться с оковами. Он не сломлен, не покорён. Теперь вся огромная ледовая площадка, скрывшая от глаз озеро, становится полем боя. Байкал стремится во что бы то ни стало порвать прочные цепи. Он стреляет, взрывает ледяной панцирь, ревет зверем, урчит, грозит. Вот как об этом явлении сказал дипломат, учёный, путешественник Николай Гаврилович

Спафарий, побывавший на озере в далёком 1675 году: «И зимнею порою везде по Байкалу живёт подо льдом шум и гром великий, будто из пушки бьёт...». Выстрелы и залпы раздаются и днём, и ночью. Неустанно пробивается Байкал к небу. Успокаивается он только на короткое время. Ледовое поле вследствие упорной борьбы густо покрывается зигзагами, молниями, нитями трещин и трещинок, образующими искусные узоры и сплетения. Вольнолюбивые ветры, начисто выдувающие снег с больших участков и оголяющие аквамаринную темноту толстого льда, дают возможность любоваться этим чудом, сотворённым в изобилии.

К весне лёд испещрён трещинами так, что на нём не остаётся живого места. Однако трещины не влияют на качество льда: ледяные оковы очень прочны. Лёд бывает настолько толстым и крепким, что выдержит железнодорожный состав. Люди, видя такую его прочность, в русско-японскую войну, когда Транссиб с двух сторон подошёл к Байкалу, а море ещё не покорило строителям, укладывали на льду рельсы и перевозили через Байкал с помощью лошадей железнодорожные составы.

Серьёзной угрозой являются станковые щели, представляющие собой подвижные широкие швы. Наверное, для такого «рывка» озеро долго копит силы. Образование крупного байкальского шва напоминает землетрясение. Слышится гул, и лёд начинает сильно трясти. Раздаётся грохот, и образуется нескончаемая трещина-щель. Если Байкал грохочет ночью, то взрыв слышен в домах, находящихся на приличном расстоянии от берега. Станковые трещины — царицы трещин — обрастают торосами. Они то смыкаются, то далеко расходятся, пугая разверстой байкальской глубиной.

Весной, когда берег чист от снега, а разомлевшие горы синеют медуницами и светят солнцем подснежников, Байкал ещё лежит во льдах, потемневших, утомлённых, ошетилившихся хрустальными иглами. У берегов лёд быстро тает, и всё более ослабевает его связь с землёй. И в конце апреля — начале мая, взяв в помощники мощные ветры, Байкал, наконец, освобождается. Ветер отрывает игольчатый хмурый лёд от берега и медленно несёт его вдаль. Часть льда Байкал выталкивает в Ангару, часть ломает, разбивает, дробит, подставляет тёплым лучам. И рассыпаются льдинки, с печальным нежным звоном растекаются иголочками по байкальской глади. Лучи до самого дна просвечивают открывшиеся взору воды, ставшие чище, яснее.купаются и не могут накупаться в Байкале белые облака. Начинается новая долгая бурная жизнь славного моря.

Пешком через исток

Лёд встаёт на Байкале месяца на четыре в году. После ледостава приходится отвыкать от шума прибоя и привыкать к немой оцепенелости моря. О прежнем живом Байкале напоминает только ангарский исток, где в холодной воде самозабвенно плещутся белобрюхие утки, прилетевшие сюда на зимовку. Незамерзающий исток — находка для них: он даёт им все необходимые условия для выживания немилосердной зимой.

Проходит недели две-три, и по льду начинают ходить люди и ездить машины. Машинная дорога змеится вдалеке от истока: там безопаснее. А пешая тропа идёт совсем рядом с ангарской водичкой. Если смотришь издали, кажется, что люди идут по самому краю дугообразной кромки льда. Для жителей порта Байкал такие

переходы привычны. Хотя путь не всегда безопасный, но необходимый, так как паром ходит только утром и вечером. А тут полчаса — и ты на противоположной стороне. К тому же, неравнодушному глазу — масса впечатлений.

Ветреным днём (а ветры здесь очень частые) всепроникающий хиус даже изнутри промораживает, насквозь продувает. Кусается крепкий морозец. Кипит, исходит паром вода. Если с Ангары дует ветер, в нескольких десятках метров ничего не разглядеть от испарений. И в молочном тумане, уходящем широкой полосой к другой стороне Байкала, можно заблудиться и замёрзнуть. В этом случае нужно держаться истока, стремиться, чтобы вода была в зоне видимости. А миновал полосу тумана — иди там, где хочется.

В былое время ставили вешки, которые указывали путь при плохой видимости. Вешками служили ёлки, выброшенные после новогодних праздников. Направлять людей, быть для них спасением — в этом была их последняя миссия. С ними, как с хорошими друзьями, было надёжно идти через исток в морозный ветреный день, когда в десятке метров ничего не видно. Идёшь, а у ног летит и летит бесприютный снег, гонимый ветром. Быстро замечает позёмка тропу, не оставляя даже намёка на неё. А выше — всё в тумане. Иногда белая пелена разрывается, и через подвижные, кипящие клочки тумана приоткрывается кусочек неба. Пейзаж фантастический. Кажется, что ты попал в неведомый мир и видишь частичку какой-то незнакомой, стылой, мятущейся планеты. Бывает, вспомнишь, что под тобой огромная байкальская глубина, и кольнёт сердце от боязни потерять навсегда мир земной, такой привычный, необходимый, и мелькнёт желание быстрее ступить на исчезнувшую в морозных туманах землю. Приятно в такие минуты видеть одну за другой зелёные ели, возникающие из морозного «молока». Исчезает одна — а впереди уже появляется другая. И не дают они сбиться с пути, вселяют уверенность. Жаль, что весной унесёт этих зелёных друзей река и утопит где-то в своих глубинах.

Иногда сильный ветер с Ангары меняет течение реки на обратное, и вода, неистовствуя, врывается на лёд, захлёстывает его. Там она застывает, образуя второй слой льда, некрепкий. Между двумя слоями остаётся вода. Если встанешь на такой лёд, он будет трещать и сильно прогибаться. И надо быстрее уносить ноги подальше от коварного места.

Хорошо шагать через исток в тёплую солнечную погоду. Белейший снег слепит глаза, небесная лазурь чиста и глубока, веселы горы. Над ангарской синей гладью чуть возвышается подводная скала Шаман-камень. Вокруг неё плавают и ныряют утки. Ноги ступают то по насту, то по скользкому прозрачному льду, изборождённому нескончаемым множеством трещин, образующих диковинные узоры. Байкал временами стонет, ухает, трещит, пугает. А ты, не боясь его угроз, всё идёшь себе вперёд...

Весной лёд расходится по швам, пропитывается талой водой, постепенно разрушаясь. А значит, нужно быть осторожнее, чтобы не попасть в трещину или полынью. Нужно выбирать время, когда можно безопасно перейти исток.

В последние годы огорчает большой приток туристов, жаждущих побывать на Байкале. Раньше хоть зимой исток Ангары отдыхал, а теперь здесь и в холодное время бывают десятки тысяч туристов. Все, кому не лень: и стар, и млад, и трезв, и пьян. И русский, и китаец, и немец... И всем подавай развлечения. И не смолкает раздражающий рёв катеров на воздушных подушках, и быстро скользят по льду, укрытому снежком, чёрные вереницы снегоходов. И нет уже такого

приятного впечатления от перехода через ангарский исток. Грустно смотреть и на собачьи упряжки. Порой несколько собак, увязая в снегу, высунув длинные языки, еле тащат двух-трёх здоровяков. И удивляет: неужели нельзя пройти пешком или на лыжах? Погулять, набраться впечатлений. Почему же обязательно надо мчаться с ветерком, оставляя на льду пятна бензина? Зачем нужно мучить животных? Байкал — место святое. А святые места не предназначены для развлечений. Они дают человеку возможность бережно прикоснуться к Божьей благодати, поразмышлять, исцелиться духом.

Нельзя Байкал, Святыню из Святынь, использовать в своих мелких интересах, заставлять без меры работать на себя, как ездовых собак.

Заговорит ли в человеке разум? Останется ли ангарский исток чистым, сказочно-красивым, влекущим к общению с ним?

Перед весной

Закончились на Байкале сильные морозы, которые этой зимой пришлось не на январь, а достались первой половине февраля. Разгульным байкало-февральским ветрам хватило суток, чтобы выдуть жуткий холод и открыть двери долгожданному теплу. Свершилось: после низких температур, опускавшихся порой ниже сорока градусов, почти в одночасье днём стало около нуля! Зима, уставшая злиться, напоследок решила порадовать добротой, красотой и такой ослепительной чистотой, о которой в больших городах в это предвесеннее время можно только мечтать.

Утром, по холодку, деревья на вершинах гор красовались в белых нарядах из инея, волшебным поблескивали в лучах восходящего несмелого солнца. А ближе к середине дня солнышко заиграло, расплескалось в ясной манящей лазури. Наряды деревьев исчезли, но красоты и праздничного блеска от этого меньше не стало...

Не хочется в такой день сидеть дома, и я отправляюсь на Байкал. Он спит под толстым крепким льдом, укрытым у берега плотными снегами. На беглый взгляд, ровное безмолвное море может показаться пустынным. В нескольких сотнях метров от берега нет ни следочка. Ветры намели множество снежных «дюн» и «барханов». И хотя они плотны, наступать на них не хочется — боязно нарушить их целостность.

Пустынность Байкала — только видимость. Он жив и разнообразен.

Идёшь вглубь, почти не проваливаясь, а снежное полотно искрит-переливается бесчисленными огоньками всех цветов радуги. Местами снег гладкий, местами с еле заметной пушистостью. Приблизись к ней глаза — а там изумительный, волшебный мир, сложенный из снежинок.

Берег быстро удаляется от меня. Горы становятся ниже, оседают. Они слегка подёрнуты дымкой, загадочны. На одной из них ослепительно сияет золочёный купол высоко стоящего храма.

Дальше от берега, где Байкал не защищён от ветров, нередко островки голого тёмно-синего льда. Он везде разный: неровный, гладенький, а местами слегка волнистый. Кажется, что это застыли крохотные волны озера. В ледяной толще видны капельки воздуха, комки снега, отдельные льдинки. Избороздили лёд бесчисленные трещины. Они извилисты, глубоки, бесконечны, словно линии судьбы самого Байкала.

Небо над ледяными просторами тоже напоминает лёд. В синей небесной без-

брежности — снежная размытость застывших облачков. Следы от нескольких самолётов протянулись через всё небо, пересеклись, рассекли его, подобно трещинам, расколовшим зимний панцирь моря.

Возле двух больших трещин возвышаются полосы торосов. Подхожу к торосам, и становится немного не по себе: что-то недовольно урчит, негодует в утробе Байкала. Здесь взгромождались друг на друга, ломаясь, льды. Теперь же стык затянулся на время, замело его глубоким снегом. Перехожу трещину по насту, порой проваливаясь по колено, и радуюсь, что нога нашла опору, а не ушла в пучину. И вот торосы, любимцы солнца, передо мной. Есть торосы, одиноко пронзающие лазурь. Есть и груды торосов, малые и большие. Они немного напоминают крупные осколки битого толстого стекла. Но битое стекло не привлекает взор. Напротив! А вот торосы не выглядят нагромождениями, в них есть и порядок, и красота, а может, и замысел. Кажется, что кто-то неведомый сложил из разнообразия ледяных многоугольников картинные сооружения на усладу взору.

Не хочется уходить домой в этот почти весенний день. Чарует море в снежно-ледяных звёздах. И брожу я по Байкалу до самого вечера, пока лёд и снег не становятся голубыми, а тени тёмно-синими, длинными.

Вот уже близок берег. Большая змеевидная трещина, пролегающая через всю видимую часть Байкала, остаётся далеко позади. Торосы, которые кажутся отсюда совсем крошечными, начинают мерцать, играть с уходящим за мыс солнцем. И мигающие подвижные огоньки делают извилистую трещину похожей на золотящуюся живую реку.

Даже мне, не любящей зиму и с нетерпением ждущей весны, становится жаль, что это белое блистающее великолепие обречено на скорое умирание. Задышат скоро небеса теплом. Зазвучит капель. Разомлеет снег, станет рыхлым, покроется блестящей, легко осыпающейся корочкой. И надо успевать наслаждаться богатством зимнего байкальского царства.

Весна. Ненастье уходит красиво

Ненастье

В мартовский день, когда лучи почти растопили снежное покрывало и даже подсушили землю, вдруг занепогодило, и метели быстро свели насмарку работу весны. Всё вокруг завалил тяжёлый снег, настолько глубокий, что трудно идти. Порывы ветра то и дело подхватывают его и мчат куда-то. На грунтовых дорогах зияют лужи с мутной водой и тёмной кашеобразной снежной массой. От одиночных машин, изредка проходящих по лужам, остаются на дорогах грязные ошмётки.

Небо стало низким, непроницаемым, будто захлопнулось. День потускнел, померчнел. Снег приобрёл сероватый оттенок. Волнуются, шумят леса. Мечутся, гнутся берёзы. Качаются, всплёскивают в страхе руками-ветвями сосны, ели и кедры. Достаётся от метели и голым чёрным черёмухам, и без того несчастным: они живут над самым обрывом и изо всех сил держатся корнями за ускользящую почву. В глубокой печали тёмные влажные скалы. Они то исчезают во мгле, то появляются. Над скалами, гонимые ветром, мечутся две вороны.

Колючий снег, стремительно летящий, больно бьёт по лицу. Заснеженный Бай-

кал совсем близко от меня, но почти полностью скрыт от глаз белёсой мятущейся пеленой.

Дрожат кусты в снежных унылых лафтах. Трепещут хмурые левзеи. Их ошетилившиеся шишки в снежных шапочках гнутся от ветра. Кланяются до земли, словно прося пощады, былинки злаковых трав. У каждого сухого стебелька намела метель белый холмик.

Не на шутку разгулялось ненастье, словно пытается выплеснуть всю хмарь, которая долго копилась в природе, искала выхода. Ветры сдувают снег с крыш, с деревьев, со скал, швыряют оземь, уносят ввысь, закручивают в небольшие смерчи, рассеивают в воздухе. Немного затихнув, набрав силы, делают они очередные набег. Взлетают снежным игом на склоны, покружив, возносятся выше скал, зачастую и меня в один миг берут в эту круговерть, пытаюсь унести в неведомые мятежные пределы.

Гудят ветры. Ропщут деревья. Молчат птицы. Бесприютная серая сырость, кажется, закрыла весь мир. И ни конца, ни края нет разгулу стихии...

К вечеру непогода всё же умерила прыть. Стало немного тише. Но небо по-прежнему оставалось тяжёлым, давящим. В сумерках дремала земля. Ночью летящие тучи временами ненадолго приоткрывали откушенный с одного бока бледный диск Луны. Сквозь тусклый свет были видны быстро падающие снежинки.

Ненастье уходит

Настало утро, холодное, спокойное. Берёзы и сосны от небольшого ветра приветно покачивают ветвями. Быстро летящие тучи не закрывают небо сплошной тёмной массой, между ними обозначились светлеющие промежутки. Вдруг открылось голубое оконце и стало быстро смещаться к тому месту, где занавешено солнце. Вот на небе появились сразу два синих озерца, затем ещё одно. Проглянувшее на несколько секунд солнце озарило, изменило мир. Вспыхнул снег, белейший, мягкий, как лебяжий пух. Солнце, вызвав в душе восторг, скрылось. Вновь потускнела природа. Но ненадолго. Всё больше озёр голубеет в небе. А солнце весело играет в прятки, и даёт возможность увидеть огромную разницу жизни с ним и без него.

Снег припорошил скалы. Серовато-белыми уступами уходят они в голубые весёлые небеса. Сосенки, живущие на них, тянут в благодарности к небу свои зелёные руки с горстями сияющего снега. Покружились над горой две вороны, уселись на берёзу и застыли там, повернув головы к светилу. Во множестве слетелись на черёмуху встречать солнце синицы. Раздалось неуверенное птичье пение.

Вышло солнышко, обогрело. Открылся Байкал. На ледовом гладком его полотне белеют утюги далёких мысов.

Насколько неприглядной, неяркой бывает непогода, настолько её уход богат на краски. Приятно видеть, как от большинства сумрачных туч остаются светлые отресья. Хорошо смотреть вверх на бесконечное множество летящих хлопьев, через которые сияет солнце и виднеется приглушённая летящим снегом небесная голубизна.

Непогода сдаваться не торопится. Время от времени она грозит нападением. Свежие тучи, полные снега, надвигаются на небо и разверзаются над тихой землёю. Но при малом ветре и голубеющем небе, а иногда и при солнечном свете, они уже не страшны, а, напротив, привлекательны.

Вот и улетели вдаль тучи, и сменили их неровные линии и цепи бело-серых облаков, уже не столь тяжёлых и довольно дружелюбных. Их парад длится около часа. Небесные скорости постепенно сбавляются, облачные цепочки разрываются. Разорванные клочья большей частью скрываются с глаз, подгоняемые ветерком, а немногие превращаются в белых пушистиков, догоняющих друг друга. Большинство их исчезает из вида, и остаются над головой лишь несколько маленьких облачков, застывших в лазури, и три причудливые белые прозрачные полосы, всё больше растекающиеся, тающие в вышине.

Чудесны прощальные бело-голубые картины, с большой любовью нарисованные зимой, вернувшейся совсем ненадолго. По-царски почивает Байкал под сияюще-чистым одеялом. Синеет незамерзающий исток. Тихонько плывут в Ангару льдинки. Влечёт своей глубиной небо. Манят нежнейшие картины природы — одно из самых последних наслаждений, дарованных нам уходящей зимой.

Майский день

На Байкале стоял прохладный и пасмурный день конца мая. К сожалению, май был неласковым. Обычно в холодное время говорят: «Не май месяц!» А тут и май будто был и не маем вовсе. Из-за холода листочки на деревьях и кустах только-только стали проклёвываться. Неуверенно зацвёл багульник. Недружно и позднее обычного раскрылись лесные цветы. А от частых дождей и снегов разлились речки.

Солнце днём всё-таки показалось, но, посветив немного, скрылось в облаках. Ближе к закату оно ещё раз выглянуло на полчаса. На смену ему пришла хмарь, временами становилось темно, как поздним вечером. В это время лил дождь, уже изрядно поднадоевший за весну. Иногда он перемежался со снегом и градом. В перерывах между погодными безобразиями я, поёживаясь от холода, занималась грядками, не надеясь дождаться лучшего времени для посадки. А вокруг было однообразно, скучно, серо, сыро.

Вдруг в природе что-то изменилось. Всё вокруг залил матовый желтоватый тёплый свет. И я поняла, что за моей спиной светит радуга. Я обернулась и увидела, что радуга была через всё небо. Она была яркая-яркая! И широкая! Одним концом она уходила в Байкал, а другим стояла на вершине горы.

Люди говорят: «Всё хорошо, что хорошо кончается». А дожди часто заканчиваются радугой, которая, наверно, является одним из основных предназначений дождя. Захлопнутое небо, надоев своей скучной мокрой серостью, вдруг распадается нежной пронзительной голубизной и вспыхивает радугой, несущей радость обновления и чистоты земли.

Я спешно дошла до берега и стала искать место, откуда можно было снять на телефон это чудо, и боялась, что оно исчезнет. Но, похоже, радуга пришла надолго, с ней ничего не делалось, напротив, вскоре рядом стала видна ещё одна, менее яркая. Двойная радуга над Байкалом — великолепное зрелище! Я фотографировала радугу с разных мест и огорчалась, что она не входит в кадр полностью.

А тем временем картины быстро сменяли одна другую. Ветер в высотах играл облаками, одни смешивал, другие разъединял. Закатное солнце озаряло их волшебным разноцветьем. Большинство облаков светлело, а некоторые оставались мрачными и то лили дождём, то извергались на землю градом и снегом. Я мета-

лась по берегу, отходила от него, забиралась на причал, спешила сфотографировать такую переменчивую красоту. Жалела, что не могу просто стоять и не через объектив, а во все глаза с наслаждением смотреть на этот потрясающий закат, ставший настоящим праздником после серости весенних будней. Но так хотелось оставить этот вечер на память, чтобы любоваться им потом. И я снимала и снимала. Вспомнился рассказ о мальчике, который не успел нарисовать вечер и удивлялся, как у художников это получается. Но в этот вечер на Байкале природа дразнила ускользящей переменчивой красотой не только художника, но и фотографа.

Постепенно небо очищалось, синело. Вот последние пышные облака заалели на солнце и, величаво плывя, выпустили на волю золочёную Луну. Я смотрела на них через молодые берёзки, на которых проклёвывались первые запоздалые листочки. Одно облако было большим, по форме напоминающим кита. У облака было детское «лицо», «черты» которого были прорисованы крохотными тёмными облачками. Ясно виделись рот, нос, глаза — один широко открытый, другим облако будто подмигивало умытому праздничному миру. А на голове торчал пышный белый чубчик...

Какая красота! Какая благодать! И я благодарила неласковую весну за эти минуты счастья.

Лето. Таинство рождения летнего дня

Осторожно, бережно открывает свежее летнее утро байкальские картины.

Справа, километрах в десяти от меня, крутой мыс Бакланий подпирает небеса своей сильной спиной. Над ним висит большая круглая бледная луна. Немного выше угасающего ночного светила парят несколько облачков. Вершина горы уже встретила солнце и, окутанная праздничным флёром, радостно сверкает позолоченным гребнем. Слева, всего в километре, ангарский исток. Ангара занавешена туманом, невидима, неведома. Там, в её стороне, вершится таинство рождения Нового дня. На другом берегу Байкала, над остроконечными горами Хамар-Дабана нежно горит розоватая дымка.

Глубокая чаша Байкала наполнена голубизной. А у берега вода ещё темная, но подсвеченная золотистыми переливами. Берег ещё не освещён солнцем, но уже его видят мысы, блестят от него просыпающиеся в порту теплоходы. Горы быстро преобразуются, их бархатная зелень жадно впитывает желтизну солнца.

Зачирикал, увидев утренний свет, воробышек. Приветствуя светило, показались чайки. Откуда-то возникая, летят они, ещё сероватые, и оглашают тишину сонными неуверенными обрывистыми звуками. Вдруг совсем рядом раздаются голоса диких гусей. Чайки, сразу проснувшись, стремительно их атакуют, прогоняют и, немного покрячав, опускаются на воду. Пришёл их новый трудовой рыбацкий день.

Рассвет зажёт розовым светом окна домов. Вспомнив про свои сторожевые обязанности, залаял пёс. Открыло двери утро. Началась жизнь. Пошёл через ангарские воды паром, освещённый солнцем. В лазурных небесах, празднично сверкая, полетел самолёт. Нежно и тихо заплескались маленькие сонные волны. Заколыхались от дыхания воздуха травы. Всё в просыпающейся природе Байкала великолепно, свежо, юно!

Последние минуты Солнце и Луна ещё делят чашу озера на две половины.

Одна, уменьшающаяся, остаётся в предутренних красках, другая, стремительно увеличивающаяся, наполняется дневным ярким светом. Луна, почувствовав, что прихватила солнечное время, вместе с красивой лёгкою облачной свитой спускается за Толстый.

Исчезает Луна. Заканчивается двоевластие светил. С чистой байкальской воды, с небесной лазури начинается летний день, голубоглазый и ласковый.

Июльский денёк на Байкале

Тёплое июльское утро незаметно переходит в погожий день, один из лучших дней в году. Байкальские горы одеты в пышные разноцветные наряды. Небо лазурное, чистое, глубокое. Байкал синий, спокойный, ласковый. Крохотные волны чуть слышно шепчут что-то бархатистому песку, легонько поглаживают его. Из-за ближней горы выглянули два белых пушистых облачка и застыли на месте, быстро подтаивая в ярких лучах.

Прошло весёлое время многих сибирских цветов, украшающих зелёные одежды полян и лесов. Но в разгаре лета мир по-прежнему ярок. Наступило счастливое царство цветущих трав, влекущих к себе множество насекомых.

Повсюду пышно расцвела большеголовая левзея, превосходный лекарь, корнями которого исцеляются и люди, и олени, за что это высокое растение зовут ещё маральим корнем. Долгое время левзея была сереньким, непривлекательным растением. Теперь же с ней произошли сказочные перемены, она явила миру свою красу, её заросли сделали пространства вдоль побережья ярко-фиолетовыми. Раскрывшиеся крупные головки, высоко сидящие на крепких ножках, стали излюбленными местами и стартовыми площадками для насекомых. Дикие пчёлы глубоко ныряют в жестковатую нежность цветка и, вкусив нектара, тяжело гудя, продолжают свой рабочий полёт. Очень любят левзею бабочки. Они спокойно уживаются с пчёлами и шмелями на головках марального корня. Некоторые из них, переступая с ворсинки на ворсинку, кружатся на цветке в медленном красивом танце. Кружатся бабочки, кружится голова от пьянящих ароматов, наполняющих воздух, которым дышать — не надыхаться!

Июль на Байкале желтоглаз от «солнечных» трав, большая часть которых приходится на долю медового донника, также превосходного целителя. Всё: деревья, травы, вода, небо — напиталось, насытилось теплом и светом. Всё млеет в немом блаженстве, благодарное лету.

Горные скалистые склоны так горячи, что больно ногам. Здесь розовыми букетами растут последние цветы лета — нежные гвоздики. На них тоже любят отдыхать бабочки. Эти красавицы могут, подставив крылышки солнцу, подолгу сидеть на букете, сложенном самой природой из лесных гвоздик.

Всё больше припекает солнце. Скоро быть баньке. Байкальская солнечная баня — самая приятная, самая полезная. Жар вытапливает из организма всё застоявшееся, вредоносное. А Байкал в любую минуту готов принять, освежить, исцелить любого своей синей прохладой. Недалеко от берега то и дело выныривает нерпа, существо очаровательное, общительное. Она ждёт первых желающих поплавать с ней вместе. И совсем скоро ей не придётся скучать в одиночестве: охотников освежиться в Байкале найдётся немало. Ведь это ни с чем не сравнимое удовольствие. Какое блаженство, искупавшись, греться на песочке и смотреть в воду, до

донышка просвеченную золотом лучей! И любоваться нерпой, которая проводила тебя, как друга, почти до самого берега!

Хорошо на душе, отрадно. Смотришь вокруг и понимаешь: вот они, райские земные кущи! Вот она, первозданная, лучшая в мире вода! Вот оно, счастье!

Есть дни, которые мы помним из-за событий, которые в них произошли. А ведь многие дни сами являются событиями. Как этот июльский денёк, несущий большие наслаждения. И хочется, чтобы он длился, длился и длился! И хочется благодарить Небо за такой роскошный подарок и за то, что у нас есть Байкал.

Волшебные краски заката

Приятно наблюдать закат с горки, обрывающейся крутой скалой прямо в байкальские глубины. Внизу приветливо золотятся и подмигивают солнышку окна поселковых домиков. Вдалеке на водной глади видны похожие на искристые утюжки катера и лодки, оставляющие за собой клинообразные разбегающиеся следы. А недалеко от берега, блестя иллюминаторами, озаряя воду розовыми бликами, стоит большой белый теплоход, в предзакатном солнце ставший ещё белее: светлое в эти минуты выглядит гораздо светлей, белое становится светящимся.

Солнце на прощание раздаёт себя всему существу по частичке, дарит про запас. Каждая былинка, каждый листочек просвечены насквозь, они словно хотят насытиться солнышком впрок. Головки злаковых трав, совсем белёсые, тихонько покачиваются от дыхания ветерка, точно говорят светилу: «До свидания!.. До свидания!..» Чуть заметно машут солнцу и ветви берёз, ставшие бирюзовыми.

Вот на синей глади воды недалеко от берега появились две чёрные точки. Это головы нерп, детей озера, вынырнувших подышать, а может, и посмотреть за закат. Вдруг точки увеличились, а потом разом исчезли. Это нерпы показали свои спинки и ушли в глубину, испугавшись идущего на них катера.

Близится минута расставания Солнца с Землёй. Северный мыс Берёзовый просвечен до деревца. Южный мыс Бакланий присмирел, нахмурился, весёлым остался только его гребень. Над ним позолоченными пёрышками замерли облачка. Всё ярче и ярче зажигаются края пёрышек. А со стороны солнца облака совсем дневные, белейшие. Небесная перина взбита искусным мастером до легчайшего пуха.

Открылись взору и дальние горы на противоположной стороне Байкала. Днём еле различимые, высветились они полностью, от подножия до вершин. Небеса над ними загораются золотым румянцем, в котором розовеет цепочка маленьких круглых облаков, похожих на бусинки. Далеко над Байкалом зависла дождевая тучка. Уходящее солнце окрасило её длинные тонкие нити в золотисто-оранжевый цвет. Кажется, это богиня, любуясь на закат, распустила перед сном свои прекрасные волосы.

Ближе к закату чаша Байкала начинает золотиться, румяниться, переливаться нежными красками. Всё вокруг озарено космической подсветкой, которая удивительно быстро меняет краски не только неба, но и озера. Вода у южного берега плавится блестящим свинцом, ближе к северу наполнена густой синевой, а вдали ласкает глаз небесной голубизной. И вода, и небо, и горы, их разделяющие — всё слилось воедино в чудесной гармонии.

В природе и в душе наступает полная умиротворённость. Горячая звезда, осты-

вая, смотрит на землю любящим оком и всё ниже опускается в тёмные прохладные верхушки деревьев. Напоследок дружным ярким пламенем разгораются небо и вода. Но живой огонь быстро тает и заменяется мертвенной бледностью. Гаснет вечерний салют во славу Неба и Земли. Исчезает самая реальная сказка ещё одного неповторимого заката, нарисованного невидимым художником, который, к сожалению, не хранит свои холсты. Но волшебные переливы и перетекания остаются в сердце. Очарованная вечерним фейерверком, благодарная уходящему дню, погружается в сладкий сон природы.

Лунное царствие

Отгорел августовский байкальский день, отзолотилось предосеннее солнце. Уставшее, довольное своей работой, медленно погрузилось оно в лесную горную прохладу отдохнуть и набраться сил. Поваял невидимыми крылами ветерок. Чуть заколыхались потемневшие былинки. Заплескались, зашептали что-то берегу маленькие ласковые волны. Быстро стемнело. Нахмурились и почернели далёкие горы на противоположной стороне Байкала. Но вот неспешно выступила из-за высокой горы царица ночи Луна и медленно поплыла над озером, купаясь в его свежести. Всё на земле, уже почти исчезнувшее, растворившееся во тьме, вернулось на свои места. Леса, берег, воду — всё Луна облекла в неземные безучастно-сияющие краски, наделила загадочностью и непостижимостью. Она словно достала из сакральных закровов старое золото, облила тусклым жёлтым сиянием немалую часть неба рядом с собой и очертила царственный круг, обособила своё пространство на небесах от других светил. Ни одна звёздочка не смеет приближаться к лунному свечению. Все они тускло мерцают поодаль, в тёмных уголках неба. Только ветки старого осокоря смогли дотянуться до лунного ореола и в тихой нежности гладят призрачную небесную красавицу. Попала в её притягательное блистание и замерла в нём стайка облачков, похожих на дымок, волнисто застывший на хмуром небе.

Через всё озеро перекинула царица широкий мост, начинающийся у самого берега бегущими переливающимися волнами-ступеньками. От нескольких прибрежных мокрых валунов до другого далёкого невидимого берега кипит лунная дорога, манит позолотой. Мост ведёт туда, где днём видны дальние синие горы, а сейчас на их месте чернеет длинная узкая полоска, которая кажется гранью между миром земным, привычным, и другим, неведомым, скрытым от человеческих глаз. И, кажется, сейчас легко перейти эту грань, пройдя по сияющей дорожке. Для кого проложила Луна этот царский мост? Кому суждено этой ночью пойти по нему в полный ночной прелести лунный мир? И что ждёт в неведомых пределах того, кто отправится по водному мосту-красавцу?..

Бесконечно долго можно глядеть на лунную дорожку, вбирая её свет, немея от восхищения. Несёт Луна байкальской волной жидкое своё золото, и сами собой возникают думы. Мысли при слепящем солнце и тусклом сиянии луны различны, как день и ночь. Солнце опускает нас на Землю, Луна от неё уводит. Ночью живёт, смотрит на нас, дышит свежестью Космос. Лунной светлой порой больше думается о смысле всего сущего, о тайнах Земли и дальних миров, о бренности и вечности жизни. Острее становится чувство одиночества и вместе с тем единения со всей Вселенной. Ночью «звезда с звездой говорит», душа — с душою...

Быстро, как в волшебном сне, проходит время лунного царствия. Меркнут звёзды. Гаснет волшебный мост. Скрывается Луна за спящей горой. Уходит царица, чернеет небо. Утихают всплески огорчённой потемневшей воды, жалеющей ушедшую красоту.

Венец лета

Начало августа. Лето стоит прелестное. Всего выпало вдоволь: и тепла, и прохлады. И не было сильной жары. И не было затяжных дождей. И шли они, будто по расписанию. Освежат, напоят природу и открывают небо. Выходит солнце, и все растения, от мала до велика, сверкают праздничной росой... Всё-таки, святое слово — «мера»...

Природа утолила голод после зимнего сна и, насытившись соками земли, питавшись солнечными лучами, теперь сама дарит плоды, насыщает. И отдыхает, блаженствует, улыбается. Отяжелели кусты смородины и малины. Усыпан крупными ягодами черничник. Молодцевато стоят на крепеньких ножках грибы. Пригнулись от розово-лиловых шишек, висящих на ветках во множестве, лапы кедров.

Созрело лесное лекарство, способное изгнать все хвори. Белеют соцветия тысячелистника. Яркими круглыми таблетками желтеют цветки пижмы. Густо растёт высокий чистотел. Во всю силу полыхают розовым огнём заросли стройного иван-чая. Кое-где розовеют задумчивые головки клевера. Аптека для всех и каждого украшает разноцветьем сочно-зелёный травяной ковёр, в котором привольно жить, прыгать и петь нехитрые песни лёгким, как воздух, невидимым среди стеблей кузнечикам. Хорошо отдыхать на крупных цветках бабочкам и разноцветным мотылькам.

Деревья свежи и раскидисты. Глянцевые листья играют с ветерком, по-детски купаются в голубом бескрайнем небесном море. Теплом дышат земля и небо. Замерли и смотрят на землю высокие облака сметанной белизны, взбитые до пышности неведомым небесным миксером. Им хочется сюда, ближе к земле, хочется укрыть своей белой заботой чудесные августовские леса, но им предначертан другой путь — небесный.

Пополнил свои воды Байкал и возлежит в полудрёме, лаская берег тихими сонными всплесками. Он, светло-голубой, ещё светлее неба, купает отражения облаков и даёт им возможность увидеть себя в водном зеркале. В нежной и чистой байкальской голубизне купается и солнце, широкой лентой растекается по воде его золото.

Камни на небольшой глубине заросли ярко-зелёными водорослями. На них лежат, поблескивая, несколько монет, брошенных в воду туристами, верящими: кинешь деньги в Байкал — значит, побываешь здесь ещё раз, ещё раз окунёшься в его хрустальную прохладу. А снова приехать на сибирское дивное озеро хочется всем, кто однажды здесь побывал.

Осень. Осень про запас

Тёплым утром золотой осени отправляюсь я на велосипеде по Кругобайкалке, набраться перед зимой ярких впечатлений и пополнить свой фотозапас, чтобы было чем скрасить скучные зимние вечера и с другими красотой поделиться.

Ночью шёл сильный дождь. Воздух влажный. Но солнышко быстро сушит сырую землю. Тропа, по которой я не спеша еду, очень узкая, только для велосипеда да мотоцикла. Слева от меня — старая железная дорога, справа — заросли высокой травы, над которыми возвышаются крутые горы. Вот подъезжаю к пострадавшей от молнии безголовой сосне, простирающей к небесам ветви-руки. Она растёт у обрыва на высокой горе, увенчанной вознёсшейся в небо красивой скалой, на которой растут, не зная страха, деревья разных пород. Их зелёно-жёлто-красные одежды делают скалу прекрасной. Над деревьями-небожителями купается в лазури белый серп Луны.

Восхищённая чудесным видом, замираю я надолго. Затем несколько раз фотографирую гору от подножия до вершины, с сосной, со скалой, с лунным месяцем.

Еду дальше. Мелькают засыхающие травинки, цепляются за ноги, заглядывают в лицо, словно просят запечатлеть их, увековечить. Останавливаюсь. Снимаю их на фоне древнейших скал.

В голубом небе тают последние облака. На тёмно-синей воде белеют чайки. Горы и склоны осень щедро раскрасила. Столько в них красок и оттенков, среди которых значительно преобладает жёлтый свет. От желтизны листвы да от солнца и мир кажется золотым. До чего же хорошо!

Проезжаю мост, построенный более века назад. Он неизбежно стоит на опорах ручной кладки над ручьём, катящим из узкого распадка прозрачно-стеклянную воду. Оглядываюсь на панораму уже далёкого посёлка, словно хочу наглядеться на него вперёд перед тем, как дорога уведёт меня за гору. Посёлок красив и светел. Домики утопают в осеннем разноцветье. На горе под нежно-голубым небом сияет купол храма. Темные ряжи порта уходят в байкальские воды, играющие бликами. В акватории стоят белые суда.

Фотографирую панораму посёлка. Немного проехав, снова останавливаюсь. Подхожу к крутому откосу на краю мыса. Внизу волны до блеска моют серые валуны. Возле них, у берега, растёт старая куцеватая берёза, много повидавшая на своём беспокойном веку. Её били-ломали шторма, на неё напоздали льды. И всё же хороша она сентябрьской порой! Осенняя сказка превратила её отрепья в дорогие одежды. Бережно прикасается к ним ветерок. Осыпает горошком брызг Байкал.

Делаю снимок с героиней-берёзой, открытой всем байкальским ветрам.

Рядом со мной у обрыва стоит озарённая солнцем высокая, раскидистая сосна, чуть подавшаяся к морю. Её подножие украшают густые разноцветные травы. Она открывает собой ряд деревьев, стоящих у склона. Как хороша сосна на фоне монументального мыса Бакланьего, почти вертикально уходящего в небесную лазурь!

Несколько раз фотографирую пейзаж с сосной. Смотрю в телефон. Прекрасная получилась картинка!

На пути привлекают внимание две берёзки. Какая-то сила согнула их в дугу. Скорее всего, их подмял падающий обломок скалы. Но они выжили и растут. Растут они не как все: не в направлении солнца, но зато в направлении Байкала, образовав собой красивую незавершённую арку вблизи байкальской воды. Нижняя сторона стволов лишена ветвей, а верхние ветки преобразовались в деревца, некорно смотрящие ввысь. Природа искусно залечивает раны, восстанавливает себя.

Фотографирую берёзки. На снимке кажется, что они ныряют в Байкал и никак не могут до него долететь.

Снова сажусь на велосипед. Горы, склоны, каждое дерево, каждый кустик

просятся в кадр. И я стараюсь ничего не пропустить. Вот на пути тоннель, а точнее галерея, подпирающая отвесную скалу. В ней темно, прохладно и глухо. Уже больше века обрастает она деревьями. Весело желтеют берёзы над мрачной каменной чернотой. Слева синий Байкал. Справа скалы, с высоты которых без страха смотрят вниз деревца, по-осеннему чудесные. А в синей вышине над этим сказочным миром замер коршун. Благодать, глаз не отвести! Получается, галерея эта не только железнодорожная, но и картинная. Сколько картин она дарит неравнодушному глазу! Вот сейчас она делится со мной красотой яркой, осенней. А мир ранней осени притягателен, как никакой другой. Зелень сосен, огонь рябин, золото берёз — всё это нерукотворные картины. Бери, рисуй! А не умеешь рисовать, так фотографируй. И успевай: золотая пора коротка...

Видя осеннее величие, понимаешь, что в красоте природы — смысл бытия. Печально, что многие избегают в книгах описаний природы. А надо бы картины природы, написанные талантливой рукой, читать не спеша, пропускать их через сердце, чтоб оставалось оно живым и здоровым. Природа хранит наши души. Без неё книги пусты и скучны. Ведь, придя в художественный музей, мы не обходим полотна пейзажистов. Напротив, задерживаемся возле них надолго. Ещё бы! Трепетно рисовали художники русскую природу. Прорисовывали каждый листик, каждую травинку. Сама природа давала им краски, она наполняла их светом вдохновения. И радуют полотна, где порой видны даже прожилки на листиках...

Есть открытые байкальские тропы, по которым проходят в год десятки тысяч туристов. А на моём пути встречаются тропинки доверия, ведущие к потаённым уголкам, где можно сидеть в одиночестве и смотреть, как плещет Байкал на мшистые камни, как выпрыгивают из воды мальки, как подплывают к берегу нерпы. И приятно оттого, что всё это открыто только тебе. Спускаюсь по такой незаметной тропке к самой воде. Пенная волна шумно набегаёт на береговые камни, мокрые, блестящие. А в воде камни поросли густыми зелёными водорослями. В прозрачной воде озера-моря раздольно играть солнцу. Склон пёстр. Мысы по-осеннему праздничны.

Фотографирую несколько раз на память осенний Байкал, берег, склон, тропинку...

Сентябрьский день переполнен солнцем, счастьем. Выпал на долю такой денёк, значит, не зря жил. Все богатства меркнут перед золотом и изумрудами байкальской воды. Какими нелепыми кажутся в эти минуты слова о том, что на байкальской воде надо экономить! Сознаёшь, что такую благодать, такое сокровище нельзя приносить в жертву. Понимаешь: у Байкала можно ходить пешком, ездить на велосипеде, а по морю — ходить под парусом...

Пусть сейчас идёт пора заготовок, и люди заняты соленьями-вареньями. А я вот хожу с фотоаппаратом! Но пища для души важна не менее. Когда всё отцветёт, когда остынет земля, когда птицы улетят искать тепло в чужих землях, буду возвращаться и возвращаться к этим снимкам, оттаивая, согреваясь, буду с теплом вспоминать этот благостный день, ставший подарком Земли и Небес.

Утёс открывает просторы

Сентябрьской порой Байкал становится ещё прекраснее. А уж как он, в богатых осенних нарядах, прекрасен с большой высоты!..

В который раз иду я полюбоваться морем с высокого утёса, стоящего высоко над Байкалом и нависающего над обрывом. Иду по скалистому гребню, крутому с двух сторон, а во многих местах даже отвесному, особенно внизу, со стороны Кругобайкальской железной дороги, где горы в начале века взрывали, прокладывая вдоль байкальского берега два пути. Но мне не привыкать. Выросла я среди байкальской природы, и на скалы взбиралась, и шишки с кедров доставала. Правда, ушло молодое время, и теперь идти к своему любимому утёсу стало сложнее. К тому же, раньше на гребне было некое подобие тропинки. Сейчас же никто по нему не ходит, и он густо зарос кустарниками и деревьями, корни которых вышли на поверхность и сплелись друг с другом.

Крутизна начинается, можно сказать, от самого Байкала. Зато и высота набирается быстро. Всё ниже и ниже огромная чаша сибирского моря, со всех сторон окружённая горами. Держась за чахлые кусточки и узловатые стволы деревьев, осторожно поднимаюсь я в байкальское небо. Ненадолго задерживаюсь возле любимой берёзки-подростка. Стоит она у края и смотрит на Байкал. У берёзки два ствола. Ветви первого тянутся в направлении моря. А изогнутые ветви второго образовали своеобразную белую тонкую рамку, в которой видна картина части моря и гор. Нередко в берёзовой раме появляются то солнце, то луна. В основном за солнечно-лунные байкальские картины мной и любима эта берёзка. Вот и сейчас в этой природной раме светит солнце.

Продолжаю подъём. На пути встречаются две маленькие живописные скалы. Одна немного в стороне, и я прохожу мимо неё по гребню, а другую обхожу справа, с обратной стороны, и она на несколько минут закрывает от меня море. Обхожу и участки с густыми зарослями растительности. Но вот ненадолго подъём становится более пологим. Хотя путь к утёсу ещё не окончен, останавливаюсь у группы сосен передохнуть и полюбоваться с высоты байкальской золотящейся синевой. Много раз бывала здесь, но всё равно замираю от восторга и всматриваюсь в открывшуюся картину Байкала так, будто вижу её впервые.

Поднимаюсь дальше, не отводя глаз от Байкала. До утёса остаётся всего метров тридцать. Это тяжёлые метры, так как подъём в этом месте крут, да ещё приходится карабкаться по самому краю скалы. Но вот и вершина. Возле обрыва растут три сосны и осинка-невеличка. Осинка мне до пояса и кажется совсем слабенькой. Нелегко этой малышке бороться с коварными байкальскими ветрами, добывать пищу из каменистой почвы да выживать в весенних пожарах. Стволик осинки почернел от огня, нижние ветви сгорели. Но верхушка — золотая! И её золочёной листвой играет свежий ветерок. Сосны же велики и раскидисты несмотря на то, что их стволы снизу тоже черны от гари. Похоже, они привыкли к месту, на котором стоят много лет, и ничего другого и не желают.

Смотрю на осеннюю чащу. Резко уходят вниз деревья и кустарники, тесно растущие на скалистых престолах северной, бессолнечной стороны горы. Но сейчас чаща светла и чудесна. Желтизна берёз и осин, зелень сосен и кедров, огонь рябин и черёмух — от такой красоты всё во мне замирает. Насмотреться на сентябрьский лес вдоволь невозможно, но поворачиваюсь к нему спиной. Теперь предо мной — утёс. Подхожу к его краю, и от высоты и величия картины замирает сердце. Ничто не загораживает панораму озера. Байкал открыт, распахнут, доверчив. Его волны отсюда, сверху, кажутся зыбью, а чайки над ними — белыми мошками. На многие немереные вёрсты распростёрлись горы, хранящие драгоценную чашу сибирского моря. С нашей западной стороны они гораздо ниже, а с восточной, до

которой от нас километров пятьдесят по прямой — высокие. Их остроконечные вершины уже забелил первый снежок. У подножия моей горы золотистой змейкой тянется Кругобайкальская дорога. Над Байкалом сверкает и слепит глаза золотой ореол. Солнечная дорожка, широкая, живая, пролегла через всё славное море, а через неё медленно плывёт кораблик, который кажется отсюда меньше детской игрушки. Надо мною висит, распластав широкие крылья, коршун. Над обрывами величественно парят сосны и берёзы. И усталая, приземлённая душа, истосковавшаяся без живительной подпитки, полнится счастьем и парит вместе с птицами и деревьями. Кружит голову высь, манит чистое небо. И море, и горы, и небо, — всё пребывает в едином вдохновенном порыве — творить красоту. А творить есть из чего: палитра сентябрьской природы несказанно богата...

Любят смотреться в байкальское зеркало облака. А как чудесны и облака в небе, и их двойники в воде на закате, когда начинает играть в воде и в небе не устающее удивлять вечернее Солнце! Конечно же, Солнце миллионы лет любит Байкал, оно жидким золотом растекается по поверхности и проникает далеко в холодные глубины и высвечивает, и расцветчивает их. Сибирское море радуется солнцу, веселеет с его приходом. Тихой ночью небо любит прополаскивать в байкальской воде свои мерцающие звёзды, а Луна и звёзды, купаясь в байкальских водах, несут морю тайны Космоса и набираются байкальских чудес.

Давно заметила: Байкал и небо тесно связаны, недаром порой они бывают одного цвета, и тогда, глядя на катер, не понять, плывёт ли он по морю или летит по небу.

Байкал не всегда бывает сдержан в своём желании слиться с небом. В шторм, вдруг взбунтовавшись, Байкал изо всех сил рвётся в небо, плещет в него мятущейся волной...

Стоя на утёсе, ощущаешь себя частицей осеннего праздничного разноцветья, частичкой бескрайнего Космоса. Чувствуешь, как переполняется душа всем сущим: от тенистых распадков до озарённых высей. И просвечена она насквозь золотым байкальским сиянием... Как сладостен свежий ветерок, как вольно дышится над Байкалом! Вот она — настоящая красота и гармония. Вот он — простор. Вот она — свобода, такая желанная! Вот она, лучшая в мире земля, на которой повезло тебе родиться и за которую надо держаться так крепко, как держатся за неё вознёсшиеся над бездной сосны, и надо бояться её потерять так же, как боятся они. И они, и я без неё — ничто. Высоко над Байкалом вспоминаешь, что ты обязан жизнью миру природы. Мы живём в природе, она живёт в нас. Но мы всё больше рвём наши с ней кровные узы и отворачиваемся от неё. А она, как чуткая лошадь, прислушивается к нам и не может понять, почему мы так плохо с ней обходимся...

Такой бессмысленной кажется отсюда человеческая суета, на которую мы трагично почти всю нашу драгоценную жизнь. Только здесь, на большой высоте, по-настоящему осознаёшь, насколько мы приземлены и ограничены. Байкальские высоты очищают дух, заряжают бодростью и желанием жить, жить по-настоящему. А потому пока есть силы, буду ходить в байкальское небо, чтобы воспарить над суетой и надыхаться байкальской благодатью.

Последний день сентября

Последний день неласкового сентября неожиданно порадовал летним теплом. Повеяло настоящим бабьим летом, и захотелось насладиться чудесными его мгно-

вениями. Иду вдоль байкальского берега за посёлок к крутым горам, возвышающимся над тихой полузаброшенной Кругобайкальской железной дорогой. Подхожу к скале, много претерпевшей и от местных жителей, и от путешественников со всего света, желающих увековечить на ней своё имя. Ступаю медленно и вдруг вижу, что из-под ног в страхе выскакивают маленькие кузнечики, высоко прыгают в разные стороны и даже пытаются лететь. Обхожу стороной их поселение и поднимаюсь над обрывистой скалой по крутой тропе, на которой осень раскидала отжившие берёзовые листья и окрасила ими дорожку в жёлтый крупный горох. Извилистая линия тропки делит гору на две части. Одна часть повёрнута к Байкалу и уходит своими уступами в его глубины, а другая никогда не видела сибирское море, хоть и стоит от него совсем близко. Чтобы не сорваться вниз, держусь за корявые стволы и ветки низкорослого кустарника. Добираюсь до скального выступа, по форме напоминающего кресло, и удобно усаживаюсь в это каменное мшистое тёплое сиденье, вылепленное руками самой природы.

В небольшие углубления монолитного камня-скалы, на котором я сижу, за долгие годы набилось немного землицы, дающей жизнь травинкам и чахлым кусточкам. В одной из таких выемок, устланной берёзовым листом, прилегла, как на мягкую постельку, рябиновая веточка. А рядом на хилом коротеньком согнувшемся стебельке цветёт ярко-розовая гвоздичка.

Хорошо быть сейчас одной, любоваться осенним великолепием, пить свежий воздух, дышать красотой. Чуть колеблются травы, замирают от теплоты. И наверху, и внизу — лесное разноцветье. Наверное, благодаря тому что месяц был ненастным, холодным, листва ещё сохранилась во множестве, хотя лесные просторы всё же стали сквозными, а на некоторых горах уже видны большие проплешины. Байкал, окрашенный во все оттенки синего цвета, степенно катит волны и плещет хрусталём в берег. На его волнистой поверхности кое-где дрейфуют беспомощные листья.

На горе, где я нахожусь, вместе со мной, замерев, радуется солнечному деньку древесный и кустарниковый народ. Он малочисленный, так как сильная крутизна и ветры не дают семенам падать и закрепляться здесь во множестве. Зато часть горы, закрытая от байкальского взора, густо заросла деревьями. За моей спиной начинается сплошной лес.

Слева от меня, всего в нескольких метрах, касаются друг друга ветвями берёзка и рябинка. Им от роду лет по десять. Рябинка стройна и будет со временем красавицей. А вот ствол берёзки у основания перекручен, змеист, часть его расположена горизонтально, а дальше он, тонкий и стройный, устремляется ввысь. Какую эту берёзку придёт в жизни? Выдержит ли узловатый, ненадёжный ствол тяжёлое дерево? Долго ли проживёт берёза бок о бок с рябиной?..

Метров на десять ниже деревьев-детей смотрит в байкальскую воду берёза, широкая, многоствольная. И непонятно, одна это берёза, или дружное единство белоногих весёлых сестёр, сросшихся у самой земли и словно ширмой прикрывающих от меня часть Байкала. Но солнце не удержать, не скрыть, оно мощным потоком прорывается сквозь ветви и листья. Солнечная дорожка, протянувшаяся через всё море, сияет, слепит глаза, а по бокам горят, стремительно плывут с волнами к берегу многочисленные солнечные звёзды. Одни гаснут — другие вспыхивают, и этому волшебству нет конца. Свечение движется, течёт, словно речка. Солнце подсвечивает камни, затопленные у берега. Качается на воде светлым поплавком одинокая чайка. Изредка деловито пролетают в хрустальной синеве неба вороны.

Несколькими метрами правее от берёзы и ещё ниже к Байкалу, нависая над страшным обрывом, растут рядышком две сосны, в молодой своей поре, сплошь в зелёных шишках. Выпало им, презрев опасность, всю жизнь с высоты птичьего полёта смотреться в байкальское зеркало. Вцепились они намертво в скалистую землю и, довольствуясь небогатой пищей, растут на радость себе и другим.

Справа, метрах в двадцати от меня, живёт на маленькой скале сосна- подро-ток. Между её зелёных лапок в синем оконце неба белеет луна, ставшая в эти минуты ещё одним дневным светилом, гораздо менее заметным, но прекрасным.

У самой тропинки, уводящей в скалистые поднебесные просторы, широко раскинула ветви зрелая берёза. Почти до земли ниспадают её тоненькие нитевидные ветки в ярко-жёлтых листьях и золотых серьгах, чуть покачиваются от тёплого ветерка, глядят куст багульника, среди огненной расцветки которого (о чудо!) раскрылись весенние ярко-розовые цветки. На одном кусте гармонично сошлись весна и осень, и хорошо им вместе, и нисколько не тесно. Щедрa осень на удивительное. Бабье лето временами можно назвать и бабьей весной: ведь стольким цветам даёт оно вторую жизнь. И всё-таки жаль запоздалые цветы, жаль слабенькую гвоздичку и цветки багульника: совсем скоро их живые огоньки погасит колючий снег...

Вдруг в моё уединение, резко вспугнув чуткую тишину, врывается чёрный паровоз. Пыхтя и гудя, окутывая всё вокруг белым паром, несётся он под моей горой по Кругобайкалке, таща за собой всего два вагона. Пар быстро добирается до меня и, укутав всё вокруг плотной завесой, устремляется выше. Но, стремительный и зыбкий, он быстро тает. И вскоре паровоз, изрядно уменьшившись в размерах, пыхтит уже под другой горой, лежащей передо мной как на ладони. И вскоре скрывается за ней. Улёгся пар, и снова стало тихо. На убыль идёт туристический сезон, а значит, скоро опустеют берега озера, и станет Байкалу спокойнее, легче.

Небо с любовью смотрит на Байкал, на осенние горы, посылает им тепло лучей. Если бы не остроконечные снежные пики Хамар-Дабана, напоминающие о скорой зиме, было бы непонятно, где кончается море и начинается небо...

Показалась стая птиц, совершающая тренировку перед перелётом в земли, где не бывает зимы. Тревожно кружат они над Байкалом. Нет ещё в стае того порядка, который так необходим птицам в нелёгком пути, но вот-вот такой порядок наступит.

Долго можно сидеть в каменном кресле, глядеть на байкальские красоты. И сколько ни гляди — всё будет мало. Особенно когда знаешь, что через три дня это блаженное время закончится. Придёт ненастье. Леса опустеют, почернеют. И почувствуем мы первое морозное дыхание зимы, возвращающейся через полгода отсутствия. А пока вокруг — солнце, синева, тепло, сошедшая с неба благодать. И хочется вобрать её в сердце до последней капли.

Хрустальная сказка, созданная байкальской стихией

Кругобайкальская железная дорога — дорога малоиспользуемая, тупиковая, и потому здесь вольготно живётся растениям. Они — везде: на шпалах, на откосах, на тоннелях, на близлежащих скалах. У растений, живущих у самой воды, — особенно на дамбах — судьба стоическая. Хорошо знакомы они с суровыми байкальскими ветрами и волнами, штурмующими дамбы, словно крепости. Но приспособились они к стихии, научились выносить её свирепое лихачество.

В конце осени и в начале зимы, когда Байкал неспокоен, деревьям и кустам живётся нелегко. Особенно — во время ветра шелоника, который срывается со снежных хребтов Хамар-Дабана и с большой порывистостью устремляется к западному побережью, но, к счастью, берега не достигает. Затихает он над Байкалом, вложив всю свою пылкую могучесть в волны. В великолепной мощи рвутся к берегу посланники грозного ветра-отца, чтобы донести до берега его силу, напомнить всему живому о его владычестве. Приятно любоваться волнами в безветрии и относительно зимнем тепле (шелоник бывает в тёплую погоду). Даже линия горизонта, откуда идёт безудержное шелониково войско, становится волнистой. Огромный вал загоняет суда в гавани, но и там не находят они покоя от сильной трёпки. Сверкает в кипящем Байкале солнечная дорожка. Мечутся, безудержно приближаясь, волны. Участь у них разная. Одни слабеют в пути и исчезают в морском кипении. Иные достигают берега в умеренной силе, громогласно заявляя о себе. А самые воинственные, гороподобные волны, выстроившись в линии, надвигаются на землю грозно, неумолимо. Живые синие «горы» с шумом и грохотом обрушиваются на дамбы, на деревца, на кусты. Бетонные стены глухо содрожаются от разгула байкальской стихии и отражают удар за ударом. Волна, сотрясая стену, мигом взлетает на неё. Часть её устремляется в поднебесье, закрывая солнце, рассыпаясь на множество блестящих брызг, а затем окатывает дамбу, оmyивает берег до самой железной дороги, образуя скользкую мокрую наледь. Другая часть волны, большая, срывается вниз и, отпрянув от стены, на огромной скорости сшибается со встречной волной. Обе от сильного столкновения взмывают над пучиной, останавливая прыть, рассыпаясь, сердито шипя.

Волны захлестывают растения и ручейками стекают с них. Не успеет стечь одна — уже хлещет другая, за ней — третья. Подойдёшь в это время чуть ближе к краю дамбы — и разделишь участь зелёных детей природы, и оценишь их волю к жизни. Ведь их окатывает с лихвой целыми сутками, пока море, бушующее не на шутку, не успокоится.

Когда Байкал клопочет и ярится, все части растений покрываются ледком. Он щетинится на деревцах и кустах длинными изящными сосульками, которые день ото дня становятся всё толще. Терпеливые смельчаки, полностью покрытые льдом, принимают совершенно другой, диковинный облик. А когда крепко скованный Байкал затихнет до весны, ледяная корка на растеньицах станет очень толстой, и они, невидимые в мутноватой толще, станут прекрасными скульптурами, образующими длинные диковинные ряды.

Невозможно не любоваться растениями в ледяных одеждах, сковавших их, наполнивших светом и тайной. Привлекают взор несколько сосенок-малышек, одетых в толстые блестящие платица. Их зелёные хвойные веточки, тоненькие стволы, похожие на стебельки, призрачно просвечивают сквозь толщу льда. Но сосенки-крохи, заколдованные водой и морозом, оказавшиеся в прозрачном неведомом мире, не так слабы, как кажутся. Ни коварные байкальские ветры, ни валы, ими порождённые, не погубят малышек. Они способны выстоять и выжить в самую неистовую погоду. Растения, как и люди, ко всему привыкают, и, наверное, им только на пользу байкальская закалка.

Непокорно, задорно смотрят ввысь кустики облепихи, растущей здесь во множестве. Толстый ледяной хрусталь покрыл колючие облепиховые ветви, просвечивающие через него коричневатыми прожилками. Ярко-оранжевые грозди ягод, застывшие в блестящей голубоватой глазури, выглядят очень привлекательно.

Рядом с дамбой, у самой воды, живёт высокая молодая плакучая берёза. Кажется, что кривой ствол её летит по-над Байкалом. Ветви берёзки устремлены ввысь и отражаются в воде. Кончики ветвей, очень тонкие, висят длинными прядями. А нижние ветви сплошь покрыты ледяным острым хрусталём, который свисает до берегового песка и мокрых прибрежных камней. Во время ветра ветви колышутся, раскачиваются и издают нежный тихий хрустальный звон.

Байкал даёт вторую жизнь даже высохшим травинкам. Они, ранее неприметные глазу, становятся больше, значительнее. Одни стоят в хрустальном обрамлении прямо, другие чуть пригнувшись, а третьи сгибаются в дугу, да ещё и вырастают в землю поперечными сосульками. И каждой былинке очень идёт ледяное убранство.

А как хороши байкальские хрустали на рассвете и на закате, когда играет, переливается в них множество цветов и оттенков! Восходящее светило озаряет море ярким, всепроникающим светом, и хрустальные растения радостно приветствуют солнце и от встречи с ним становятся ослепительно-весёлыми, золотисто-румяными. В вечернюю зарю они задумчиво-прекрасны. Прощаясь, солнце трогательно прикасается к ним, никого не обходя, украшая их наряды нежным блестящим радужным разноцветьем. Щемяще-грустно гаснут его лучи за тёмным мысом...

Невозможно не восхищаться «выставкой» байкальских ледяных фигур под открытым небом. Синяя живая вода, белый хрусталь, россыпи брызг. Что может быть лучше, красивее?! Греет душу растительно-ледовое царство, творчески созданное самим Байкалом. Да не иссякнет никогда его животворящая сила!

ПОЭЗИЯ



ДМИТРИЙ ФИЛИППЕНКО



«Мне холодно и плохо без жены...»

* * *

На ровном месте в час кривой
Он подружился со вдовой.
Плыла зима, цвела вдова,
И шла по городу молва,
Что пропадают мужики...

Жила бабёнка у реки,
Стирала в зеркале бельё.
Вокруг кружило вороньё.

ФИЛИППЕНКО Дмитрий Александрович родился в 1983 году в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Стихи пишет с 15 лет. С 2006 по 2014 г. — участник литературного объединения Л.И.К., с 2015 года — основатель и руководитель литературного цеха «Образ». Публиковался в журналах «Огни Кузбасса», «Плавучий мост», «ЛиФФт», «Байкал»; газетах «ЛИК», «Площадь Пушкина». С 2013 г. — главный редактор литературных альманахов «Кольчугинская осень» и «Образ». Участник Международного фестиваля «КУБ»-2016 (Красноярск), «Рифейских встреч — 2015» (Каменск-Уральский), фестиваля-семинара «Мы выросли в России» — 2015, 2016 (Бугуруслан), Регионального совещания сибирских писателей — 2016 (Новосибирск). Автор двух книг стихотворений: «На ладонях берёзовых рук» и «Небо на подоконнике». Работает в компании СУЭК в шахтоуправлении имени А.Д. Рубана горным мастером. На шахте с 2005 года, начинал работу с профессии проходчика.

А он влюбился как шальной,
Читал стихи ей под луной.
Чинил сарай, колот дрова
И ни о чём ни горевал.
Но всё закончилось бедой,
Когда пошёл он за водой...

Бежит река, трещат дрова
И вяжет чёрная вдова.

* * *

Когда растают камни под ногами,
Я успокоюсь и начну дышать.
Мне не придётся больше с чудаками
На букву «эм» по Родине шагать.

Топить я буду по субботам баню,
А может быть, и в среду растоплю...

Всех негодяев навсегда забаню —
Поймут кто самый лучший стихоплюй.

Я стану самым добрым раздолбаем,
Сниму документальное кино,
А после выпью с дорогим Донбаем —
Хоть и не пью, но выпью всё равно.

* * *

Во мне земля и воздух, и вода
Горят огнём. Костёр не угасает.
Тревожное сомнение терзает,
Что не согреюсь больше никогда.

Я спотыкался, падал и вставал,
Но приходил в похмельные объятья.

Терял друзей и умирали братья —
Мне нужно, чтоб никто не умирал!

Пусть не замёрзнет свежая роса
И новый снег в золу не превратится.
Пусть над гнездом моим летает птица
И веру мне приносит в чудеса.

* * *

Мне начал сниться новый дом,
А старый дом почти не снится.
И перевёрнута страница
В тетради жизни. В молодом
Вине уже седые крошки.
Да и не хочется вина.
А где-то в детстве не до сна
И пахнет жареной картошкой...
Мы переехали давно,
Я никогда не возвращался.
И в старом доме тихо, но
В нём навсегда отец остался.

* * *

В Ростове ливень — в Ленинске жара. Природа отдыхает этим летом. А ты мне снишься с ночи до утра, Не звонишь мне и не звонишь при этом.	Прокладывает строки Телеграмм В моей душе как лучший изыскатель. Меж нами часовые пояса На рубеже упрёка и намёка, И слышатся над городом гроза И голос из бескрайнего далёка.
Раскладываю время по слогам, Секунды растворяются в закате...	

* * *

Везли овец на мясокомбинат, И было душно в кузове глубоком. И слышалось ворчание ягнят, И вдалеке — кукушка-чернобока.	Овечек завозили на повал, И пахло кровью в воздухе до рвоты. Козёл их встретил старый за углом — Поверили ему и стали тише... И вслед ушли овечки за козлом. Козёл-то вышел, а они не вышли.
Водитель Челентано напевал, И открывались мятые ворота...	

* * *

Счастливый снег как белый мох Обнял завалинку избушки. И за столом промеж эпох Поэму пишет старый Пушкин.	Сергеевич сварил компот, Приехал юный Достоевский. Зима как белая нуга Растянется до звёзд апреля, И только бабушка Яга В гостях у сказки вяжет время.
У печки спит молочный кот И зеленеют занавески.	

* * *

Какая тишина! Никто мне не звонит,
И сумерки дождей размешивают тени.
И тёплое вино как розовый магнит,
Владыка всех моих велений и хотений.

Я бронзовый герой непризнанных планет.
В пустыне чёрных слов ищу в потемках воду.
Никто мне не звонит — а, может, мёртвых нет?
И нет живых людей, порушивших свободу?

Какая тишина — солёная насквозь!
И безграничный свет меня в пылинки ловит.
Никто мне не звонит — я позабитый гвоздь,
Доступный абонент посмертных предисловий.

* * *

Как хочется проснуться и понять,
Что ничего не нужно, я в деревне:
Ковёр с оленем, бабушка и мать
Капусту солят. Вкусное варенье
Налью в тарелку — и в него блины
Макать я буду, запивая чаем...

Возьму фуфайку, тёплые штаны —
Надену их, чтоб зубы не стучали,
И в огород — ранетки собирать,
Промёрзшие и сладкие до жути!
Повидло варят бабушка и мать,
С экрана Петросян о чём-то шутит...

* * *

Она всегда смеётся надо мной
И собирает старые афиши...
Давно болеет Никой Турбиной
И, как она, стихов почти не пишет.

Мне трудно с нею, но и хорошо,
Я за неё порву любую грелку.
Я для неё полезю на рожон,
Поймаю белку и схожу на стрелку...

Она со мной ложится на траву,
Рассказывает сплетни про поэтов.
В её машине группа «Ундервуд»
Играет от субботы до рассвета.

Не знаю, почему в неё влюблён.
Другую повстречать не удаётся.
И над речной волной шумит не клён —
Она шумит и надо мной смеётся.

Когда жена на отдыхе

Живу холостяком четыре дня.
Ну как живу? — Всё время на работе.
Потом кормлю кота, он весь в заботе —
Квартиру охраняет и меня.

Мне холодно и плохо без жены:
Пельмень не лезет, захотелось гречи...
И не повешусь я в зелёный вечер,
А с Барсиком объемя белены.

Варю пельмени, делаю салат.
Включаю Матч ТВ — и на диванчик...
Я к сорока годам уже кабанчик,
И я не виноват, бьюсь об заклад.

Как трудно мне и скучно без жены!
Я приберу посуду, нафиг мусор,
Окрошку приготовлю с ярким вкусом
И вымою полы до белизны...

* * *

Как хочется всё бросить и уйти,
Залечь на дно в кольчугинской деревне,
Корову и свиней приобрести,
Читать стихи лягушке и царевне...

Для них поэт в России — не поэт,
Для них вокруг все дураки и дуры.

Как хочется не знать про интернет,
Про либералов в области культуры!

Как хочется забыться и вздохнуть,
И подышать свободой и морозом!..
Но, видимо, я свой продолжу путь
В телеге из культурного обоза.

Голуби

Сколько б я ни обжигал строку, Всё равно на выходе горшочки. И рассвета розовые щёчки, Как синички, мёрзнут на снегу...	Чтоб зимою, осенью и летом Мне несли цветы, даря весну. А когда наденет город мой Розовые варежки заката, Голуби посмотрят виновато В небо над моею головой...
Хочется согреться и уснуть, А проснуться бронзовым поэтом,	

Гармонист

Нелегко быть гармонистом И гармонию ловить В свежем поле, в небе чистом, Ноты связывая в нить...	Сердце тянет на рыбалку: Пиво, раки, колбаса... За косу поймать русалку, Если есть у ней коса.
И в подземном переходе, И на свадьбе, в кабаке Петь всё то, что нынче в моде, На невнятном языке.	Но родился гармонистом — Гармонистом и помрёт. А родился б верлибристом, Было б всё наоборот.

Была зима

Уже устали от зимы Собаки, кошки и синички. Замёрзли черти и кулички В бараке ледяной тюрьмы.	В бараке пьют, в бараке драка, Минута — и начнут стрельбу. И только у порога мать Сидит и ждёт с войны солдата, Как бабушка её когда-то Ждала отца... Была зима...
И вертикальный дым трубу Как репку тянет из барака...	



ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

Из зазеркалья

О повести Н. Вяткина «Музыка воробьёв»¹

Из Зазеркалья все видится по-другому. Стеклянная рукопись — не рукопись, а обсуждение ее — не обсуждение. Вывернутый наизнанку мир за стеклянной гранью, с реальностью блеска и иллюзией реальности. Зазеркалье — не только центральный образ Клуба литераторов, но и ключевой образ всей повести Н. Вяткина «Музыка воробьёв». Ключ к пониманию ее сюжета и логики характера главного героя.

Из повести выходишь с ощущением обманутого читателя. И не сразу понятно почему. Выразительны характеры, зримы ситуации, точно, на место поставлено слово — весомая материя художественного текста. Но убедить себя не удается, что-то в ней не так.

Не так, в первую очередь, с главным героем повести. С ним ничего не происходит, и он, как в античном романе, остается неизменным, таким, каким пришел к нам на встречу. Можно начать читать повесть с конца и прийти к началу, характер и состояние главного героя статичны. Начало и конец совпадают в одной точке — в неподвижной обращенности повествователя в себя.

Музыка воробьёв выдает тонкое восприятие мира, высокую чувствительность главного героя к красоте привычного, неприглядного, настроенность на нее. Но музыка воробьёв в повести долго не звучит. Молчаливым укором она замрет нотками мокнувших птичек на проводах в «законной партитуре». И лишь однажды откликнется на баяне тоскливой мелодией в три такта. И это то, на чем читатель впервые позволяет себя обмануть.

Не так и с жанром, а вместе с тем и с сюжетом. Автор пригласил нас на исповедь, а завел на аттракцион. Качели, карусели — круговерть развлечения — устойчивость движения, неподвижность вращения. Сюжет, словно качели, построен на взлетах и падениях главного героя. Их однообразие к середине удручает, ближе к концу повести вызывает раздражение.

Взлетает главный герой всегда в мыслях о гусях, которые делает сам. Из них он умеет извлекать «серебро звуков». Процесс делания старинного инструмента вспоминается с любовью и особой нежностью. Застекленный балкон — временная мастерская, верстак и ожидающие доделки светлые гусли, в которые умелец способен вдохнуть жизнь. Живая древняя музыка проходит через повесть, звенит колокольчиками, журчаньем таежной реки. В конце звук гуслей слышится как шум ветра, как вечерний закат, как молчание черных изб.

Вторая высота, до которой готов поднять нас автор, — образ мамы, учительницы физкультуры Нины Александровны. Удивительный человек, отдавший себя

¹Вяткин Н. Музыка воробьёв : повесть // Сибирь. — 2023. — № 3. — С. 22-91.

людям, она до старости вела уроки, устраивала в городке спортивные праздники, зарницы, ходила с турслётковской командой в походы, занималась с детьми гимнастикой дома. И одалживала деньги любому просившему на выпивку в надежде на то, что человек одумается: «я тебя совсем другим знаю, ты же на лыжах у меня быстрее всех бегал, чемпионом школы был». Воспоминания о маме идут взлетами во встречах сына с ее учениками, старыми учителями, бывшим директором школы, во встречах с домом, где прошло детство мальчика, с домом брата — в событиях близких и далеких. Главного героя потрясает влюбленность людей в его маму, благодарность и преданность ее памяти. Уже больная, «худенькая, с острым носиком», она все пытается вдохновить сына своим трудом, передать наследие из рук в руки. Но до этой высоты ему не подняться. Она недостижима для главного героя. «Иногда я слышу стук в дверь, открываю и вижу в подъезде под тусклой лампочкой мальчишку или девчонку, или вместе — маленькие, сопливые и краснощекие, они пришли на гимнастику, я даю им по конфете в память о маме». Стук судьбы. Дети, потянувшиеся на человеческое тепло, смотрят на сына учительницы, словно мама смотрела голубыми глазами на него в последние дни. От этого взгляда не откупиться леденцами.

Падение — в частых выпивках с Алишером, к которым в воспоминаниях возвращается повествователь, в выпивке с Голиком, Гошей Шпалой, Окунем, Потапычем и безработным юристом, «где смачно матерятся, смеются над грустным и с жаром обсуждают какую-нибудь ерунду», или в молодости в компании, куда завела его подружка с журналистики. Ситуации выписаны точными, сочными подробностями закусок, их быстрого, импровизированного приготовления, перебором вкусов самогона разных «производителей», разных сортов вин, водки, выпитых то маленькими глоточками, то одним глотком из рюмки, то залпом из горлышка. В детализации застолья видна пристрастность повествователя, упоение от воспоминаний о нем. В художественном плане эти повторяющиеся ситуации ничего не дают для развития сюжета, не дополняют и характер главного героя.

«Американские горки» тяжелы для читателя. Повесть можно продолжить дальше, наращивая найденный автором автономный сюжетный элемент «взлет — падение», аналогичный фракталам, самоподобным дробным множествам, по стилистике отсылающим к барокко. Автор позволяет форме управлять собой, а она генерирует самоподобие с неразличением начала и конца, по замкнутому кругу.

Эстетика развлечения, аттракционов — из эпохи барокко — в нашей культуре принадлежит детству. Необходимая тренировка, испытание на мнимую опасность готовит ребенка к сложной взрослой жизни. Преодоление страха, короткой разлуки, отдаления от семьи, неприятного физического состояния, и как награда — близость с родными, новая уверенность в себе. Взрослый снисходительно смотрит на такие развлечения. И не стремится попасть на аттракцион. В нескончаемых взлетах и падениях героя в повести Н. Вяткина обнаруживается детская радость праздника как отвлечения от чего-то главного, недетского. Свою жизнь человек превращает в «американские горки» — перемещения от высокого к низкому и от низкого к высокому — и неосознанный восторг от головокружительной стремительности непрерывного движения. Но выйти из этого кружения главный герой не способен, не может. Отсюда и псевдоисповедь как жанр повести. Читатель обманут в этом псевдодвижении главного героя к себе, обделен возможностью, склоняясь над листом, что-то понять в своем внутреннем мире.

Персонажи в повести одномерны. Элеонора Печальная, жена главного героя,

бледной тенью проходит по повести. И даже в русском кокошнике и платье, расшитом тесьмой, она остается с тонким шлейфом средневекового рыцарского романа. Дети — актеры, в пестрых народных костюмчиках с музыкальными инструментами, флейтой, бубном, деревянными ложками, ряженные рядом со взрослыми среди нежилых изб музея «Тальцы» — часть ярмарки, театрального действия. Солнечная осень, закрытый музей, красная карета на рессорах, директор в темно-зеленом жокейском костюме и блестящих сапогах, ведущий под уздцы пегую лошадку. И так жаль их, русских, синеглазых, веснушчатых, — настоящих, затянутых в этот балаганный мир. Начальница Лариса Гололаева с соломенной копной, с красным припудренным носом, ледяными глазками и алой улыбкой — маска клоуна. Но и у главного героя своя маска — разудалого скомороха, с веселыми и грустными песнями, ведущего в двух тональностях повествование.

На мгновение из-под маски сварливой жены на звук гуслей выглядывает теплая улыбка Татьяны Владимировны, Таньки. Алишер, лицо которого, по словам автора, напоминало «маску на здании иркутского театра», — единственный персонаж в повести, данный в развитии. Развивается не характер, сам образ обретает сложность, трагизм. За типом разворотливого сантехника открывается история непростой судьбы: причина пребывания в заключении, вынужденный отъезд с родины, контузия в Афганистане, тоска по родине и, наконец, мечта пожить на даче среди сосен, в своем раю, рядом с сыном, которого «все звал и звал домой». В конце повести маска пьющего сантехника спадает: перед нами живой, страдающий человек, по-своему сопротивлявшийся тяжелым обстоятельствам, с надеждой на маленькое счастье.

Персонажи Клуба литераторов, с фамилиями, сопоставимыми с настоящими (Антон Забаев, Альфред Неупокоев, Никита Сапожков, Женя Стехин, Роман Градов), даны в пародийном ключе. Кражистый, с врубленными в корявое лицо глазами Антон Забаев, маленький, мягкий, с красивым почерком Женя Стехин, напористый, придирчивый Сапожков, богатенький Трапезников в малиновом двубортном пиджаке, Роман Градов с высоким козлиным голосом. Непредсказуемый, неизмеримый Глеб Пакулов, под своим именем, вычислен одной деталью — синей наколкой-солнышком на кулаке. Валентин Распутин, присутствуя, отсутствует, зрительно стертый из памяти повествователя. Название планируемого к изданию сборника литературных произведений «Поставленные к Иркутской стенке» граничит с фарсом. Персонажи Клуба литераторов проходят масками карнавального действия. Путешествие главного героя по водосточной трубе к даме из Зазеркалья изображено в том же гротескном, перевернутом виде. Все здесь не то, что на самом деле. Дама — не дама, а секретарь учреждения, балкон возлюбленной — не балкон дома, а место ее работы, Людмила — не сказочная Людмила, герой — не Руслан, не Черномор. Неприкосновенны — ночь, тучи в небе, полная луна и красавица в башне — пародия на Шекспира. Самоирония главного героя раскрывает недоверие к себе, незнание, а потому дистанцирование от себя.

Маскарадное видение с заостренными, ломаными формами, контрастами цвета и света, искаженными характерами, мотивами, ситуациями свойственно в целом мировосприятию повествователя. Так он видит окружающих людей, таким видит себя. Маскарадное видение свойственно и художественному сознанию автора. Но следует помнить, что преувеличенными акцентами писатель упрощает, огрубляет картину реального мира, делает ее условной, отказываясь от сложности, глубины, тайны. А касаясь живущих рядом людей, ранит их насмешкой, дробит мир.

Итальянская комедия дель арте (комедия масок), популярная среди городского простонародья в эпоху барокко и позднее, в свое время породила профессиональный европейский театр. Комедия имела достаточно строгий набор ролей (масок), и спектакль возникал как свободная комбинация заданных характеров с неизменными именами. Жесткая, графическая структура роли указывала на одно-два ведущих качества: ветреная Коломбина, драчливый Арлекин, глупый Доктор, наивный Пьеро. Одномерность ролей с заготовками монологов, реплик, острот легко воспроизводилась бродячими актерами, по-разному талантливыми в своем ремесле. Часто они всю жизнь исполняли одну и ту же роль, что позволяло им делать это все более экспрессивно и виртуозно, постепенно срастаясь с ролью за рамками представления. Передразнивание, переодевание, перевертывание ситуаций, отношений, снижение высокого с целью осмеяния — основа дель арте. Импровизированный спектакль был близок, понятен зрителям и дополнялся их выкриками, жестами, смехом. Гротеск с заострением до карикатуры во внешнем виде персонажа, деталях его одежды, речевой интонации, словах, жестах, качествах характера как прием определяет стилистику повести Н. Вяткина.

Барокко — мир маскарада, театра, игры. Множащийся мир иллюзий, обманок сюжета и жанра, искаженно представляющих реальность. Теснота предметов, костюмов, развлечений, утех — предметная и чувственная роскошь — связана со страхом не успеть, страхом перед меняющейся, быстро текущей жизнью. А потому во всем стремление схватить, удержать, насладиться. Теснота композиции, боязнь пустоты, вихревой динамизм — все в движении, переменах, превращениях. Чрезмерность во всем, отсутствие чувства меры, вкуса — эстетика заката, угасания классического стиля. И главное — отсутствие прямого контакта с жизнью, двойное кодирование через нарочитую условность, отражение отражения. Культура вновь переживает это состояние.

Псевдоморфоз — характеристика не только повести Н. Вяткина, но и современного искусства в целом. Вторичные действия — подражание, переделка, перелицовка, перевертывание, перемешивание того, что свершилось в литературе, — из низкого, стыдного возведены в принцип «высокого». Принцип, который держится на неуважении читателя, на восприятии его как примитивного, недалекого человека, как объекта интеллектуальной манипуляции. Игровые приемы, жанры, имеющие возрастные ограничения, распространяются на взрослую аудиторию. Авторы будто не замечают, что инфантильны, что заигрались, хотя, возможно, оправдывают себя тем, что так делают все. Перенесение ответственности на другого — тоже признак незрелости.

Современная культура отчуждает человека от самого себя. Мечется среди собственных масок-личин Зилов в пьесе «Утиная охота», мучается в отражении множющихся персонажей-зеркал. Пытается найти себя настоящего и — сдается. Вампилов задолго до псевдоморфоз «нового» искусства почувствовал пустоту маскарадного действия, круговерть иллюзий и самообманов современной ему реальности. Сегодня все тяжелее человеку находиться в пространстве отчуждения, отдаления, транслируемых отовсюду, рядом с псевдообщением, псевдоблизостью сетевых, деловых, повседневных связей, замены человечности. Мужество противостояния отторжению и везде проникающей корысти — в любви, еще присутствующей в честной дружбе, в согласной семье, в добросовестной работе, в теплом участии случайного, чужого человека. Любовь как сопереживание и со-

страдание (греч. глагол $\sigma\upsilon\mu\lambda\alpha\theta\epsilon\omega$ ²), в притяжении которых открывается подлинность, искренность, а вместе с ними доверие к себе и другому. Этого-то доверия и нет в повести. А потому возможно движение главного героя к себе — его право снять маску среди блеска мишуры и круговерти карнавала, чтобы встретить утро, холодное, сырое, мглистое, увидеть его таким, как оно есть, и остаться благодарным жизни за это.

В образе мамы главного героя, учительницы Нины Александровны, еще в начале повести встретились два мотива, подлинного и театрального действия: «как много людей ее любило! Это же не артисты. Они плакали по-настоящему». Но и сама мама — настоящая... Быть самим собой — и в жизни, и в деле как творчестве, — значит быть честным с собой и людьми. На это нужна сила. А потому «ступай, живи, без тебя никто на твоё место не заступит, без тебя никто тобой не станет»³. С тем и живем.

²Греческо-русский словарь Нового Завета : пер. Краткого греческо-английского словаря Нового завета Баркли М. Ньюмана / рус. пер. и ред. В.Н. Кузнецовой при участии Е.В. Самгиной и И.С. Козырева. — М. : Росс. Библ. о-во, 2000. — С. 198.

³Распутин В.Г. Собр. соч. : в 4 т. Т. 2. Последний срок : повесть, рассказы. — Иркутск : Издатель Сапронов Г.К., 2007. — С. 179.



МИХАИЛ НИКОЛАЕВ



«Крутой изгиб ухабистой дороги...»

* * *

Исчезающий вид... Их уже не спасти...
Одиноко, как тени бредут между нами
Те, кто небо хранит в беспокойной груди,
Те, кто синюю даль оживляет мечтами,

Те, кто призван гореть фонарём на тропе,
Ярче Солнца пылать над житейским туманом.
Как же мало таких... Их не видно в толпе...
Их не слышно за хохотом, шумом и гамом.

НИКОЛАЕВ Михаил Владимирович родился 9 февраля 1979 года на Дальнем Востоке, в городе Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край). Долгие годы Михаил путешествовал по стране, успев пожить в самых различных её уголках, работая строителем, арматурщиком, сварщиком, кузнецом, сапожником, грузчиком и т.д. Более трёх лет был трудником, а после и послушником одного из подмосковных православных монастырей. Михаил Владимирович публиковался в газетах, коллективных сборниках, журналах и альманахах: «Поэтический Сад» (Иркутск), «Литературная гостиная» (лирика сибирских поэтов, г. Братск), литературно-художественный альманах «Душа России» (Русский лад, г. Псков), «Современные записки» (Москва), «Озарение» (Жизнь, любовь, мечты) и др. Автор книги «Сирена». Победитель нескольких Международных и Всероссийских литературных конкурсов, таких как «Русский Лад», «Poetfest» (Санкт-Петербург), «Серебряный Век Поэзии» и др. Живёт в деревне Смоленщина Иркутской области.

Мир не смог оценить их великих идей,
И они, отдаляясь, с улыбкою странной,
Всё глядели на нас, как на малых детей...
И ломали мосты... И сжигали романы...

Задыхались в хуле, замирали в петле,
Уплывали в закат тяжело и устало,
Позабыв о безумной, бездушной земле...
Впрочем, кто-то остался, но их уже мало...

Сколько сгнуло их... На кресте... Под крестом...
Всё, что грело умы, унеслось без возврата...
Новый мир веселится, не зная о том,
Что их мало... И те утекают куда-то...

* * *

Когда октябрь роняет в слякоть
Небес застиранную гладь,
То остается только плакать,
Глушить вино и рисовать.

И я рисую, как безумный,
По телу чистого холста,
Свои растрёпанные думы
Вливая в тусклые цвета.

Рисую стынь седого неба,
Холодный лоск пустых церквей,
Казённый дом, краюху хлеба,
Могилы замерших друзей,

И с отрешенностью придурка
Рисую ржавую кровать,

Разводы желтой штукатурки
И умирающую мать...

Разлуку, дальнюю дорогу,
Печальный свет забытых глаз,
И дом, и плачущего Бога,
Давно покинувшего нас...

Рисую вопль в тиши звенящей!
Рисую, воя и скорбя,
Мне вслед плюющих и свистящих.
И ненавистного себя...

Себя, кричащего: «Свобода!»,
Себя, поющего псалмы
В холодных, мрачных переходах
Мной нарисованной тюрьмы...

* * *

Неспешно зелень мешая с охрой,
Набросив небо себе на плечи,
Сентябрь устало прикроет окна,
Остывшим ветром шепнув: «До встречи»...

Как вечный странник, ссутулив спину,
Уйдёт в прозрачность окраской лисьей,

В горящем сердце задув лучину,
Прощальным взмахом осыпав листья,

Оставив сказку о том, что где-то
На Солнце спрятан высокий терем,
В котором сладко уснуло лето,
Свернувшись мягким домашним зверем.

* * *

Я мыслью был и словом, и строкой.
Рождал я смех, рыдания и стоны.
Я был во тьме. Я видел свет за тьмой.
Я примерял оковы и короны.

Я мягок был, был прочен как скала,
Я тѣк ручьѣм за выцветшими вами,
А жизнь во мне кипела и жила,
Жила и была новыми стихами.

Фрегатом был, был лодкой в камыше,
Пустым ларѣм, заполненным сусеком,
Я ощущал рассвет в своей душе,
Дарящий радость многим человекам.

Я усыхал сто раз за сотни лет.
Я восставал древесной липкой почкой.
Я снова здесь. И нахожусь в петле,
Как на суку, подвешенной на строчке...

Предзимье...

Обрастая словами иными,
Словно ритм к позабытому слогу,
Предвечерье в сибирском предзимье
Обнимает пустую дорогу,
По которой, впустив в свои лики
Тихий отсвет небесной печали,
Мысли, словно больные калики,
Утекают за новые дали,
Где закат на засаленном фоне,
Наливаясь предветренной мощью,
Обещает — протянешь ладони
И попробуешь небо на ощупь,

Ощутив, как, рыдая, поленья
Сквозь трубу поднимаются в вечность.
Но, нежданно найдя преткновеенье,
Вдруг истаешь как сальная свечка,
Среди бледных ноябрьских терний
Растекаясь словами пустыми,
Ощущая себя предвечерьем
В отрешѣнном сибирском предзимье,
Что ушедших годов веренице
Навеваает иные длинноты
Мерным скрипом пера по страницам
Своего записного блокнота.

В бездушный мир...

В бездушный мир глупцов и подлецов
Как будто гвозди, вбитые по шляпки,
За бусы, стразы, зеркала и тряпки
Мы продаѣм наследие отцов.

Плывѣм туманом в меркнувший закат,
Как прежде скифы, скальды и венеды
Ушли, забыв великие победы...
Прославив тех, кто в этом виноват...

Меня мысль, стремление и цвет
В густой лавине ярких профанаций,
Мы растворяем суть в потоке лет
Как сотни наций и цивилизаций.

И только неба синяя канва
Увидит сквозь стремительные годы,
Как на погостах прорастѣт трава.
Трава, когда-то бывшая народом...

Феодор...

Снег. Собаки. Сочельник. Село да пустынный двор.
Кто в молитве, а кто в предвкушении торжества.
Из избы выступает расхристанный Феодор
И неровной походкой уносит себя в январь.

Он стучится в дома, через тернии путь верша,
Раздавлив кадыком в пересушенном горле ком.
У него есть большая как зимняя ночь душа
И большое ведро с неразбавленным молоком.

От разбитого сердца до сбитых похмельем ног
Всё болит, потому он не чаёт далёкий путь.
У соседских ханыг превратив молоко в вино,
Феодор не спеша принимает его на грудь.

А потом Феодор направляет свой взор туда,
Где горит над церквями с горбами согнутых спин
В распахнувшемся небе святая его звезда.
И в груди Феодора рождается Божий Сын.

Он парит над селом, он блаженно вопит: «Ура!»,
Он смеётся, как Бог освещая мирскую тьму,
Где, встречая его, из-за окон, дворов и врат,
Земляки благим матом осанну кричат ему,

Разъясняя дорогу в такой долгожданный Рай,
Что лежит недалёко от этих безбожных мест.
И поёт Феодор, понимая, что это край.
И роняет слезу, принимая свой путь на крест.

* * *

Усталый, пыльный как дорога,
В дрожащем пламени свечи
Забыв про чёрта и про Бога,
Он сжёг мечты свои в печи.

И, посадив свободу на кол,
Как будто чувствуя вину,
Безбожно пил, до чёрта плакал,
Да выл на полную луну.

Потом орал лихие песни.
Бродил озлобленный как тать,

Осознавая, что хоть тресни —
Не повернуть реки назад.

Глядел в окно на чисто поле,
Горланил в дали: «Эге-гей!!!»,
Лохматый, громкий словно воля!
С гремящей цепью на ноге...

Кружил вдоль хлипкого забора
В бесплодных поисках дыры...
И верил в небо, как Матёра,
На дне кипящей Ангары.

* * *

А приглядеться — вроде пустота.
Ни смысла в ней, ни образа, ни слова.
Как будто Бог с цветастого холста
Соскрёб пейзаж, оставив подмалёвок,
В котором тусклой искрой тлеет жизнь,
На пьяный взгляд детальная. А трезво
Глядишь — сплелись в густые миражи
Сюжеты, мысли, символы, отрезки.
Небесной ватой падает зима,
Внося сумбур в мирские панорамы.
Махнешь рукой — и эта кутерьма
Вдруг исчезает, словно голограмма,
Взмахнёшь ещё — и нет колючих выюг,
Но вместо них в растянутом моменте
Неровный клин, стремящийся на Юг,
Висит, как кадр застывшей киноленты...
Висит как тот единственный ответ,
Что стал давно итогом всех ответов.
Как много лет мне снится этот свет?
С тех самых пор, как я приснился свету...

Сомнамбула

Мне нынче ночью видеть не дано
Крутой изгиб ухаистой дороги.
Мне покрывалом стелется под ноги
Небесных далей звёздное сукно,
Где лунный луч тепло и вдохновенно
Мой вдох сплетает с выдохом вселенной.

А город спит в безмолвии, не слыша,
Как, позабыв пустой житейский хлам,
Я по карнизам, стенам, проводам,
Ветвям, заборам, фонарям и крышам,
Сливаясь с пульсом трепетной весны,
Иду на зов сияющей луны.

Скольжу вперёд, не глядя сверху вниз
На душный быт, что нынче остаётся
На мрачном дне бетонного колодца,

В котором днём кипит дурная жизнь,
Питая трассы, рынки и дворы...
Я погружаюсь в новые миры

Оконных бликов, запахов, мгновений,
Где выплетаю бессловесный стих
Из майских тайн и мифов городских,
Мешая краски, как безумный гений,
С тенями зданий, парков и котов,
Под тихий шелест ваших чутких снов.

А сверху шепчет мудрая луна,
Что шар земной всего лишь синий мячик,
Что нынче я ей небом предназначен,
Что на меня она обречена,
Когда, с весной втекая в вашу жизнь,
Мы создаём ночные миражи.

* * *

Когда земли бескрайние просторы
Оденет небо в белые одежды,
Напишет Бог серебряным узором
По окнам новый стих про безмятежность.

И, отменяя прошлые мытарства,
Мой буйный дух окрашивая белым,
Войдут снега из облачного царства
В пустой сосуд распахнутого тела.

Остынут сердца колотые раны,
Набросив плед на праздные заботы,

Седых сугробов долгие барханы
Сравняют все углы и повороты,

Все буераки, холмики и ямы...
И в белизне покажется как будто
Не предал друг, не умирала мама,
А просто вышла любоваться утром,

В котором нет ни злобы, ни укора,
Но брезжит свет невидимой надежды
По всей земле. По всем её просторам,
Одетым небом в белые одежды.

* * *

Мы не ублюдки. Мы не лицемеры.
Во что-то верим. А порой без веры,
Влача чужие горы на плече,
Обманутые дети казематов —
Мы всё летим, летим, летим куда-то...
Как мотыльки к мерцающей свече...

Проблемы современности решая,
Дойдя до края, мы не видим края
В изгибах кем-то выстроенных схем,
Меняя жизнь на мятую бумагу,
Бессмысленной, бесчисленной ватагой
Бежим, бежим, не ведая зачем...

И так из часа в час, из суток в сутки,
Строители, актёры, проститутки,
На поворотах не сбавляя ход,
Течём, течём к палящему закату.
И каждый третий мнит себя крылатым,
Уверовав, что мчится на восход,

Где, справив повседневные потребности,
Он очень скоро оседлает небо...
А из небес, сияя синевою,
На нас с тоской побитого пророка
Сквозь тусклый мир аптек, витрин и окон
Взирает кто-то грустный и большой...

* * *

Я всё ещё живу в твоей душе
Среди лекал, напёрстков и иголок,
Старинных писем, пыльных книжных полок,
Как лунный блик в оконном витраже...
Я всё ещё живу в твоей душе.

Я всё ещё живу в твоей душе
Осадком терпким, горечью полыни,
Глотком воды, оазисом в пустыне,
Безумной мыслью, сломанным клише...
Я всё ещё живу в твоей душе...

Я всё ещё живу в твоей душе,
Рассветной мглой, вечернею дорогой,
Строкой любви, бесцветным некрологом,
Зелёным раем в хлипком шалаше.
Я всё ещё живу в твоей душе.

Я всё ещё живу в твоей душе —
Паяцем, нищим, странником, поэтом.
Прошедшим днём... Но всё-таки, при этом
Как будто зыбь в далёком мираже —
Я всё ещё живу в твоей душе.

Остывший дом...

Остывший дом, просевший за века,
Прогнивший пол, в углах гуляет ветер...
Забыв, зачем живут на этом свете,
В нём глушат спирт три русских мужика.

Мятежный дух закрыв на карантин,
А меч и щит оставив у порога,
Они орут: «Мы катим на Берлин!»
Да проклинаят свалки Таганрога.

Кричат о том, как тяжек этот путь,
Как их достали вечные дилеммы,
Разруха, пьянь, коммерческие схемы,
Где каждый ждёт кого-нибудь надуть,

Как надоело барское враньё,
Что стены просят извести и мела,
И как давно нуждается жильё
В мужских руках, проворных да умелых.

Ползут сквозь жизнь усталые года,
Но только шибче разжигая споры,
Во тьму бегут пустые разговоры,
Как по реке холодная вода...

Они же пьют — за свой тяжёлый рок,
За свет во тьме... Но было бы неплохо,
Когда б на них свалился потолок...
Но он висит... Как и висит эпоха...



ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВА

К юбилею театра — о людях театра:
Вера Сулименко

ИРКУТСКОМУ ОБЛАСТНОМУ ТЕАТРУ
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ИМЕНИ А. ВАМПИЛОВА — 95 ЛЕТ

Встречи с одним и тем же человеком, но в разные годы и при разных обстоятельствах, кажутся случайностью. В 1990-е, теперь уже далёкие годы мне пришлось обратиться в администрацию Иркутского района. По работе — я тогда занимала должность организатора литературных вечеров и творческих встреч при Иркутском отделении Союза писателей России. Предстояло договориться о выступлениях писателей в сельской глубинке, на сельхозпредприятиях района.

Так я оказалась в кабинете Веры Михайловны Сулименко — начальника отдела по работе с территориями и районной думой. Первое, что удивило: приветливая миловидная женщина поняла меня буквально с полуслова. Посетовала, что поездки писателей на село прервались в последние годы, а дело это нужное. Мы быстро договорились о времени встреч, выделении транспорта, о том, что люди на местах будут предупреждены. Задуманное состоялось, а у меня осталось благодарное чувство к сотруднице официального учреждения, не похожей на чиновника в привычном представлении.

Через какое-то время попала на глаза книга очерков «Земля моя родная», 2001 года выпуска. В ней рассказывалось о тружениках хозяйств Приангарья, об истории сёл Максимовщины, Горохова, Никольска, Оёка, Хомутова и других. Среди авторов увидела знакомые имена членов Союза писателей России: Анатолий Байбородин, Ким Балков, Юрий Балков, Василий Козлов, Евгений Суворов, Валерий Хайрюзов. Редактором-составителем сборника значилась Вера Сулименко. Вместе с главным редактором газеты Иркутского района «Ангарские огни» Тамарой Селяндиной она сумела объединить немалый авторский коллектив в работе над такой важной темой, как село и культура, которая была раскрыта не формально, а в живой связи с судьбами людей. Сборник выдержал два издания и сегодня является библиографической редкостью в разделе краеведения, что говорит само за себя.

Вера Михайловна во второй раз удивила меня: чтобы подготовить такую книгу, нужен и обширный кругозор, и литературный опыт.

Так кто же она по профессии? Всё разъяснилось в 2007 году, когда я встретила Веру Михайловну в Иркутском ТЮЗе им. А. Вампилова как заместителя директора театра по работе со зрителем. Случайностью это было лишь для меня, но не для неё, вернувшейся, как оказалось, на первое место работы. Так я узнала, что Вера Михайловна — филолог, после окончания Иркутского государственного университета поступила в ТЮЗ по приглашению главного режиссёра Л.Д. Титова сначала на должность педагога, вскоре стала заведующей литературной частью. Это был 1975 год.

С детства, со студенческих лет увлечённая театром, Вера вошла в мир, где «всё было ново, интересно»: обсуждения, дискуссии, выходящие за рамки спектакля, с размышлениями о смысле искусства, его влиянии на реальность. В памяти актёров жил Александр Вампилов, с которым театр подружился ещё в конце 60-х. Чуть позже на сцене ТЮЗа продолжали появляться такие пьесы, как «Жестокость» П. Нилина, «Остановите Малахова» В. Аграновского, «Жестокие игры» А. Арбузова, «Дети Ванюшина» С. Найдёнова, «Милый Эп» нашего земляка Г. Михасенко. «Что ни спектакль — то открытие», — напишет она почти тридцать лет спустя в книге «Цветы и годы», посвящённой 75-летию ТЮЗа, в воспоминаниях «С театром на всю жизнь». Фотография тех лет из той же книги подтверждает душевный настрой юной Веры Сулименко: глаза доверчиво и безбоязненно смотрят на мир в ожидании новых открытий.

Завлит успевала всё: писала статьи о театре, была автором и ведущей многих передач на телевидении, работала над буклетами и ежегодной театральной газетой, с гастролями проехала практически всю Иркутскую область и крупные региональные центры, в 1980 году организовала гастроли в крупных городах Крыма. Так трудятся, если занимаются любимым делом.

Охотно продолжив образование, она в 1984 году окончила Государственный театральный институт им. А.В. Луначарского (ныне Российская академия театрального искусства), позже присовокупилась ещё высшие профсоюзные курсы, и последовало назначение — директором театра юного зрителя. И она сумела принести много полезного на этом посту. Именно ею был организован и выполнен серьёзный ремонт-реконструкция здания театра — оно ещё почти два десятилетия находилось в рабочем состоянии. Были организованы гастроли — дважды в Москве, во Фрунзе, Кемерове, в городах и районах Иркутской области.

То был конец 1980-х, последние годы стабильности в стране СССР. Возвращение Веры Михайловны в ТЮЗ спустя полтора десятка лет пришлось на новое время, которое для многих стало временем выживания. В том числе и для театра. Появились такие понятия, как «культурные услуги населению», маркетинг, потребовалось умение выгодно продавать спектакли зрителю, переживая все последствия сугубо экономического подхода.

А ещё появилась мода перепрофилирования театров юного зрителя в молодёжные, где больше возможностей «раскрутки» в сторону всяческих свобод, и прежде всего, свободы от воспитательных задач. Такая угроза нависла и

над Иркутским ТЮЗом в начале 2010-х годов... И здесь Вера Михайловна не осталась в стороне. Именно тогда общими усилиями представителей разных организаций и руководства театра удалось остановить столь разрушительный процесс.

Окончательно ли? — уверенности не было. Потому что долгие годы сохранялось странное противоречие. С одной стороны, государство освобождало себя от воспитательных целей, рассчитывая на семью (школа ограничивалась лишь «образовательными услугами»), с другой — рабочий день родителей составлял уже не восемь часов: чтобы не бедствовать, они вынуждены трудиться гораздо больше. Дети оказались заброшены даже в благополучных семьях, зачастую попадали и до сих пор попадают в зависимость от устройств с говорящим началом в названии — гаджетов. Так кто же будет заниматься воспитанием? Очевидно, эта миссия переходит к библиотекам, Домам детского творчества, музеям, спортивным секциям и, конечно, к ТЮЗам.

Вопрос продолжает оставаться острым, если десять лет спустя, в начале 2020-х, под ударом оказался бывший Иркутский государственный педагогический институт, присоединённый к госуниверситету, а перед тем был разрушен Институт иностранных языков, тоже педагогический. Столь бездумная «оптимизация» говорит о том, что проблема воспитания детей до сих пор не осознана по-настоящему.

Вера Михайловна Сулименко оказалась в нужное время в нужном месте. Иркутский областной ТЮЗ им. А. Вампилова находится в числе тех театров, что сопротивляются сползанию вниз театральной культуры и не желают отказываться от специфики театра для детей и юношества — он продолжал ставить сказки и удивлять ими во время гастролей другие регионы, потерявшие ТЮЗы. Идут спектакли для подростков, молодёжи с опорой на творчество известных драматургов, в том числе и современных, болеющих за неокрепшие души. Вот некоторые из прошедших и недавних лет: «Я скучаю по тебе» по А. Володину, «Это всё она» по А. Иванову. Спектакли по Распутину: «Век живи — век люби», «Рудольфио», «Живи и помни», «Уроки французского»; «Сарафановы» по Вампилову, «Иннокентий» по пьесе В. Хайрюзова, «В контакте» по пьесе иркутянина О. Малышева, «Мальчики» по Достоевскому, «Молодая гвардия» по Фадееву и другие.

Заметим и такой обнадеживающий факт в общей ситуации с театрами: в последние годы увеличилось внимание и финансовая помощь со стороны местной и федеральной власти. Заработал проект «Большие гастроли», позволяющий выступать в разных городах страны, следующим стал «Культура малой родины» — в поддержку театров малых городов.

Но лучше дадим слово Вере Михайловне — ей есть что сказать о горячих буднях в стенах, ставших родными:

— Что я думаю о сегодняшнем назначении детского, юношеского театра? Я глубоко убеждена, что выбранная нашим руководителем, заслуженным работником культуры РФ Виктором Токаревым творческая платформа абсолютно верна и необходима. Главное в ней — формирование нравственной опоры в юной душе. Ни в одной репертуарной афише вы не встретите такой обоймы русских народных сказок,

пьес отечественной и зарубежной классики, современной драматургии, как в нашем театре. Это первое. Второе — разнообразие форм работы со зрителем.

Начнем с самых маленьких зрителей, с «семейных просмотров» таких спектаклей, как «Коза-Дереза» А. Степанова, «Мымренок» В. Афонина, где дошколята и младшие школьники вместе с родителями постигают азбуку человеческих отношений, учатся рассуждать об увиденном. Где происходит, быть может, самое важное — сближение детей и родителей. Для более старших — проекты «Театр и школа», «Театр и молодёжь», реализация Всероссийского общеобразовательного проекта «Культура для школьников» — всё это направлено на то, чтобы театр стал дискуссионной площадкой для думающей молодёжи, побуждал к интеллектуальному общению. Вспоминаю недавний «школьный зал» (а есть ещё «молодёжный», «учительский»), где старшеклассники, педагоги и Школьный парламент сопереживали происходящему в спектакле «Век живи — век люби» В. Распутина, как после спектакля они продолжили общение и делились впечатлениями. Сейчас в работе совместный проект с Департаментом образования г. Иркутска «Путешествие в мир театра», он обсуждается и дополняется новыми темами с обеих сторон.

Работы хватает всем. Отряд педагогов школ и администраторы театра организуют зрительские конференции, обсуждения спектаклей, встречи с актёрами. Поэтому ТЮЗ — частый гость в школах и вузах, особенно при организации и проведении «молодежных», «школьных», «родительских» залов, а тема всё та же — волнующая всех — взрастить человека с отзывчивой душой...

Слушаю Веру Михайловну и вспоминаю совместный проект ТЮЗа и нашего отделения Союза писателей России под названием «Иркутск с нами». Он был посвящён очередному юбилею Валентина Распутина, и в одной композиции объединял выступление актёров с отрывками из спектаклей по прозе писателя или короткими инсценировками его рассказов, а мы, небольшая писательская группа, выступали в самом начале со словом о Распутине. Это был выездной спектакль, и нас хорошо принимали в Усолье, Шелехове, Ангарске, откуда мы возвращались на автобусе в приподнятом от успеха настроении. Позже молодой состав труппы доехал до Анги Качугского района, родины святителя Иннокентия (Вениаминова), апостола Сибири и Америки.

Подготовка зрителя к встрече с актёрами и писателями в глубинке оказалась на высоте, а это уже прямая ответственность Веры Сулименко!

К сказанному остаётся добавить: юбилей — не только солидный показатель прожитых лет. Видимо не случайно праздничные круглые и полукруглые даты ТЮЗа и его надёжного администратора совпадают (с разрывом в количестве лет, естественно). По этому случаю надо признать: вклад В.М. Сулименко в историю театра, его развитие весьма весом. Она — то звено, которое связывает эпохи. Успев впитать лучшее, чем были отмечены 1970–1980-е годы, она сохраняет его, а значит, передаёт будущему.

Профессиональный театровед, она по-прежнему пропагандирует лучшие традиции русского реалистического театра. Проводит художественные уроки по эстетике сценического искусства, организует Дни театра в районах и городах Иркутской области, также с полной самоотдачей работает со зрителями во время

поездок ТЮЗа по России, добиваясь, чтобы гастроли проходили, что называется, на аншлагах.

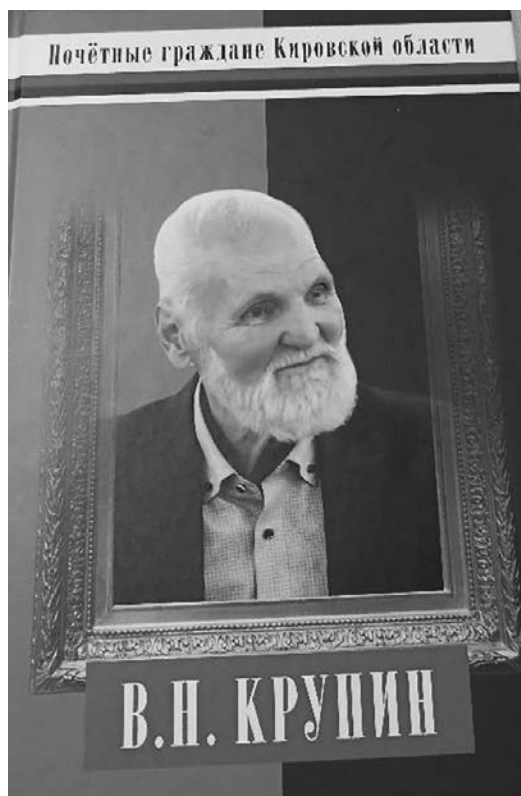
Это тот случай, когда меняется время, но человек не меняет своих убеждений, не утрачивает опыта, — напротив, приобретает новый, а главное, не теряет запала делать свою работу не по обязанности, а по душе, всецело принадлежащей театру и его юным зрителям.



ЭДУАРД АНАШКИН

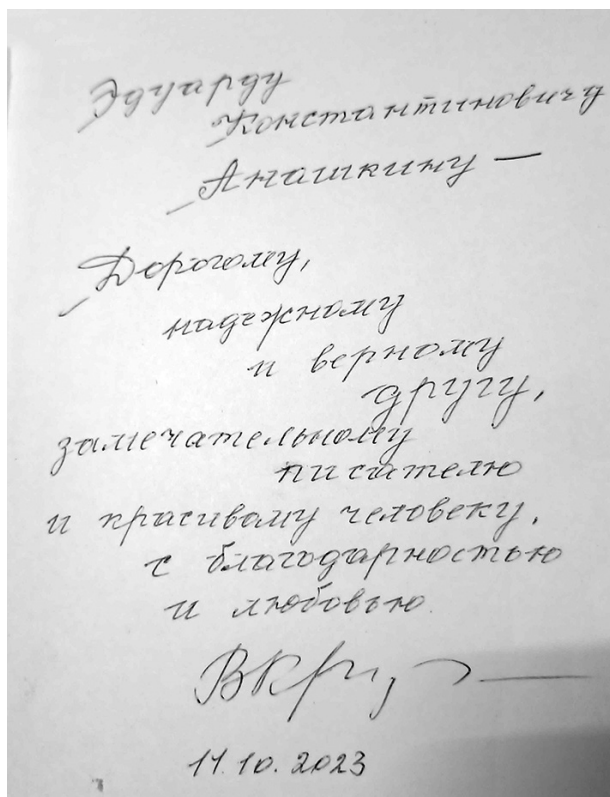
ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

Идущий босиком по небу



Владимир Крупин... Это имя не нуждается в представлениях не только в России, но и за ее пределами. Известный писатель, общественный деятель, православный публицист, великолепный рассказчик и удивительный жизнелюб. За плечами Владимира Николаевича десятки книг благоуханной русской прозы, сотни журнальных публикаций, километры дорог Великоорецкого православного хода, дружба с Валентином Распутиным, самая первая Патриаршая премия России... Всего и не перечислить! Но феномен этого писателя в немалой степени интересен еще и своей укорененностью в малой родине. Уехав из родной вятской глубинки в Москву и став известным в России и за ее пределами, он на всю жизнь сохранил неразрывную связь с малой родиной, с Вятским краем. И твердо уверен, что родина малой не бывает, потому что всегда велика!

Как сказал губернатор Кировской области, характеризуя Владимира Крупина как «самого вятского писателя», он «...был и остается вятским по духу, корням, характеру, языку, а главное, по искренней любви к землякам». Эти слова сказаны губернатором в предисловии к изданной в 2023 году весомой книге Владимира Крупина и о Владимире Крупине. Постановлением Законодательного собрания Кировской области Владимир Николаевич Крупин стал почетным гражданином Кировской области. И книга, названием которой стало имя писателя, издана в серии «Почетные граждане Кировской области» при поддержке Правительства Кировской области и Министерства культуры Кировской области.



Никоим образом не назову эту книгу итогом творческой деятельности, потому что активно продолжающему свою литературную деятельность Крупину рано подводить итоги. Скорее это, говоря современным языком, ставшее книгой творческое портфолио, издание, вполне заслуживающее, чтобы назвать его академическим, потому что, открыв его, читатель может поэтапно и подробно проследить творческую биографию писателя, что говорится, от корней, от истоков и до нынешнего времени. В книге собраны уникальные фотографии, связанные с биографией Владимира Николаевича,

книга дает возможность всмотреться в прекрасные русские лица родителей писателя — Варвары Семеновны и Николая Яковлевича, увидеть не по-детски серьезные вдумчивые лица его братьев и сестер в детстве. И попутно взгрустнуть, что сегодня многодетные семьи в России стали редкостью... Книга дает возможность прикоснуться не только к творчеству, но и к родниковой малой родине писателя, питающей это творчество. Увидеть дом, в котором жило дружное семейство Крупиных в старинном селе Кильмезь. Дом большой, двухэтажный, бревенчатый, со множеством окон — добротная русская северная изба. Но не спешите радоваться за благополучное в материальном отношении детство будущего классика русской литературы, потому что этот большой дом принадлежал аж четырем хозяевам. И многодетная семья Крупиных ютилась в маленькой комнате и кухне первого этажа. У каждого русского писателя, одной из судьбоносных тем которого впоследствии стала русская глубинка, видимо, были свои «печки-лавочки»...

Вот как сам Владимир Николаевич вспоминает о своем детстве: «...Спали на полатах, печке, лавках. Но до чего же дружно жили! Просыпались от запаха маминой тряпни. Вечером на плите пекли пекульки. Делали уроки вятером, облепливали стол. В середине стола — керосиновая лампа. Потом — на два часа — электросвет. Потом до 11 радио — картонная тарелка в простенке. Во дворе корова, теленок, поросенок, куры, овцы...».

...Библиографический список произведений и публикаций Владимира Николаевича, а также литературы о нем, занимает десятки страниц текста. Даже по названиям книг видишь широчайший диапазон тем, волнующих этого уникального художника русского слова, изумляешься, что мальчишка, выросший в русском селе, стал писателем с таким кругозором тем, что сложно обозреть одним

взором. «Живая вода» и «До вечерней звезды», «Православная азбука» и «В Дымковской слободе», «Ловцы человеков» и «Пастырь», «Сияние Афона» и «Босиком по небу», «История России в рассказах святых» и «Большая жизнь маленького Ванечки»... Перечисленные книги (только книги, не считая коллективных сборников и публикаций во многих десятках литературных журналов) лишь капля в разлитом море того, что вышло из-под пера Владимира Николаевича. Остается изумляться, что такому удивительному таланту досталась такая удивительная работоспособность!

Книги Крупина сопровождают меня многие годы... Про «Православную азбуку» Крупина, к примеру, я не только писал как эссеист. Как дедушка, я постарался сделать ее настольным чтением для своих внуков, за что благодарен автору: он помог родителям и мне воспитать из детей достойных взрослых людей, он заложил в души детей основы русского мировоззрения, что не раз помогали, помогают и помогут им в жизни. И вот теперь, когда я недавно стал прадедушкой, крупинская «Православная азбука» пригодится для моей правнучки!.. Современные родители частенько сетуют, что мало, мол, стало современной качественной детской литературы. А я всякий раз удивляюсь, что мы порой не видим того, что лежит на поверхности, предпочитая копаться во второстепенном. Да купите вы своим детям крупинскую «Православную азбуку», эта книга будет передаваться ими из поколения в поколение, помогая растить хороших людей со светлыми и мудрыми душами. Сначала ваши дети вам спасибо скажут, а потом и своим детям будут читать это замечательное детское чтение, говоря спасибо и автору, и вам.

Владимир Крупин, конечно, по жанру прозаик, эссеист. Но по духу он настоящий поэт, сохранивший детское восприятие мира и всякий раз помогающий читателю, особенно в минуты трудные, вновь поверить в мир вокруг, как в чудо, созданное Богом и нашими добросовестными предками. Не случайно книгу, на которой вместо названия стоит ставшая именем фамилия Крупина, открывает стихотворение его друга, одного из лучших поэтов России и одного из любимых поэтов Владимира Крупина — Анатолия Гребнева, великолепно передающее ту неуемность и вечную детскость натуры настоящего художника:

«Да нет, душою старше мы не стали, //Но ты вздохнешь о той поре тайком, //Когда с тобой без крыльев мы летали //И бегали по небу босиком. //Теперь как будто все наперевертку //И видится, и чувствуется вновь, //А первая из речки красноперка //Нам памятна, как первая любовь. //И всю-то жизнь, а почему — не знаем, //Счастливыми и в самый черный миг //Мы снова в детство душу окунаем — //В живой и чудотворный наш родник».

Умение сохранить в себе ребенка с его вечно новым открытием мира вокруг, сохранить в себе поэтическое чувство в наше прагматичное время, не позволить задавить даже самым умным мыслям свои чувства, приумножить понимание небесного смысла земного бытия и есть, наверное, главные составляющие писательского таланта. А если еще писатель, как Владимир Крупин, обладает природным глубоким чувством и знанием родного наречия, то такой писатель есть дар свыше земле русской и русским читателям.

На любом фото, а в книге их представлено немало, в том числе цветных, среди самых разных писателей разных градов и весей России вы непременно сразу выделите Владимира Крупина — по его распахнутой навстречу поистине детской

улыбке, мудрой и наивной одновременно. А какова цельность его характера, ставшая причиной того, что несмотря на успех среди читательниц и своих коллег по перу из числа представительниц прекрасного пола, Владимир Николаевич через всю жизнь несет любовь к единственной супруге Надежде Леонидовне. Она, будучи высокопрофессиональным редактором, конечно, не может не понимать, насколько значимо творчество ее мужа для России, и потому стала не только его музой и вдохновительницей, но и добрым, умным, чутким помощником во всех литературных делах.

При всем том, что имя Крупина уже вписано золотыми буквами в русскую литературу, при всем том, что современные писатели испытывают перед ним и его творчеством пиетет, не может не радовать то, что у творчества Владимира Николаевича немало юных поклонников. Ведь любовь к произведениям Крупина поможет детям в нынешнее время, когда размыты понятия нравственности и духовности, стать цельными людьми, думающими о судьбе России и собственной судьбе не налегке, а глубоко, вдумчиво и неспешно. Дети — лучшие читатели для Крупина, поэтому он любит встречаться с ними и в библиотеках, и на школьных уроках литературы, и в своем отеческом доме в селе Кильмезь, он наблюдает этих детей из жизни, делая их героями своих произведений. И дети платят ему той же заинтересованностью, видя в нем не бронзового классика, но чуткого к их проблемам и мыслям интересного собеседника. По свидетельствам тех, кто присутствовал на встречах писателя с юными читателями, Владимир Николаевич никогда не сюсюкает с детьми, не ругает молодежь, не уходит от «неудобных» вопросов, но — старается вызвать новое поколение на совместные серьезные размышления.

Вот что, к примеру, пишет с нескрываемым восхищением и гордостью за писателя выпускница школы села Кильмезь Евгения Устюгова: «Совсем недавно я открыла для себя чудесный мир книг Владимира Николаевича Крупина, нашего знаменитого писателя-земляка. Все началось с того, что я взяла интересную книгу «Повестка». Начав читать, остановиться уже не смогла, очень быстро прочитала повесть. В ней автор рассказывает о том, как пришла ему повестка в армию. И он решил провести оставшееся время в родном поселке с друзьями. Писатель вспоминает, что рвался в армию, причем не только он, но и остальные молодые люди того времени... В книге он пишет о нашей родной Кильмези, и я сразу представляла то или иное место, описываемое автором...»

Во многом перекликается с этим отзывом мнение ровесника Евгении Альберта Фазульянова: «Признаться, современной литературой начал увлекаться недавно. Я даже не знал о ее существовании — телевизор не сообщал ни об одном из существующих писателей, только показывал безумный мир, разрывая связь с прошлым. Читая нашу литературную классику, погружался в другой мир, тонкий и изысканный. Прекращая читать, возвращался в 21 век — совсем не то. Никак не мог соединить прошлое с настоящим. И вот не так давно... прочитал в «Трибунке» (газета — прим. Эд. Анашкина) о том, что есть у нас земляк, знаменитый писатель, академик Владимир Крупин. Заинтересовался — и открыл для себя свой же мир, не оболганный телевидением, обрисованный честным смелым языком. Современность — как на ладони, читаешь и ужасаешься — как же раньше не замечал!...»

Своим творчеством Владимир Николаевич, как видим, не только приводит новое поколение к литературе, но приводит наших детей и внуков к самим себе, к

России, отрывая их от пошлости современной масс-культурки, открывая им себя самих... Не поучает с высоты академика и классика — перестаньте, мол, смотреть глупые телепередачи и пялиться в смартфоны, как часто, чего греха таить, поучают писатели юных читателей, сразу отменяя возможность диалога. Крупин, никого и ни за что не осуждая, ведь осуждение противно натуре православного человека, откровенно и доверительно пишет об окружающей жизни, пишет настолько интересно, что молодые люди просто сами отставляют современные гаджеты во имя книги.

Радует тираж новой книги — тысяча пятьсот экземпляров. Конечно, если вспомнить, какими многотысячными тиражами выходили книги Владимира Николаевича в советские времена, этот тираж не покажется большим. Но все познается в сравнении не только с хорошими временами. И если учесть, что эта книга будет востребована настолько, что наверняка будет зачитана до дыр (лучшей судьбы книге и пожелать нельзя!), то этот тираж надо будет увеличить многократно.

А еще Владимир Крупин своей верой в Россию помогает и нам не пасть духом. Его слова «У нас нет запасной родины» очень актуально звучат сегодня, когда время выявило таких вот «запасников» из наших рядов. Говоря о судьбах России, Крупин никогда не впадает в уныние: *«Гибель России предрекали неисчислимое количество раз. Планы убийства нашей страны давно разработаны, и ее ненавистники — это были не просто Наполеон, Троцкий, Гитлер, это были люди, для которых само существование России — как нож в сердце. Уничтожение ее было их главной целью... Но тут они себе зубы сломают, потому что с нами Бог и Крестная сила, и Россия — Дом Пресвятой Богородицы... Россия есть величайшее духовное явление. Это — душа мира. Мир стоит, пока душа его жива, а если что случится с душой, то и весь мир погибнет...»*.

Закончить свои размышления, очень небольшие по сравнению с такой огромной литературной вселенной, имя которой Владимир Крупин, хочу стихотворением-посвящением Владимиру Николаевичу, которое называется «Предчувствие», и которое написал великолепный поэт из Петербурга Глеб Горбовский:

«Как вышь в предчувствии дождя //Кричит протяжно и бездомно, //Как раб в предчувствии вождя //В цепях поскуливает томно, //Как рыбка сквозь стеклянный плен //Предслышит гул землетрясения, //Как посвист «ветра перемен» //Предощущает поколение, //Как сердцу матери дано //В снах разглядеть погибель сына, //Как свет вкушать, когда темно, //Любовь способна в днях рутинных, //Как прорицатель — сквозь года //Провидит НЕЧТО, как сквозь воду, //Так я — чрез Истину Христа — //Уже предчувствую свободу».

Оно о той свободе творчества, в которой живет и здравствует солнечный русский словотворец от Бога — Владимир Крупин!

Книжная полка



Гурулев, А.С.

Осенний светлый день : Избранные произведения / А.С. Гурулев. — Иркутск : Сибирская книга (ИП Лаптев А.К.), 2023. — 512 с.

Альберт Гурулев — старейший иркутский писатель, автор многих повествований, тема которых природа и человек в мире природы. Мастерство Гурулева-рассказчика — в искренности, естественности, умении перевоплотиться в героя. Его прозу питает вера в духовное богатство человека. Известный иркутский прозаик Станислав Китайский писал: «Гурулев — писатель с пронзительно тонким мировосприятием, искусством точной поэтической передачи своих чувств простыми, привычными словами, которые

вдруг становятся совсем и не привычными словами, и не простыми. Это уже не ремесло, это — искусство». А. Гурулёв является дважды лауреатом премии Губернатора Иркутской области, лауреатом премии Иркутского комсомола им. И. Уткина, обладателем «Серебряного витязя» VIII международного славянского литературного форума «Золотой витязь» (2017 г.), премии журнала «Сибирь» им. А. Зверева (2020 г.), и других литературных премий. Книга рекомендуется читателям всех возрастов.

Мирошников, А.Г.

Время и место : Двукнижие / А.Г. Мирошников. — Краснодар : Общенациональная ассоциация молодых музыкантов, поэтов и прозаиков, 2023. — 116 с.

Поэзии Андрея Мирошникова свойственны пристрастность в поиске рифм, парадоксальность образов и сюжетов, творческая свобода.

В сборниках стихов А. Мирошникова гармонично уживаются и военные марши, и солдатские песни, и хард-роковый драйв, и тоска, и надежда блюза. Хотя большая часть жизни автора и прошла за пределами России, в многонациональной среде, его лирика по своей сути глубоко русская...

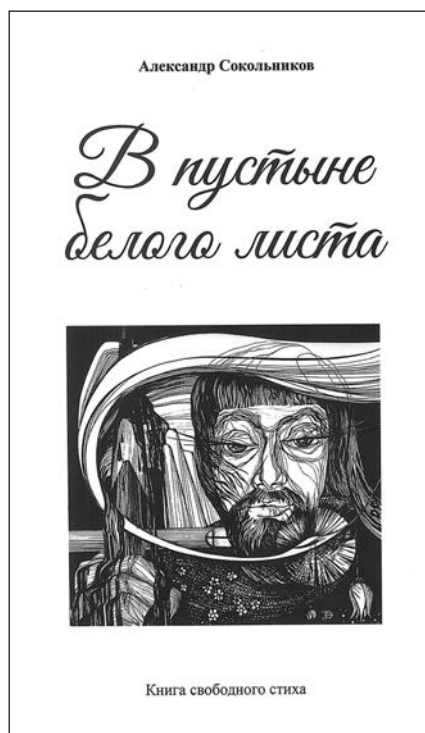
Андрей Мирошников

7:00 Дождь, прощание и боль
8:00 Встречают же с
9:00 Так же, кто втроем в два
10:00 Встрече сестра
11:00

ВРЕМЯ И МЕСТО
двукнижие

16:00 Я обиделся на вас и вас
17:00 Изя в а-баба.
18:00 Встреча с тобой, как всегда
19:00 Ты была дураком...
20:00
21:00 Ты была прощанием небеса,
Почему же вы не
Я не совсем твой писатель!

НЕНОРМАТИВНАЯ
ВНИМАНИЕ
ЛЕКСИКА **18+** поздравить телефон



Сокольников, А.А.

В пустыне белого листа : Книга свободного стиха / А.А. Сокольников. — Иркутск : Аспринт, 2023. — 392 с.

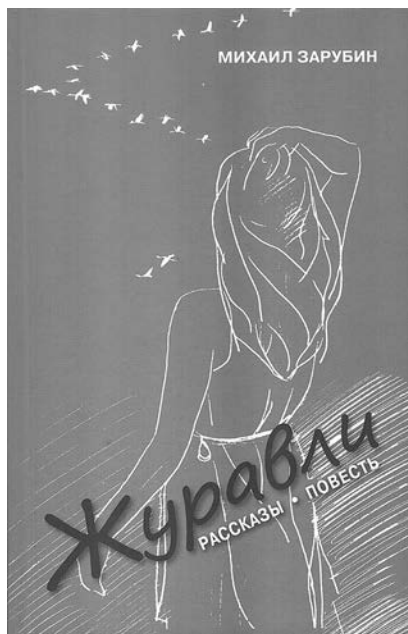
Александр Сокольников — король верлибра (свободного стиха), лауреат Всесоюзной премии имени Велимира Хлебникова, член Союза писателей России. Его стихи переведены на японский, французский, английский языки. Он публикуется в коллективных сборниках, российских и зарубежных. Стихи можно прочесть на страницах альманаха «Иркутское время», журнала «Сибирь», «Дети Ра». Его книги «Свиток одиночества», «Вне канона», «Наречьем облаков рисую ветер...» не задерживаются на книжных полках магазинов. Визитная карточка поэта — строки, написанные в юности:

*В Японии выпал снег
и все розы
постриглись в монахини*

Зарубин, М.К.

Журавли : Рассказы. Повесть. / М.К. Зарубин. — СПб. : Родная Ладога, 2023. — 296 с. ил.

Книга прозы известного санкт-петербургского писателя, значительная часть жизни которого прошла в Сибири, лауреата многих литературных премий Михаила Константиновича Зарубина «Журавли» состоит из рассказов и повести, объединенных местом действия, героями, духовными и нравственными смыслами. Книгу можно назвать исторической и автобиографической. Гармоничное единение разновременных пластов является особенностью авторского мировоззрения и творческого метода. Действие происходит в Восточной Сибири во времена и стародавние, и современные, которые в рассказах соединяются так же проникновенно и естественно, как в сердце писателя, исполненном любви к своему родному краю, к великой Родине России. Эта познавательная, увлекательная книга, написанная ярким, образным языком, будет интересна широкому кругу читателей, особенно молодому поколению.



Валерий Дмитриевский



НАСТРОЕНИЕ

Дмитриевский, В.В.

Настроение : заметки по разным поводам / В.В. Дмитриевский. — Иркутск : [б.и.], 2022 (Тип. «Форвард»). — 72 с.

Валерий Дмитриевский по профессии геолог, член Союза писателей России, автор четырёх книг стихов, двух книг прозы и др. В этой книге собраны его заметки из рубрики «Настроение», которые публиковались в ангарской городской газете «Время» в 2021-2022 годах.



Фото Ирины Прищеповой





Фото Ирины Прищеповой

